



Дафна Дю Морье
Моя юззина Рейчел

Annotation

Филиппа, который рано потерял родителей, воспитал двоюродный брат Эмброз. Этих людей связывают не только родственные чувства, но и безграничная любовь к поместью, в котором они живут весьма уединенно. Но привычное существование прерывает отъезд Эмброза на лечение во Флоренцию, где он неожиданно влюбляется и женится. А потом внезапно умирает. Филипп пребывает в полной растерянности, так как перед смертью в своих письмах Эмброз пытается сообщить, что его отравила жена. Но так ли это? Новая родственница, которая вскоре появляется в поместье, совершенно не похожа на отравительницу. Более того, Филипп бесконечно очарован и покорен кузиной Рейчел, хотя сомнения не покидают его. Кто же эта прекрасная незнакомка: жертва ревности старого мужа или хитрая, расчетливая преступница?

- [Дафна дю Морье](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)

- [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
- [notes](#)
 - [Note1](#)
 - [Note2](#)
 - [Note3](#)
 - [Note4](#)
 - [Note5](#)
 - [Note6](#)
 - [Note7](#)
 - [Note8](#)
 - [Note9](#)
 - [Note10](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Дафна дю Морье
Моя кузина Рейчел

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В старину преступников вешали на перепутье Четырех Дорог.

Но это было давно. Теперь убийца расплачивается за свое преступление в Бодмине на основании приговора, вынесенного судом присяжных. Разумеется, если совесть не убьет его раньше. Так лучше. Похоже на хирургическую операцию. Тело, как положено, передают земле, хоть и в безымянной могиле. В прежние времена было иначе. Вспоминаю, как в детстве я видел человека, висящего в цепях там, где сходятся Четыре Дороги. Его лицо и тело были обмазаны смолой, чтобы он не сгнил слишком быстро. Он провисел пять недель, прежде чем его срезали; я видел его на исходе четвертой.

Он раскачивался на виселице между небом и землей, или, как сказал мой двоюродный брат Эмброз, между небесами и адом. На небеса он все равно бы не попал, но и ад его жизни был для него потерян. Эмброз ткнул тело тростью.

Как сейчас вижу: оно поворачивается от дуновения ветра, словно флюгер на ржавой оси, — жалкое пугало, некогда бывшее человеком. Дождь сгноил его брюки, не одолев плоть, и лоскутья грубой шерстяной ткани, будто оберточная бумага, свисают с конечностей.

Стояла зима, и какой-то шутник-прохожий сунул в разорванную фуфайку веточку остролиста. Тогда, в семь лет, этот поступок показался мне отвратительным. Должно быть, Эмброз специально привел меня туда; возможно, он хотел испытать мое мужество, посмотреть, как я поступлю: убегу, рассмеюсь или заплачу. Мой опекун, отец, брат, советчик — в сущности, все на свете, он постоянно испытывал меня. Помню, как мы обошли виселицу кругом, и Эмброз постукивал по ней тростью. Потом он остановился, раскурил трубку и положил руку мне на плечо.

— Вот, Филипп, — сказал он, — что ожидает нас всех. Одни встретят свой конец на поле боя. Другие — в постели. Третьи — где будет угодно судьбе. Спасения нет. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Но так умирает злодей. Пусть его пример послужит тебе и мне предостережением, ибо человек никогда не должен забывать о трезвости и умеренности.

Мы стояли рядом и смотрели на раскачивающийся труп, словно пришли развлечься на бодминскую ярмарку и перед нами висел не покойник, а старая Салли, и меткий стрелок получал в награду кокосовый орех.

— Видишь, к чему может привести человека вспышка ярости, — сказал Эмброз. — Это Том Дженкин, честный, невозмутимый малый, пока не напьется.

Жена его действительно была на редкость сварлива, но это не причина, чтобы убивать ее. Если бы мы убивали женщин за их язык, то все мужчины стали бы убийцами.

Я пожалел, что Эмброз назвал имя повешенного. До той минуты он был просто мертвецом, безликим и безымянным. Стоило мне взглянуть на виселицу, как я понял, что повешенный будет являться мне по ночам — безжизненный, вселяющий ужас. Теперь же он обрел связь с реальностью, стал человеком с водянистыми глазами, который торговал крабами у городского причала. Летом он обычно стоял со своей корзиной на ступенях и, чтобы повеселить детей, устраивал уморительные крабьи гонки. Совсем недавно я видел его.

— Ну, — сказал Эмброз, — что ты о нем думаешь?

Я пожал плечами и ударил ногой по основанию виселицы. Эмброз не должен был догадаться, что творится у меня на душе и чего я испугался. Он стал бы презирать меня. В свои двадцать семь лет Эмброз был для меня центром мироздания, во всяком случае — центром моего маленького мира, и я стремился во всем походить на него.

— Когда я видел его в последний раз, — ответил я, — у него было веселое лицо. А теперь он недостаточно свеж даже для того, чтобы пойти на наживку своим крабам.

Эмброз рассмеялся и потрепал меня за ухо.

— Молодец, малыш, — сказал он. — Ты говоришь, как истинный философ.

— Затем добавил, понимая мое состояние:

— Если тебя тошнит, сходи в кусты.

И запомни: я ничего не видел.

Он повернулся спиной к виселице и зашагал в сторону новой аллеи, которую велел прорубить в лесу, чтобы сделать вторую дорогу к дому. Я не успел дойти до кустов и был рад, что он ушел. Вскоре я

почувствовал себя лучше, но зубы у меня стучали, и тело бил озноб. Том Дженкин снова превратился в безжизненный предмет, в охапку тряпья. Более того — он послужил мишенью брошенного мною камня. Расхрабрившись, я смотрел на труп, надеясь, что он шевельнется. Но этого не произошло. Камень глухо ударился о намокшую одежду и отлетел в сторону. Устыдясь своего поступка, я поспешил в новую аллею разыскивать Эмброза.

Да, с тех пор минуло целых восемнадцать лет, и, кажется, я никогда не вспоминал об этом случае. До самых недавних дней. Не странно ли, что в минуты жизненных потрясений мысли наши вдруг обращаются к детству? Так или иначе, но меня постоянно преследуют воспоминания бедняге Томе, висящем в цепях на перепутье дорог. Я никогда не слышал его историю, да и мало кто помнит ее сейчас. Он убил свою жену — так сказал Эмброз. Вот и все. У нее был сварливый нрав, но это не повод для убийства. Видимо, будучи большим любителем выпить, он убил ее во хмелю. Но как? Каким оружием? Ножом или голыми руками? Быть может, в тот зимний вечер он, спотыкаясь, возвращался домой из харчевни у причала и душа его горела любовью и лихорадочным возбуждением? И высокий прилив заливал ступени причала, и полная луна сияла в темной воде... Кто знает, какие грезы будоражили его воспаленный мозг, какие буйные фантазии...

Возможно, когда он ощупью добрал до своего домика за церковью, бледный, пропахший крабами малый со слезящимися глазами, жена напустилась на него за то, что он наследил в доме. Она разбила его грезы, и он убил ее. Именно такой могла быть его история. Если жизнь после смерти не пустая выдумка, я отыщу беднягу Тома и спрошу его. Мы будем вместе грезить в чистилище. Но он был пожилым человеком лет шестидесяти, а то и старше. Мне же только двадцать пять. Мы будем грезить о разном. Итак, возвращайся к своим теням, Том, и оставь мне хоть малую толику душевного покоя. Я бросил в тебя камень, не ведая, что творю. Прости меня.

Все дело в том, что, как бы ни была горька жизнь, надо жить. Но как — вот в чем вопрос. Трудиться изо дня в день — невелика премудрость. Я стану мировым судьей, как Эмброз, и со временем меня тоже изберут в парламент. Как и все члены моей семьи до меня, я буду пользоваться почетом и уважением.

Усердно возделывать землю, заботиться о своих людях. И никто никогда не догадается, какая вина тяготит мою душу; никто не узнает, что, терзаемый сомнениями, я неустанно задаю себе один и тот же вопрос. Виновна Рейчел или невиновна? Может быть, я и это узнаю в чистилище.

Как нежно и трепетно звучит ее имя, когда я шепчу его! Оно медлит на языке, неторопливое, коварное, как яд — смертельный, но убивающий не сразу.

С языка оно переходит на запекшиеся губы, с губ возвращается в сердце. А сердце управляет и телом, и мыслью. Освобожусь ли я когда-нибудь от его власти? Через сорок, через пятьдесят лет? Или в мозгу моем навсегда останется болезненная крупичка омертвевшего вещества? Частичка крови, отставшая от своих сестер на пути к сердцу, направляющему их бег? Быть может, когда все сущее окончательно утратит для меня смысл и значение, уснет и желание освободиться? Трудно сказать.

У меня есть дом, о котором надо заботиться, чего, конечно, ожидал от меня Эмброс. Я могу заново облицевать стены в местах, где проступает сырость, и содержать все в полном порядке. Могу продолжать высаживать кусты и деревья, озеленять склоны холмов, открытые ураганным ветрам с востока.

Могу оставить после себя красоту, если ничего иного мне не дано. Но одинокий человек — человек неестественный, он быстро впадает в смятение. За смятением приходят фантазии. За фантазиями — безумие. Итак, я вновь возвращаюсь к висящему в цепях Тому Дженкину. Возможно, он тоже страдал.

Тогда, в тот далекий год, восемнадцать лет назад, Эмброс размашисто шагал по аллее, я брел за ним. На нем вполне могла быть та самая куртка, которую теперь ношу я. Старая зеленая охотничья куртка с локтями, обшитыми кожей. Я стал так похож на него, что мог бы сойти за его призрак. Мои глаза — это его глаза, мои черты — его черты. Человеком, который свистом подозвал своих собак и пошел прочь от перекрестка и виселицы, мог быть я сам. Ну что ж, я всегда этого хотел. Быть похожим на него. Иметь его рост, его плечи, его привычку сутулиться, даже его длинные руки, неуклюжие на вид ладони, его неожиданную улыбку, его стеснительность при встрече с незнакомыми людьми, его нелюбовь к суете, этикету. Простоту его

обращения с теми, кого он любил, кто ему служил; те, кто говорит, будто я обладаю этими качествами, явно преувеличивают. И силу, оказавшуюся иллюзией, отчего нас и постигла одна и та же беда. Недавно мне пришло на ум: а что, если после того, как он, с затуманенным, терзаемым сомнениями и страхом рассудком, чувствуя себя покинутым и одиноким, умер на той проклятой вилле, где я уже не застал его, — дух Эмброза покинул бренное тело, вернулся домой и, ожив во мне, повторил былые ошибки, вновь покорился власти старой болезни и погиб дважды. Возможно, и так. Я знаю одно: мое сходство с ним — сходство, которым я так гордился, — погубило меня. Именно из-за него я потерпел поражение. Будь я другим человеком — ловким, проворным, острым на язык, практичным, — минувший год был бы обычными двенадцатью месяцами, которые пришли и ушли.

Но я был не такой; Эмброз — тоже. Оба мы были мечтатели — непрактичные, замкнутые, полные теорий, которые никогда не проверялись опытом жизни; и, как все мечтатели, мы были глухи к бурлящему вокруг нас миру. Испытывая неприязнь к себе подобным, мы жаждали любви, но застенчивость не давала пробудиться порывам, пока они не трогали сердца.

Когда же это случалось, небеса раскрывались, и нас обоих охватывало чувство, будто все богатство мироздания принадлежит нам, и мы были готовы без колебаний отдать его. Оба мы уцелели бы, если бы были другими. Рейчел все равно приехала бы сюда. Провела бы день-два и навсегда покинула бы наши места. Мы обсудили бы деловые вопросы, пришли бы к какому-нибудь соглашению, выслушали завещание, официально зачитанное за столом в присутствии нотариусов, и я, с первого взгляда оценив положение, выделил бы ей пожизненную пенсию и навсегда избавился бы от нее.

Этого не произошло потому, что я был похож на Эмброза. Этого не произошло потому, что я чувствовал, как Эмброз. В первый же вечер по приезде Рейчел я поднялся в ее комнату, постучал и, слегка склонив голову под притолокой, остановился в дверях. Когда она встала со стула около окна и взглянула на меня снизу вверх, я по выражению ее глаз должен был понять, что увидела она вовсе не меня, а Эмброза. Не Филиппа, а призрак. Ей надо было сразу уехать. Собрать вещи и уехать. Отправиться туда, где она своя, где все ей

знакомо и близко, — на виллу, хранящую воспоминания за скрытыми ставнями окнами, к симметрично разбитым террасам сада, к плачущему в небольшом дворике фонтану. Вернуться в свою страну — летом выжженную солнцем, окутанную знойной дымкой, зимой — сурово застывшую под холодным ослепительным небом. Инстинкт должен был предупредить ее, что, оставаясь со мной, она погубит не только явившийся ей призрак, но в конце концов и себя самое.

Вновь и вновь спрашиваю я себя: подумала ли она, увидев, как я стою в дверях, робкий, нескладный, объятый жгучим негодованием, сознавая, что я здесь — хозяин и глава, и вместе с тем гневно досадуя на свои длинные руки, неуклюжие, как у необъезженного жеребенка ноги, — подумала ли она: «Таков был Эмброз в свои молодые годы. До меня. Таким я его не знала» — и тем не менее осталась?

Возможно, именно поэтому при моей первой короткой встрече с Райнальди, итальянцем, он тоже постарался скрыть изумление, на мгновение задумался и, поиграв пером, которое лежало на его письменном столе, спросил: «Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рейчел вас не видела?» Инстинкт предупредил и его. Но слишком поздно.

Что прошло, то миновало. Возврата нет. Ничто в жизни не повторяется.

Живой, сидя здесь, в своем собственном доме, я так же не могу вернуть сказанное слово или совершенный поступок, как бедный Том Дженкин, когда он раскачивался в своих цепях.

Ник Кендалл, мой крестный, с присущей ему грубоватой прямоотой сказал мне накануне моего двадцатипятилетия — всего несколько месяцев назад, но, Боже, как давно: «Есть женщины, Филипп, возможно, вполне достойные, хорошие женщины, которые не по своей вине приносят беду. Чего бы они ни коснулись, все оборачивается трагедией. Не знаю, зачем я говорю тебе это, но чувствую, что должен сказать». И он засвидетельствовал мою подпись под документом, который я положил перед ним.

Да, возврата нет. Юноши, что стоял под ее окном накануне своего дня рождения, юноши, что стоял в дверях ее комнаты в вечер ее приезда, больше не существует, как не существует и ребенка, который для храбрости бросил камень в повешенного. Том Дженкин, потрепанный образчик рода человеческого, никем не знаемый и не

оплакиваемый, тогда, за далью этих восемнадцати лет, смотрел ли ты с грустью и состраданием, как я бегу через лес... в будущее?

Если бы я оглянулся назад, то в цепях, свисающих с перекладины виселицы, я увидел бы не тебя, а свою собственную тень.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда вечером накануне отъезда Эмброза в его последнее путешествие мы сидели вдвоем и разговаривали, у меня не было ощущения близкой беды.

Предчувствия, что мы больше никогда не будем вместе. Осень подходила к концу; врачи в третий раз велели ему провести зиму за границей, и я уже привык к его отсутствию, привык в это время смотреть за имением. Когда он уехал в первый раз, я еще был в Оксфорде и его отъезд не внес никаких изменений в мою жизнь, однако на следующую зиму я окончательно вернулся и все время был дома, как он того и хотел. Я не тосковал по стадной жизни в Оксфорде — скорее, был даже рад, что расстался с ней.

Я никогда не стремился жить вне дома. За исключением лет, проведенных в Харроу^{[note 1](#)}, а затем в Оксфорде, я всегда жил здесь, с тех пор как меня привезли сюда полуторагодовалым младенцем после смерти моих молодых, рано умерших родителей. Эмброс проникся жалостью к своему осиротевшему двоюродному брату и вырастил меня сам, как вырастил бы щенка, котенка или любое другое слабое, одинокое существо, которому нужны защита и ласка.

Эмброс всегда хозяйничал не совсем обычно. Когда мне было три года, он рассчитал мою няньку за то, что она отшлепала меня гребенкой для волос.

Этого случая я не помнил, но Эмброс потом рассказал мне о нем.

— Я чертовски рассердился, — сказал он мне, — увидев, как эта баба своими огромными шершавыми ручищами колотит твою крошечную персону за пустячный проступок, понять который у нее не хватило разума.

Мне ни разу не пришлось пожалеть об этом. Не было и не могло быть человека более справедливого, более честного, более любящего, более чуткого и отзывчивого. Он обучил меня азбуке самым простым способом — пользуясь начальными буквами бранных слов (чтобы набрать двадцать шесть таких слов, потребовалась немалая изобретательность, но он справился с этой задачей), предупредив меня, чтобы я не произносил их при людях. Неизменно учтивый и

обходительный, Эмброз робел при женщинах и не доверял им, говоря, что они приносят в дом несчастье. Поэтому в слуги он нанимал только мужчин, и их шатией управлял старый Сиком, дворецкий моего покойного дяди.

Эксцентричный, пожалуй, не без странностей — наши западные края известны причудами своих обитателей, — Эмброз, несмотря на сугубо индивидуальный подход к женщинам и к методам воспитания маленьких мальчиков, не был чудаком. Соседи его любили и уважали, арендаторы души в нем не чаяли.

Пока его не скрутил ревматизм, он охотился зимой, летом удил рыбу с небольшой лодки, которую держал на якоре в устье реки, навещал соседей, когда чувствовал к тому расположение, по воскресеньям ходил в церковь (хотя и строил мне уморительные гримасы с другого конца семейной скамьи, если проповедь слишком затягивалась) и всячески старался заразить меня своей страстью к разведению редких растений.

— Это такая же форма творения, как и все прочие, — обычно говорил он.

— Некоторые мужчины пекутся о продолжении рода. А я предпочитаю растить жизнь из почвы. Это требует меньших усилий, а результат приносит гораздо большее удовлетворение.

Такие заявления шокировали моего крестного Ника Кендалла, викария Паско и других приятелей Эмброза, которые пытались убедить его взяться за ум, обзавестись семьей и растить детей, а не рододендроны.

— Одного юнца я уже вырастил, — отвечал он, трепля меня за ухо. — Он отнял у меня двадцать лет жизни, а может, и прибавил — это еще как посмотреть. Более того, Филипп — готовый наследник, так что не стоит говорить, будто я пренебрегаю своим долгом. Когда придет время, он выполнит его за меня. А теперь, джентльмены, садитесь и располагайтесь поудобнее. В доме нет ни одной женщины, а посему можно класть ноги на стол и плевать на ковер.

Естественно, ничего подобного мы не делали. Эмброз отличался крайней чистоплотностью и тонким вкусом, но ему доставляло истинное удовольствие отпускать такие замечания в присутствии нового викария — бедняги, находившегося под каблуком у жены и обремененного целым выводком дочерей. По окончании воскресного

обеда подавали портвейн, и мой брат, наблюдая за его круговым движением, подмигивал мне с противоположного конца стола.

Как сейчас вижу: Эмброз, полусгорбившись, полуразвалившись — эту позу я перенял у него, — сидит на стуле, сотрясаясь от беззвучного смеха, вызванного робкими увещеваниями викария, и вдруг, испугавшись, что может оскорбить его чувства, переводит разговор на предметы, доступные пониманию низенького гостя, и изо всех сил старается, чтобы тот чувствовал себя спокойно и уверенно.

Поступив в Харроу, я еще больше оценил достоинства Эмброза. Во время каникул, которые пролетали слишком быстро, я постоянно сравнивал брата и его приятелей со своими шумными однокашниками и учителями, сдержанными, холодными, чуждыми, по моим представлениям, всему человеческому.

— Ничего, ничего, — похлопывая меня по плечу, обычно говорил Эмброз, когда я, с побелевшим лицом и чуть не плача, садился в экипаж, отвозивший меня к лондонскому дилижансу. — Это всего лишь подготовка, что-то вроде объездки лошади. Потерпи. Ты и опянуться не успеешь, как окончишь школу и я заберу тебя домой и сам займусь твоим обучением.

— Обучением — чему? — спросил я.

— Ты ведь мой наследник, не так ли? А это уже само по себе профессия.

И наш кучер Веллингтон увозил меня в Бодмин, чтобы успеть к лондонскому дилижансу. Я оборачивался в последний раз взглянуть на Эмброза. Он стоял, опершись на трость, в окружении своих собак. В уголках его глаз от искреннего сочувствия собирались морщинки; густые выющиеся волосы начали седеть. Когда он входил в дом, свистом зовя собак, я проглатывал подступивший к горлу комок и чувствовал, как колеса кареты с фатальной неизбежностью несут меня по гравиевой дорожке парка, через белые ворота, мимо сторожки привратника, — в школу, разлучая со всем, что я так люблю.

Однако Эмброз переоценил свое здоровье, и, когда мои школьные и университетские годы остались позади, пришел его черед уезжать.

— Мне говорят, что если я проведу здесь еще одну дождливую зиму, то окончу свои дни в инвалидном кресле, — однажды сказал он мне. — Надо отправляться на поиски солнца. К берегам Испании или Египта, куда-нибудь на Средиземное море, где сухо и тепло. Не то

чтобы я хотел уезжать, но, с другой стороны, будь я проклят, если соглашусь кончать жизнь инвалидом. У такого плана есть одно достоинство. Я привезу растения, каких здесь ни у кого нет. Посмотрим, как заморские чертенята зацветут на корнуоллской почве.

Пришла и ушла первая зима, за ней без особых изменений — вторая.

Эмброз был доволен путешествием, и я не думаю, что он страдал от одиночества. Он привез одному Богу известно сколько саженцев деревьев и кустов, цветов и других растений всевозможных форм и оттенков. Особую страсть он питал к камелиям. Мы отвели под них целую плантацию, и то ли руки у него были особенные, то ли он знал волшебное слово — не знаю, но они сразу зацвели, и мы не потеряли ни одного цветка.

Так наступила третья зима. На этот раз Эмброз решил ехать в Италию. Он хотел увидеть сады Флоренции и Рима. Зимой ни там, ни там тепла не найдешь, но Эмброза это не беспокоило. Кто-то уверил его, что воздух там будет холодный, но сухой и можно не опасаться дождя. В тот последний вечер мы разговаривали допоздна. Эмброз был не из тех, кто рано ложится спать, и мы нередко засиживались в библиотеке до часа, а то и до двух часов ночи, иногда молча, иногда беседуя, протянув к огню длинные ноги, а вокруг нас лежали свернувшиеся калачиком собаки. Я уже говорил, что у меня не было дурных предчувствий, но сейчас, возвращаясь мысленно назад, я спрашиваю себя: а не было ли их у него? Он то и дело останавливал на мне задумчивый, немного смущенный взгляд, потом переводил его на обшитые деревянными панелями стены, на знакомые картины, на камин, с камина — на спящих собак.

— Хорошо бы тебе поехать со мной, — неожиданно сказал он.

— Мне недолго собраться, — ответил я.

Он покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Я пошутил. Нам нельзя оставить дом обоим сразу на несколько месяцев. Видишь ли, быть землевладельцем — большая ответственность, хоть и не все так думают.

— Я мог бы доехать с тобой до Рима, — сказал я, увлеченный своей идеей. — И если не помешает погода, вернуться домой к Рождеству — Нет, — медленно проговорил он, — нет, это просто каприз. Забудь о нем.

— Ты действительно хорошо себя чувствуешь? — спросил я. — Ничего не болит?

— Слава Богу, нет, — рассмеялся Эмброз. — Уж не принимаешь ли ты меня за инвалида? Вот уже несколько месяцев у меня не было ни одного приступа ревматизма. Вся беда в том, Филипп, мальчик мой, что я до смешного привязан к дому. Когда ты поживешь с мое, то, возможно, поймешь меня.

Эмброз встал со стула и подошел к окну. Он раздвинул тяжелые портьеры и несколько мгновений внимательно смотрел на лужайку под окнами. Вечер был тих и безветрен. Галки устроились на ночлег, и даже совы не нарушали тишины.

— Я рад, что мы разделились с тропинками и положили дерн вокруг дома, — сказал он. — А когда трава зазеленеет до самого выгона, будет еще красивее. Со временем тебе придется вырубить мелколесье, чтобы открыть вид на море.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я. — Что значит «мне придется»?

Почему не тебе?

Он ответил не сразу.

— Это одно и то же, — наконец сказал он. — Одно и то же. Какая разница? Но все же запомни. На всякий случай.

Дон, мой старый ретривер, поднял голову и посмотрел на Эмброза. Он уже видел перевязанные картонки в холле и чувял близость отъезда. Он с трудом встал с пола, подошел к Эмброзу и, опустив хвост, остановился рядом с ним. Я тихо позвал его, но пес не пошел ко мне. Я выбил в камин пепел из трубки.

Часы на колокольне пробили несколько раз. Со стороны кухни донесся ворчливый голос Сикома, отчитывающего поваренка.

— Эмброз, — сказал я, — Эмброз, разреши мне поехать с тобой.

— Не валяй дурака, Филипп, и иди спать, — ответил он.

Вот и все. Больше мы не обсуждали этот вопрос. Утром, во время завтрака, Эмброз дал мне последние наставления относительно весенних посадок и разных дел, которые мне надлежало выполнить к его приезду. Ему пришла фантазия устроить лебединый пруд на заболоченном участке парка у самого начала восточной дороги к дому, и за зиму, если выдастся погода, этот участок надо было вырубить и раскорчевать. Незаметно подошло время расставания.

Эмброз уезжал рано, и к семи часам мы позавтракали. Он собирался переночевать в Плимуте и с утренним приливом выйти в море. Корабль — обычное торговое судно — доставит его в Марсель, откуда он не спеша отправится в Италию; Эмброз любил долгие морские путешествия.

Было сырое, промозглое утро. Веллингтон подал экипаж к дверям дома, и вскоре на крыше горой громоздился багаж. Лошади от нетерпения били копытами.

Эмброз обернулся и положил руку мне на плечо.

— Смотри, не подведи меня, — сказал он.

— Удар ниже пояса, — ответил я. — Я еще никогда не подводил тебя.

— Ты очень молод. Я возлагаю на твои плечи слишком многое. Но ведь все, что мне принадлежит, — твое. И ты это знаешь.

Думаю, что, если бы я настаивал, он разрешил бы мне ехать с ним. Но ничего не сказал. Сиком и я усадили Эмброза со всеми его пледями и тростями в экипаж, и он улыбнулся нам из открытого окна.

— Все в порядке, Веллингтон, — сказал он. — Трогай.

И под начавшим накрапывать дождем экипаж покатило по подъездной аллее.

Неделя проходила за неделей своим чередом. Я, как всегда остро, чувствовал отсутствие Эмброза, но мне было чем занять себя. Когда мне становилось одиноко, я верхом отправлялся к моему крестному Нику Кендаллу, единственная дочь которого Луиза была на два года моложе меня. Мы с детства дружили. Она была довольно хорошенькой девушкой, серьезной и не склонной к фантазиям. Эмброз, бывало, говорил шутя, что в один прекрасный день она станет моей женой, но я, признаться, никогда не воображал ее в этой роли.

Первое письмо Эмброза пришло в середине ноября с тем же судном, которым он прибыл в Марсель. Плавание прошло без происшествий, погода была неплохая, несмотря на легкую качку в Бискайском заливе. Чувствовал он себя хорошо, настроение было отличное, и он с удовольствием предвкушал поездку в Италию.

Он решил не прибегать к услугам дилижанса, чтобы не ехать в глубь материка, и нанял экипаж с лошадьми, предполагая добраться до Италии берегом, а затем повернуть к Флоренции. При этом известии Веллингтон покачал головой и предрек какой-нибудь

несчастный случай. По его глубокому убеждению, ни один француз не умеет править лошадьми, а все итальянцы — разбойники. Однако Эмброс остался цел и невредим, и следующее письмо пришло из Флоренции. Я сохранил все его письма, и сейчас они лежат передо мной. Как часто читал я их в последние месяцы; подолгу держал в руках, переворачивал, перечитывал вновь и вновь, словно прикосновением можно было извлечь нечто большее, нежели то, что значили начертанные на бумаге слова.

В конце письма из Флоренции, где он, очевидно, провел Рождество, Эмброс впервые заговорил о кузине Рейчел.

«Я познакомился с нашей дальней родственницей, — писал он. — Ты, конечно, слышал от меня про Коринов, у которых было имение на берегу Теймара, давно проданное и перешедшее в другие руки. Один из Коринов два поколения назад взял в жены девушку из семьи Эшли, свидетельство чему ты можешь найти на нашем генеалогическом древе. Внучка этой четы родилась в Италии, где ее воспитали полуиций отец и мать-итальянка. В очень раннем возрасте ее выдали замуж за аристократа по фамилии Сангаллетти, который распростился с жизнью на дуэли (похоже, будучи навеселе), оставив жене кучу долгов и огромную пустую виллу. Детей нет. Графиня Сангаллетти — или, как она упорно просит называть ее, моя кузина Рейчел — здоровыслящая женщина; ее общество мне крайне приятно, и, кроме того, она взяла на себя труд показать мне сады Флоренции, а затем и Рима, поскольку мы будем там в одно и то же время».

Я был рад, что Эмброс нашел друга, способного разделить его страсть к садам. Не зная, что собой представляет флорентийское и римское общество, я опасался, что английских знакомств у моего кузена будет немного, и вот появляется особа, чья семья родом из Корнуолла, — значит, и здесь они найдут нечто общее.

Следующее письмо почти целиком сводилось к перечню садов, которые хоть и не стояли в то время года во всей своей красе, произвели на Эмброза огромное впечатление. Такое же впечатление они производили на нашу родственницу.

«Я начинаю проникаться искренним расположением к нашей кузине Рейчел, — писал Эмброз ранней весной. — Мне становится не по себе, когда я думаю, что ей пришлось вытерпеть от этого Сангалетти. Что ни говори, а итальянцы — вероломные мерзавцы. По своим взглядам она такая же англичанка, как ты да я, словно только вчера жила на берегу Теймара. Когда я рассказываю о наших местах, она просто не может послушаться. Она чрезвычайно умна, но, слава Богу, умеет придержать язык. Ничего похожего на обычную женскую болтовню. Во Фьезоле она нашла для меня отличные комнаты недалеко от своей виллы, и, когда станет тепло, я буду проводить большую часть времени у нее, сидя на террасе или слоняясь по саду. Кажется, он знаменит своей планировкой и скульптурами, в чем я не очень разбираюсь. Не знаю, на какие средства она живет, но догадываюсь, что ей пришлось продать много ценных вещей с виллы, чтобы расплатиться с долгами мужа».

Я спросил моего крестного Ника Кендалла, помнит ли он Коринов. Он их помнил, но мнения о них был весьма невысокого.

— Я тогда был мальчишкой. Никчемная компания, — сказал он. — Проиграли в карты все свои деньги и имущества. Их дом на Теймаре не лучше развалившейся фермы. Лет сорок как пришел в полное запустение. Должно быть, отец этой женщины — Александр Корин; если не ошибаюсь, он отправился на континент, и с тех пор о нем никто не слышал. Он был вторым сыном второго сына. Правда, не знаю, что с ним случилось потом. Эмброз пишет о возрасте графини?

— Нет, — ответил я, — только то, что она очень молодой вышла замуж, но когда — не пишет. Думаю, она средних лет.

— Должно быть, она очень хороша, раз мистер Эшли обратил на нее внимание, — заметила Луиза. — Я никогда не слышала, чтобы он восхищался хоть одной женщиной.

— Вероятно, она некрасива и скромна, — сказал я, — и он не чувствует себя вынужденным говорить ей комплименты. Я в восторге.

Пришло еще несколько писем, достаточно бессвязных, без особых новостей.

Он только что вернулся с обеда у нашей кузины Рейчел или отправлялся к ней на обед. Как мало, писал он, среди ее друзей во Флоренции людей, которые могут помочь ей искренним,

незаинтересованным советом. Он тешил себя надеждой — и писал об этом, — что может подать ей такой совет. И как же она была ему благодарна... У нее не было ничего общего с Сангаллетти, и она признавалась, что всю жизнь мечтала иметь друзей-англичан. «У меня такое чувство, — писал он, — что кроме сотен новых растений, которые я привезу домой, я приобрел что-то еще».

Прошло некоторое время. Он не написал, когда собирается вернуться; обычно это бывало ближе к концу апреля. Зима, казалось, не спешила уходить, и морозы, редкие в наших западных краях, были на удивление сильные. Они побили несколько молодых камелий Эмброза, и я надеялся, что он вернется не слишком рано и не застанет пронизывающих ветров и затяжных дождей.

Вскоре после Пасхи от него пришло письмо.

«Мой дорогой мальчик, — писал Эмброс, — тебя удивляет мое молчание?»

Откровенно говоря, я никогда не думал, что придет день и я напишу тебе такое письмо. Пути Господни неисповедимы. Мы всегда были так близки с тобой, и ты, наверное, догадался, какое смятение царило в моей душе последние недели.

Смятение — не совсем точное слово. Скорее — радостное замешательство, которое превратилось в уверенность. Я не принимал скоропалительных решений.

Как тебе известно, я слишком дорожу своими привычками, чтобы менять образ жизни ради мимолетной прихоти. Я нашел нечто такое, чего никогда прежде не находил и даже не думал, что оно существует. Мне все еще не верится, что это случилось. Мысли мои часто обращались к тебе, и тем не менее до сегодняшнего утра я не чувствовал в себе достаточно сил и душевного спокойствия, чтобы писать. Ты должен знать, что твоя кузина Рейчел и я две недели назад стали мужем и женой. Сейчас мы проводим медовый месяц в Неаполе и намерены вскоре вернуться во Флоренцию. В более отдаленное будущее я не заглядываю. Мы не строили никаких планов, и пока их нет ни у нее, ни у меня.

Скоро, Филипп, надеюсь, что теперь уже совсем скоро, ты узнаешь ее.

Если бы я не боялся утомить тебя, то мог бы описать ее, мог бы рассказать о ее доброте, о ее искренней, заботливой нежности. Не могу сказать, почему среди всех она выбрала именно меня — сварливого, циничного женоненавистника, если возможно подобное сочетание. По этому поводу она часто подтрунивает надо мной, и я признаю свое поражение. Быть побежденным такой женщиной, как она, — в известном смысле победа. И я мог бы назвать себя победителем, а не побежденным, если бы не боялся показаться слишком самоуверенным.

Сообщи всем эту новость, передай им мои приветы, а также приветы Рейчел и запомни, мой дорогой, любимый мальчик, что этот брак, поздний брак, не только ни на йоту не уменьшит моей глубокой любви к тебе, но, напротив, усилит ее; теперь, когда я чувствую себя счастливейшим из людей, я сумею сделать для тебя больше, чем прежде, и Рейчел мне поможет. Поскорее напиши мне и, если можешь, прибавь несколько слов приветов для своей кузины Рейчел.

Всегда преданный тебе

Эмброз».

Письмо пришло около половины шестого, я только что пообедал. Сиком принес почтовую сумку и оставил ее мне. Я положил письмо в карман, вышел из дома и зашагал через поле к морю. Племянник Сикома, державший на берегу небольшую коптильню, поздоровался со мной. Он развесил рыболовные сети, и они сохли на каменной стене под последними лучами заходящего солнца. Я едва ответил ему, и он, наверное, счел меня грубияном. Я перебрался через скалы на узкий риф, выдававшийся в маленькую бухту, в которой я часто плавал летом. Эмброз обычно бросал якорь ярдах в пятидесяти от берега, и я доплывал до его лодки. Я сел, вынул письмо и перечитал его. Если бы я мог ощутить хоть малую толику, проблеск радости за тех двоих, что делили общее счастье в далеком Неаполе, совесть моя была бы спокойна. Стыдясь за самого себя, проклиная собственный эгоизм, я не мог пробудить в своем сердце хоть сколько-нибудь теплого чувства. Оцепенев от горя, я сидел и не сводил глаз с гладкого, спокойного моря. Недавно мне исполнилось двадцать три года, и тем не менее я чувствовал себя таким же одиноким и растерянным, как в те давние дни, когда сидел на скамье четвертого класса Харроу, без друзей,

готовых утешить меня, а впереди открывался мир новых, незнакомых переживаний, входить в который я не хотел и страшился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Особенно стыдно мне было из-за восторга его друзей, их неподдельной радости и искренней заботы о его благополучии. На меня обрушился целый поток поздравлений — с явным расчетом, что они будут переданы Эмброзу; отвечая на них, я должен был улыбаться, кивать головой и делать вид, будто давно знал, что это случится. Я чувствовал себя лицемером, предателем. Эмброс воспитал во мне отвращение к притворству — как в человеке, так и в животном, и сознание того, что сам я притворяюсь, доводило меня до иступления.

«Лучшего не придумаешь». Как часто слышал я эти слова и должен был вторить им! Я стал избегать соседей и, не желая постоянно видеть любопытные лица и терпеть утомительную болтовню, отсиживался дома или бродил по лесу.

Но если я объезжал имение или отправлялся в город, спасения не было. Стоило кому-нибудь из наших арендаторов или знакомых хотя бы издали заметить меня, как я был обречен на бесконечные разговоры. Словно посредственный актер, я с усилием изображал улыбку и, чувствуя, как напрягается кожа на лице, протестуя против насилия, был вынужден отвечать на вопросы с той ненавистной мне сердечностью, какую в обществе ожидают от нас, если речь заходит о свадьбе. «Когда они собираются домой?». Ответ всегда был один: «Не знаю».

Эмброс не написал».

Высказывались всевозможные домыслы относительно внешности, фигуры, возраста новобрачной, на что я неизменно отвечал: «Она вдова и тоже любит сады».

Все кивали головой — очень подходит, лучшего и желать нельзя, как раз для Эмброза. Затем следовали шутки, остроты и бурное веселье по поводу того, что на такого убежденного холостяка надели супружеский хомут.

Сварливая миссис Паско, жена vicария, назойливо возвращалась к злосчастной теме, будто брала реванш за прошлые оскорбления, нанесенные священному институту брака.

— Вот уж теперь-то, мастер Филипп, все изменится, — говорила она при каждом удобном случае. — Теперь в вашем доме все будут ходить по струнке. И хорошо. Очень хорошо, скажу я вам. Хоть слуг наконец приучат к порядку. Вряд ли Сикому это понравится, уж слишком долго он делал все по-своему.

В этом она была права. Думаю, Сиком был моим единственным союзником, но я не признавался в том и остановил старика, когда тот попробовал выведать мое отношение к случившемуся.

— Не знаю что и сказать, мастер Филипп, — мрачно и как бы смиренно пробормотал он. — Хозяйка все в доме перевернет вверх дном, и мы не будем знать, на каком мы свете. Сперва одно, потом другое; чего доброго, ей и не угодишь. Пожалуй, пора мне уходить на покой и уступить место кому-нибудь помоложе. Вам бы не мешало упомянуть об этом мистеру Эмброзу, когда будете ему писать.

Я сказал, чтобы он не говорил глупостей, что Эмброс и я пропадем без него, но он покачал головой и продолжал ходить по дому с вытянутым лицом, не упуская возможности намекнуть на невеселое будущее: что и время завтрака, обеда и ужина обязательно поменяют, и мебель заменят, и велят без конца убирать в доме, не давая никому ни минуты роздыха, и — как последний удар — даже бедных собак прикажут уничтожить. Подобные предсказания, произнесенные замогильным тоном, отчасти вернули мне утраченное было чувство юмора, и я рассмеялся — впервые с тех пор, как прочел последнее письмо Эмброза.

Ну и картину изобразил Сиком! Я представил себе целый полк горничных, которые, вооружась швабрами, обметают по всему дому паутину, а старый дворецкий, выпятив, по своему обыкновению, нижнюю губу, с ледяной миной наблюдает за ними! Его уныние меня забавляло, но когда нечто похожее предсказывали другие — даже Луиза Кендалл, которая, по старой дружбе, могла бы проявить больше проницательности и придержать язык, — то их замечания вызывали во мне глухое раздражение.

— Слава Богу, теперь в вашей библиотеке сменят обивку, — весело сказала Луиза. — Она совсем потускнела и протерлась от старости, но вы, смею сказать, этого и не замечали. А цветы в доме — какая прелесть!

Гостиная наконец приобретет нормальный вид. Я всегда считала, что не пользоваться ею — настоящее расточительство. Миссис Эшли, конечно же, украсит ее книгами и картинами со своей итальянской виллы.

Она все болтала и болтала, перечисляя бесконечные усовершенствования, пока я не потерял терпение и не сказал ей довольно грубо:

— Ради Бога, Луиза, перестань. Надоело.

Она замолкла и проницательно взглянула на меня.

— Ты случайно не ревнуешь? — спросила она.

— Не говори глупостей, — ответил я.

Я поступил скверно, но мы настолько хорошо знали друг друга, что я смотрел на нее как на младшую сестру и обращался с ней без особой почтительности.

Она умолкла, и с тех пор я стал замечать, что, когда во время общего разговора речь заходила о женитьбе Эмброза, она бросала на меня быстрый взгляд и старалась сменить тему. Я был благодарен Луизе, и мое отношение к ней стало еще теплее.

Последний удар, разумеется нечаянно, нанес мой крестный и ее отец — Ник Кендалл.

— У тебя уже есть какие-нибудь планы на будущее, Филипп? — спросил он однажды вечером, когда я приехал к ним обедать.

— Планы, сэр? Нет, — ответил я, не совсем уловив смысл вопроса.

— Впрочем, еще рано, — сказал он. — К тому же, я полагаю, следует дождаться возвращения Эмброза и его жены. Меня интересует, не решил ли ты присмотреть для себя небольшой кусок земли в округе.

Я не сразу понял, что он имеет в виду.

— А зачем? — спросил я.

— Но ведь дела приняла несколько иной оборот, не правда ли? — заметил он, будто говорил о чем-то решенном. — Вполне естественно, что Эмброс и его жена захотят быть вместе. И если будут дети, сын, то это отразится на твоём положении. Я уверен, Эмброс не допустит, чтобы ты пострадал из-за перемены в его жизни, и купит тебе любой участок. Конечно, не исключено, что у них не будет детей, но, с другой стороны, для подобных предположений нет никаких причин.

Ты мог бы заняться строительством. Иногда строительство собственного дома приносит гораздо большее удовлетворение, чем покупка готового.

Он продолжал говорить, называя подходящие участки в радиусе миль двадцати от нашего дома, и я был благодарен ему за то, что он, казалось, не ждал ответа. Не скрою, сердце мое было переполнено, и я ничего не мог сказать крестному. То, что он предлагал, было так неожиданно, что я не мог собраться с мыслями и вскоре извинился и уехал. Да, я ревновал. Пожалуй, Луиза была права. Ревновал, как ребенок, который должен делить с посторонним того единственного, кто есть у него в жизни. Подобно Сикому, я представлял себе, как из всех сил стараюсь освоиться с новым, стесняющим меня образом жизни. Как выбиваю трубку, встаю со стула, предпринимаю неуклюжие попытки участвовать в разговоре, приучаю себя к чопорности и скуке женского общества; как, видя что Эмброз, мой Бог, ведет себя, словно последний простофиля, в отчаянии выхожу из комнаты. Но я никогда не представлял себя отверженным, выставленным из дома и живущим на содержании, как отставной слуга. Появится ребенок, который станет называть Эмброза отцом, и я стану лишним.

Если бы мое внимание на эту возможность обратила миссис Паско, я бы объяснил ее слова злопыхательством и забыл о них. Иное дело, когда такое заявляет мой тихий, спокойный крестный. Домой я возвращался в сомнениях и печали. Я не знал, что делать, как поступить. Строить планы на будущее, как советовал крестный? Найти себе дом? Готовиться к отъезду? Я хотел жить только там, где живу, владеть только той землей, какую владею. Эмброз вырастил меня на ней и для нее. Она была моей. Она была его. Она принадлежала нам обоим. Теперь уже нет. Все изменилось. Помню, как, вернувшись от Кендаллов, я бродил по дому, глядя на все новыми глазами, и собаки, заразившись моим возбуждением, не отставали от меня ни на шаг. Моя старая, заброшенная детская, куда лишь недавно каждую неделю стала приходиться племянница Сикома, чтобы разбирать и чинить белье, обрела для меня новое значение. Я представил себе, что ее заново выкрасили, а маленькую битую для крикета, которая все еще стояла, покрытая паутиной, на полке между стопками пыльных книг, выкинули на помойку. Примерно раз в два

месяца наведываясь туда забрать починенную рубашку или заштопанные носки, я никогда не задумывался над тем, с какими воспоминаниями связана для меня эта комната.

Теперь же мне захотелось вернуть ее и уединиться там от всего мира. Но она станет совершенно чуждой мне: душной, с запахом кипяченого молока и сохнущих одеял, как комнаты в домах арендаторов, когда там есть маленькие дети. Я зримо представлял себе, как они, вопя, ползают по полу, ударяясь обо все головой, расшибая локти, или, что еще хуже, лезут к вам на колени и по-обезьяньи гримасничают, если им этого не разрешают. Боже, неужели все это ждет Эмброза?!

До сих пор, думая о моей кухне Рейчел, что случалось довольно редко, ибо я гнал от себя ее имя, как гонят неприятные мысли, я рисовал себе женщину, похожую на миссис Паско, но еще менее симпатичную. С крупными чертами лица, костлявой фигурой, ястребиными глазами, от которых, как предсказывал Сиком, не укроется ни пылинки, с чересчур громким и резким смехом, настолько резким, что приглашенные к обеду вздрагивают и бросают на Эмброза сочувственные взгляды. Теперь же ее облик изменился, и она представлялась мне то уродом, вроде несчастной Молли Бейт из Уэст-Лоджа, при виде которой люди вежливо отводят глаза, то калекой без кровинки в лице: она сидит под ворохом шалей, болезненно раздражительная и вечно недовольная сиделкой, которая в нескольких шагах от нее помешивает ложечкой лекарство.

То средних лет, решительная, то жеманная и моложе Луизы — моя кухня Рейчел имела множество обликов, один отвратительней другого. Я видел, как она заставляет Эмброза опуститься на колени, чтобы играть в медведей, как дети забираются на него верхом и он, покорно уступая, теряет все свое достоинство. Или как, вырядившись в кисейное платье, с лентой в волосах, она капризно встряхивает локонами, а Эмброс, откинувшись на спинку стула, рассматривает ее с идиотской улыбкой.

В середине мая пришло письмо, в котором сообщалось, что они все же решили остаться на лето за границей. Я едва не вскрикнул от облегчения. Я больше прежнего чувствовал себя предателем, но ничего не мог с собой поделать.

«Твоя кузина Рейчел еще не разобралась с делами, которые необходимо уладить до отъезда в Англию, — писал Эмброз. — Поэтому мы решили — можешь себе представить, как это нас огорчает, — на время отложить возвращение домой. Я делаю все, что могу, но итальянские законы не наши, и примирить те и другие — не так-то просто. Мне приходится тратить уйму денег, но дело стоит того, и я не сетую. Мы часто говорим о тебе, дорогой мальчик. Как бы я хотел, чтобы ты был сейчас с нами!» Далее он задавал вопросы о работах в имении, ко всему проявляя всегдашний горячий интерес; и я подумал, что, должно быть, сошел с ума, если хоть на минуту предположил, будто он может измениться.

Все соседи, конечно, были очень разочарованы, когда узнали, что лето молодые проведут не дома.

— Возможно, — сказала миссис Паско с многозначительной улыбкой, — состояние здоровья миссис Эшли не позволяет ей путешествовать?

— Ничего не могу вам сказать, — ответил я. — Эмброз упомянул в письме, что они провели неделю в Венеции и оба вернулись с ревматизмом.

У миссис Паско вытянулось лицо.

— Ревматизм? И у нее тоже? — проговорила она. — Какое несчастье! — И задумчиво добавила:

— Видимо, она старше, чем я думала.

Простая женщина, ее мысли имели только одно направление. В двухлетнем возрасте у меня были ревматические боли в коленях. От роста — говорили мне старшие. Иногда после дождя я и сейчас их чувствую. И все же мы подумали об одном.

Моя кузина Рейчел постарела лет на двадцать. У нее снова были седые волосы, она даже опиралась на палку. Я увидав ее не тогда, когда она ухаживала за розами в своем итальянском саду, представить который у меня не хватало фантазии; постукивая палкой по полу, она сидела за столом в окружении юристов, лопочущих по-итальянски, а мой бедный Эмброз терпеливо сидел рядом с ней.

Почему он не приехал домой и не оставил ее заниматься делами? Однако настроение мое улучшилось, как только желанная новобрачная уступила место стареющей матроне с прострелами в наиболее чувствительных местах. Детская отступила на второй план;

я видел гостиную, превратившуюся в заставленный ширмами будуар, где даже в середине лета жарко пылает камин, и слышал, как кто-то раздраженно велит Сикому принести угля — в комнате страшные сквозняки. Я снова принялся петь в седле, травил собаками кроликов, купался перед завтраком, ходил под парусом в лодчонке Эмброза, когда позволял ветер, и перед отъездом Луизы в Лондон, где она собиралась провести сезон, доводил ее до слез шутками о столичных модах. В двадцать три года для хорошего настроения надо не так уж много. Мой дом принадлежал мне, никто его не отнимал.

Затем тон писем Эмброза изменился. Сперва я почти ничего не заметил, но, перечитывая их, в каждом слове все явственней улавливал странное напряжение, в каждой фразе — скрытую тревогу, мало-помалу проникающую в его душу. Я понимал, что в какой-то мере это объясняется ностальгией по дому, тоской по родным местам и привычному укладу жизни, но меня поражало ощущение одиночества, тем более непонятное в человеке, который женился всего десять месяцев назад. Эмброс писал, что долгое лето и осень были очень утомительны, зима наступила необычно душная. Несмотря на то, что на вилле высокие потолки, дышать совершенно нечем, и он бродит из комнаты в комнату, словно собака перед грозой, но грозы все нет и нет. Воздух не становится свежее, и он готов душу отдать за проливной дождь, хоть он и вызывает новые приступы болезни. «Я никогда не страдал головной болью, — писал он, — но теперь она часто докучает мне. Порою она просто нестерпима. Солнце мне до смерти надоело. Мне страшно не хватает тебя. О многом надо поговорить, а в письме всего не скажешь. Моя жена сегодня в городе, вот мне и выпала возможность написать тебе». Здесь он впервые употребил слова «моя жена». Раньше он всегда говорил «Рейчел» или «твоя кузина Рейчел», поэтому слова «моя жена» показались мне слишком официальными и холодными.

В письмах, которые я получил от Эмброза в ту зиму, о возвращении домой речи не было, но он очень хотел узнать последние новости; он отзывался на каждый пустяк в моих письмах, словно ничто другое его не интересовало.

Прошла Пасха, Троица — никаких вестей, и я начал беспокоиться. Своими опасениями я поделился с крестным, но тот сказал, что почта, конечно, задерживается из-за погоды. Сообщали,

что в Европе выпал поздний снег, и я мог ожидать писем из Флоренции не раньше конца мая. Прошло больше года, как Эмброз женился, и полтора года, как уехал. Чувство облегчения, которое я испытал, узнав, что его приезд с молодой женой откладывается, сменилось страхом, что он вообще не вернется. Очевидно, первое лето, проведенное в Италии, подвергло его здоровье серьезному испытанию. А как повлияет на него второе? Наконец в июле пришло письмо — короткое, бессвязное, абсолютно на Эмброза не похожее. Даже буквы, обычно такие четкие и разборчивые, расплзались по странице, как будто писавший с трудом держал перо. «Дела мои плохи, — писал Эмброз, — о чем ты, наверное, догадался по моему последнему письму. Но никому не говори об этом. Она следит за мной. Я несколько раз писал тебе, но мне здесь некому довериться, и если не удастся самому отправить письма, то они могут не дойти до тебя. Из-за болезни я не в состоянии далеко ходить пешком. Что до врачей, я не верю никому из них. Они все до единого лжецы и обманщики. Новый врач, которого рекомендовал Райнальди, настоящий головорез из той же банды. Однако со мной они напрасно связались, и я их одолею». Далее следовал пропуск и после неразборчивых каракулей, которые я так и не сумел расшифровать, — подпись Эмброза.

Я велел груму оседлать коня и поскакал к крестному показать письмо. Он встревожился не меньше меня.

— Похоже на нервное расстройство, — сказал он после довольно долгого молчания. — Мне это совсем не нравится. Это не мог написать человек в здравом рассудке. Я очень надеюсь...

Крестный замолк и поджал губы.

— Надеетесь... на что? — спросил я.

— Твой дядя Филипп, отец Эмброза, умер от опухоли мозга. Разве ты не знал? — коротко сказал он.

Я ответил, что никогда не слышал, от чего умер мой дядя.

— Тебя, разумеется, тогда еще не было на свете, — заметил крестный.

— В семье избегали этой темы. Передаются такие вещи по наследству или нет — не могу сказать, да и врачи не могут. Медицина еще недостаточно развита.

Он надел очки и перечитал письмо.

— Может быть, правда, и другая причина — крайне маловероятная, но я предпочел бы именно ее, — сказал он.

— И какая же?

— Да та, что Эмброз был пьян, когда писал это письмо.

Не будь ему за шестьдесят и не будь он моим крестным, я бы ударил его за такое предположение.

— Я ни разу в жизни не видел Эмброза пьяным, — сказал я.

— Я тоже, — сухо заметил он. — Но из двух зол я выбрал бы меньшее.

Думаю, тебе следует поехать в Италию.

— Я и сам так решил, — ответил я.

И я отправился домой, не имея ни малейшего представления, как все это будет. Из Плимута не отплывало ни одно судно, услугами которого я мог бы воспользоваться. Мне предстояло ехать в Лондон, оттуда в Дувр, там сесть на пакетбот до Булони, а затем через Францию добираться до Италии дилижансом.

Если поспешить с отъездом, можно попасть во Флоренцию недели через три.

Французский язык я знал довольно плохо, итальянского не знал совсем, но ни то ни другое меня не тревожило, лишь бы добраться до Эмброза. Я наскоро попрощался с Сикомом и слугами, объяснив, что решил срочно навестить их хозяина, но ни словом не обмолвившись о его болезни, и прекрасным июльским утром выехал в Лондон, с невеселыми мыслями о почти трехнедельном путешествии по незнакомой стране.

Экипаж уже свернул на бодминскую дорогу, когда я увидел грума, который ехал нам навстречу с почтовой сумкой за поясом. Я велел Веллингтону придержать лошадей, и мальчик протянул мне сумку. Вероятность найти в ней письмо от Эмброза равнялась одному шансу из тысячи, но этот единственный шанс перевесил. Я достал конверт из сумки и отослал грума домой. Веллингтон взмахнул кнутом, а я вынул из конверта клочок бумаги и поднес его к окошку чтобы лучше видеть. Слова были настолько неразборчивы, что я с трудом прочел их.

«Ради Бога, приезжай скорее. Она все же доконала меня, Рейчел, мука моя. Если ты промедлишь, может быть слишком поздно.»

Эмброз».

И все. На письме не было даты, на конверте, запечатанном перстнем Эмброза, — никаких пометок, указывающих на время отправления.

С обрывком бумаги в руке я сидел в экипаже, сознавая, что никакая сила, земная или небесная, не доставит меня к нему раньше середины августа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наконец почтовая карета привезла меня и еще нескольких пассажиров во Флоренцию, и мы вышли у гостиницы на берегу Арно. У меня было такое чувство, будто я провел в дороге целую вечность. Было пятнадцатое августа. Ни на одного путешественника, когда-либо ступавшего на землю Европейского континента, он не произвел меньшего впечатления, чем на меня. Дороги, по которым мы ехали, горы, долины, города, как французские, так и итальянские, где мы останавливались на ночлег, казались мне похожими друг на друга. Везде была грязь, гостиницы кишмя кишели насекомыми, и я едва не оглох от шума.

Привыкнув к тишине пустого дома — слуги спали в своих комнатах под часовой башней, — где по ночам слышался только шум ветра в деревьях да стук дождя, когда с юго-запада нагоняло тучи, я не мог освоиться с гомоном и суматохой иностранных городов, и они приводили меня в состояние, близкое к отупению.

Я спал, да, — кто не спит в двадцать четыре года после долгой, утомительной дороги? — но в мои сны вторгались чужие, непривычные звуки: хлопанье дверей, визг, шаги под окнами, стук колес по булыжной мостовой и повторяющийся каждые четверть часа звон церковного колокола. Возможно, окажись я за границей с другой целью, все было бы иначе. Тогда, может быть, я с легким сердцем открывал бы рано утром окно, разглядывал бы босоногих детей, играющих в сточной канаве, бросал бы им монеты, как зачарованный прислушивался бы к новым для себя голосам и звукам, бродил бы ночами по узким улочкам и со временем полюбил бы их. Теперь же я на все смотрел равнодушно, а то и враждебно. Меня привела сюда необходимость найти Эмброза.

Он болен — болезнь сразила его в чужой стране; одного этого было достаточно, чтобы тревога вызвала во мне отвращение ко всему, связанному с этой страной, к самой ее земле.

С каждым днем становилось все жарче. Лазурное небо слепило глаза; карета бесконечно петляла по пыльным дорогам Тосканы, и мне казалось, что солнце выпило всю влагу из земли. Долины побурели от

зноя; маленькие, опаленные солнцем деревни желтыми пятнами лепились по склонам холмов, плавающих в раскаленном мареве. Тощие, костлявые волы понуро бродили в поисках воды, по обочинам дороги щипали траву облезлые козы, которых пасли ребяташки, провожавшие дилижанс пронзительными криками, и мне, объятому тревогой и страхом за Эмброза, казалось, что в этой стране все живое страдает от жажды и, если не найдет плотка воды, погибает.

Выйдя из дилижанса во Флоренции, я, движимый природным инстинктом, не стал дожидаться, пока сгрузят и отнесут в гостиницу мой пропыленный багаж, пересек мощенную булыжником улицу и остановился у реки. Я был измучен долгим путешествием и с головы до пят покрыт дорожной пылью. Два последних дня я сидел рядом с кучером, чтобы не задохнуться внутри, и, как те несчастные животные у дороги, стремился к воде. И вот она передо мной. Но не прозрачно-голубая бухта моих родных мест, подернутая зыбью, солоновато-прохладная, искрящаяся брызгами под легкими порывами морского ветра, а неторопливый, набухший поток, бурый, как речное дно; он медленно и будто с трудом прокладывает себе путь под сводами моста, и время от времени его ровная, глянцевая поверхность вздувалась пузырями. По реке плыли всевозможные отбросы, пучки соломы, трава, листья, и тем не менее мое воспаленное от усталости и жажды воображение рисовало нечто такое, что можно испробовать, пролотить, выпить залпом, как выпивают яд.

Словно зачарованный, смотрел я на текущую у моих ног воду; беспощадные лучи солнца заливали мост, и вдруг у меня за спиной гулко, торжественно прозвучали четыре удара огромного колокола. К нему присоединились колокола других церквей, и звон их слился с шумом реки, особенно громким в тех местах, где она, бурая от ила, перекачивалась через камни.

Рядом со мной стояла женщина с хнычущим ребенком на руках, второй малыш дергал ее за рваную юбку. Она тянула руку за подающим, с мольбой подняв на меня свои темные глаза. Я дал ей монету и отвернулся, но она, что-то бормоча, продолжала трогать меня за локоть, пока один из пассажиров, все еще стоявший около почтовой кареты, не выпустил в нее целый заряд по-итальянски; она отпрянула от меня и возвратилась на угол моста. Она была молода, не старше девятнадцати лет, но на лице ее застыла печать вечности,

тревожащая память, словно в ее гибком теле обитала древняя как мир, неумирающая душа; тьма времен смотрела из этих глаз, они так долго созерцали жизнь, что стали равнодушны к ней. Немного позже, когда я поднялся в свою комнату и вышел на маленький балкон над площадью, я увидел, как она протиснулась между лошадьми и экипажами и притаилась, словно кошка, которая крадется в ночи, припадая к земле.

Я вымылся и переоделся, ощущая полную апатию. Теперь, когда я достиг цели путешествия, душу мою сковало тупое безразличие; того, кто отправился в путь взволнованным, настроенным на самый решительный лад, готовым к любому сражению, более не существовало. Его место занял усталый, павший духом незнакомец. Волнение давно улеглось. Даже истертая записка в моем кармане утратила реальный смысл. Она была написана несколько недель назад, с тех пор могло многое случиться. Возможно, Рейчел увезла Эмброза из Флоренции, возможно, они отправились в Рим, в Венецию, и я уже видел, как все в том же душном, неуклюжем дилижансе тащусь вслед за ними. Переезжаю из города в город, вдоль и поперек пересекаю эту проклятую страну и, нигде их не находя, терплю поражение за поражением в схватке со временем и пыльными раскаленными дорогами.

К тому же, возможно, вся эта история — просто ошибка. Возможно, письма-каракули — просто нелепая шутка: Эмброс их так любил в годы моего детства, и я часто попадал в расставленные им ловушки. Возможно, на вилле я застану в самом разгаре званый обед или какое-нибудь торжество: множество гостей, огни, музыку... Когда меня введут в залу, я ничего не смогу объяснить, и Эмброс, живой и здоровый, с удивлением воззрится на меня.

Я спустился вниз и вышел на площадь. Кареты, которые совсем недавно стояли вдоль тротуаров, разъехались. Сиеста закончилась, и на улицах снова бурлили толпы народа. Я нырнул в них и сразу затерялся. Меня окружали темные дворики, переулки, высокие, подпирающие друг друга дома, балконы. Я шел вперед, сворачивал, снова шел, а люди, стоявшие в дверях или проходившие мимо, замирали и обращали ко мне лица — с тем же выражением древнего как мир страдания и давно перегоревшей страсти, которое я впервые заметил в лице нищенки. Некоторые шли за мной, как и она, бормоча

и протягивая руку, но, когда, вспомнив своего попутчика, я грубо отгонял их, отставали, прижимались к стенам высоких домов и провожали меня взглядом, исполненным странной тлеющей гордости. Снова призывно зазвонили колокола, и я вышел на огромную площадь, где собралось множество людей; разбившись на группы, они разговаривали, жестикулировали, и мне, чужестранцу казалось, что у них нет ничего общего ни со зданиями, обрамляющими площадь, строгими и прекрасными, ни со статуями, безучастно вззирающими на них своими незрячими глазами, ни даже с колокольным звоном, который громким пророческим эхом летит в небо.

Я подозвал проезжавшую карету и неуверенно сказал: «Вилла Сангаллетти».

Я не понял, что ответил кучер, но уловил слово «Фьезоле», когда он кивнул и показал кнутом в сторону. Мы ехали по узким, забитым толпой улицам; он покрикивал на лошадь, щелкали вожжи, и люди расступались, давая дорогу карете. Колокола смолкли и замерли вдаль, но их отголосок все еще звучал у меня в ушах; торжественные, величавые, они звонили не по моей миссии, мелкой, ничтожной, не по жизни людей на улицах, но по душам давно умерших мужчин и женщин, по вечности.

Мы поднялись по длинной извилистой дороге, идущей к далеким горам, и Флоренция осталась позади. Дома отступили. Всюду царили покой и тишина; горячее яркое солнце, которое весь день палило над городом, превращая небо в расплавленное стекло, вдруг стало мягким и ласковым. Ослепительное сияние померкло. Желтые дома, желтые стены, даже бурая пыль перестали источать жар.

Дома вновь обрели цвет — возможно, блеклый, приглушенный, но в отсветах истощившего силу солнца — более нежный и приятный для глаз. Стройные неподвижные кипарисы стали чернильно-зелеными.

Возница остановил экипаж у закрытых ворот в длинной высокой стене, повернулся на козлах и через плечо сверху вниз посмотрел на меня. «Вилла Сангаллетти», — сказал он. Мое путешествие закончилось.

Я знаком попросил его подождать. Вышел из экипажа и, подойдя к воротам, дернул шнурок колокольчика. За воротами раздался звон.

Мой возница отвел лошадь к обочине дороги, сошел с козел и, стоя у канавы, отгонял шляпой мух.

Лошадь, бедная заморенная кляча, поникла в оглоблях; после подъема у нее не осталось сил даже на то, чтобы щипать траву на обочине, и она дремала, время от времени прядая ушами. Из-за ворот не доносилось ни звука, и я снова позвонил. На этот раз послышался приглушенный собачий лай; он усилился, когда открылась какая-то дверь; раздраженный женский голос резко оборвал капризный детский плач, и мой слух уловил звук шагов, приближающихся к воротам с противоположной стороны. Лязг отодвигаемых засовов, скрежет железа о камни — и ворота открылись. Меня внимательно разглядывала женщина в крестьянской одежде. Подойдя к ней, я спросил: «Вилла Сангаллетти? Синьор Эшли?»

Собака, сидевшая на цепи в сторожке, где жила женщина, залаяла еще громче. Передо мной лежала аллея, в конце которой я увидел саму виллу, безжизненную, с закрытыми ставнями. Женщина сделала движение, словно собираясь захлопнуть передо мною ворота, собака продолжала лаять, ребенок снова заплакал. Щека женщины отекала и распухла, как будто у нее болели зубы, и, чтобы унять боль, она прижимала к ней шали.

Я протиснулся за ней и повторил: «Синьор Эшли». Она вздрогнула, словно впервые увидела мое лицо, и возбужденно заговорила, указывая на виллу. Затем быстро повернулась и позвала кого-то из сторожки. В открытой двери показался мужчина с ребенком на плече — очевидно, ее муж. Он унял собаку, на ходу задавая вопросы жене. В стремительном потоке слов, который она обрушила на мужа, я уловил слово «Эшли», затем «англичанин», и теперь уже он вздрогнул и во все глаза уставился на меня. Мужчина выглядел более прилично: он был опрятнее, у него были честные глаза, и, как только он взглянул на меня, на его лице появилось выражение искреннего участия. Он что-то шепнул жене, и она вместе с ребенком отошла к двери сторожки и оттуда смотрела на нас, по-прежнему прижимая шаль к распухшему лицу.

— Я говорю немного по-английски, — сказал он. — Могу я вам помочь?

— Я приехал повидаться с мистером Эшли, — сказал я. — Он и миссис Эшли на вилле?

На лице мужчины отразилось еще большее сочувствие. Он нервно сплотнул.

— Синьор — сын мистера Эшли? — спросил он.

— Нет, — нетерпеливо ответил я, — его двоюродный брат. Они дома?

Он сокрушенно покачал головой:

— Значит, вы приехали из Англии, синьор, и еще ничего не знаете? Что я могу сказать? Это очень печально, не знаю что и сказать... Синьор Эшли... он умер три недели назад... Совсем неожиданно. Очень печально. Как только его похоронили, графиня заперла виллу и уехала. Не знаем, вернется ли она.

Собака снова залаяла, и он отвернулся успокоить ее. Я чувствовал, как кровь отлила у меня от лица. Я был потрясен. Мужчина с участием смотрел на меня, затем сказал несколько слов жене, та принесла скамейку и поставила ее возле меня.

— Сядьте, синьор, — сказал мужчина. — Мне жаль. Очень-очень жаль.

Я покачал головой. Говорить я не мог. Да и сказать мне было нечего.

Мужчина, чтобы облегчить душу, грубо прикрикнул на жену и снова повернулся ко мне.

— Синьор, — сказал он, — если вы хотите пройти на виллу, я вам ее открою. Вы можете посмотреть, где умер синьор Эшли.

Мне было все равно, куда идти, что делать. Я оцепенел и не мог сосредоточиться. Вынимая из карманов ключи, мужчина пошел по аллее; я шел рядом с ним, чувствуя, что ноги мои внезапно налились свинцовой тяжестью.

Женщина и ребенок плелись следом.

Кипарисы сомкнулись вокруг нас, вилла с закрытыми ставнями, похожая на гробницу, ждала в конце дороги. Когда мы подошли ближе, я увидел большое здание с многочисленными окнами, частью слепыми, частью нагаухо закрытыми.

Перед входом деревья расступались, образуя круг, чтобы экипажам было где развернуться. Между мрачными кипарисами стояли статуи на пьедесталах.

Мужчина отпер ключом огромную дверь и жестом пригласил меня войти. Женщина с ребенком тоже вошли, и супруги принялись

распахивать ставни, впуская в безмолвный вестибюль дневной свет. Они шли впереди меня, переходили из комнаты в комнату и открывали ставни, по доброте сердечной веря, что этим можно хоть немного смягчить мою боль. Комнаты составляли анфиладу — большие просторные, с украшенными фресками потолками, с каменными полами; тяжелый воздух был густо насыщен запахом средневековой плесени. В некоторых комнатах стены были голые, в некоторых — завешены гобеленами, а в одной — еще более темной и мрачной стоял длинный, узкий обеденный стол с огромными канделябрами кованного железа на обоих концах, обставленный резными монастырскими стульями.

— Вилла Сангаллетти очень красивая, синьор, очень старая, — сказал мужчина. — Синьор Эшли — вот где он обычно сидел, когда солнце во дворе было слишком сильным для него. Это был его стул.

Он почти благоговейно показал на стул с высокой спинкой, стоявший у стола. Я, как замороженный, смотрел на него. Неужели все это было на самом деле? Я не мог представить себе Эмброза в этом доме, в этой комнате. Здесь невозможно ходить его походкой, невозможно свистеть, запросто разговаривать, бросать трость рядом с этим стулом, этим столом...

Муж и жена неторопливо, размеренно переходили от окна к окну, широко распахивая ставни. Снаружи был маленький дворик, нечто вроде окруженного арками четырехугольника, открытого небу, но недоступного солнцу. В центре дворика стоял фонтан с бронзовой скульптурой мальчика, держащего в руках раковину. За фонтаном на немощем кусочке земли росло раkitное дерево, крона которого давала густую тень. Золотые цветы давно завяли и облетели и теперь лежали на земле, пыльные, посеревшие. Мужчина шепнул женщине несколько слов; она пошла в угол дворика и повернула кран. Медленно, певуче вода тонкой струйкой полилась из раковины в руках бронзового мальчика и брызгами рассыпалась по поверхности небольшого бассейна.

— Синьор Эшли, — сказал мужчина, — он каждый день сидел здесь и смотрел на фонтан. Он любил смотреть на воду. Он сидел там, под деревом. Оно очень красивое весной. Графиня — она звала его из комнаты наверху.

Он показал на каменные колонны балюстрады. Женщина скрылась в доме и вскоре появилась на балконе, распахнув ставни. Из раковины продолжала струиться вода, неторопливыми каплями разбиваясь о дно маленького бассейна.

— Летом они всегда сидят здесь, — снова заговорил мужчина. — Синьор Эшли и графиня. Они едят здесь, слушают, как играет фонтан. Я, понимаете, прислуживаю. Выношу два подноса и ставлю их сюда, на этот стол.

Он показал рукой на каменный стол и два стула, которые так и остались стоять на своих местах.

— После обеда они пьют здесь tisana^{[note 2](#)}, — продолжал он, — день за днем, всегда одно и то же.

Он помолчал и потрогал рукой стул. Тоскливое чувство нахлынуло на меня.

В окруженном каменными стенами дворике стояла прохлада, почти могильный холод, но воздух был такой же спертый, как в комнатах — до того, как их открыли.

Я вспомнил, каким Эмброз был дома. Летом он ходил без куртки и в старой соломенной шляпе. Я увидел эту шляпу, надвинутую на глаза, увидел его самого — он стоял в лодке, закатав рукава, и показывал куда-то далеко в море. Я вспомнил, как он протягивал свои длинные руки и, когда я подплывал, втаскивал меня в лодку.

— Да, — сказал мужчина, словно разговаривая сам с собой, — синьор Эшли сидел здесь на стуле и смотрел на воду.

Женщина вернулась и, перейдя дворик, повернула ручку крана. Вода замерла. Бронзовый мальчик смотрел в пустую раковину. Ребенок, который до этого не сводил с фонтана округлившихся глаз, вдруг наклонился и ручонками стал собирать с каменного пола опавшие цветы раkitника и бросать их в бассейн. Женщина выбрала его, оттолкнула к стене и, взяв метлу, начала подметать двор. Она нарушила гнетущую тишину, и мужчина коснулся моей руки.

— Хотите посмотреть комнату, где синьор умер? — тихо спросил он.

Все с тем же ощущением нереальности происходящего я следом за ним поднялся по широкой лестнице на второй этаж виллы. Мы прошли через комнаты, где было еще меньше мебели, чем в нижних

покоях; одна из них, с окнами на север, на кипарисовую аллею, простотой и скудостью убранства напоминала монашескую келью. К стене была придвинута простая железная кровать. Рядом с ней стояли ширма, кувшин и таз для умывания. Над камином висел гобелен, в нише помещалась маленькая статуэтка коленапреклоненной Мадонны с молитвенно сложенными руками.

Я посмотрел на кровать; в изножье лежали одеяла из грубой шерсти, в изголовье — одна на другой две подушки без наволочек.

— Вы понимаете, — сказал мужчина приглушенным голосом, — конец был очень неожиданным. Он ослабел, да, очень ослабел от лихорадки, но еще за день до того хоть и с трудом, но спускался вниз посидеть у фонтана.

«Нет-нет, — сказала графиня, — вам станет хуже, вам нужен покой». Но он очень упрямый, он никак не хотел ее слушать. Врачи менялись, одни уходили, другие приходили. Синьор Райнальди — он тоже здесь — говорил, уговаривал, но он никогда не слушает, он кричит, он в буйстве, а потом замолкает, совсем как маленький ребенок. Жалко видеть сильного человека в таком состоянии.

Потом, рано утром, графиня — она приходит быстро в мою комнату и зовет меня. Я спал в доме, синьор. Ее лицо белое, как эта стена, и она говорит:

«Джузеппе, он умирает», и я иду за ней в его комнату, и вот он лежит на кровати, его глаза закрыты, и дышит он так тихо, не тяжело, вы понимаете, не как в настоящем сне. Мы посылаем за врачом, но синьор Эшли — он больше не просыпается, это была кома, сон смерти. Я сам вместе с графиней зажигаю свечи, и, когда были монахини, я пришел посмотреть на него. Буйство прошло, у него было мирное лицо. Как бы я хотел, чтобы вы видели его лицо, синьор!..

В глазах славного малого стояли слезы. Я отвернулся от него и снова посмотрел на пустую кровать. Странно, но я ничего не чувствовал. Оцепенение прошло, но я оставался холоден и безучастен.

— Что вы имели в виду, — спросил я, — говоря о его буйстве?

— Буйство, которое приходило с лихорадкой, — ответил мужчина. — Два-три раза я должен был не давать ему встать с кровати после приступов. А с буйством приходила слабость внутри, вот здесь. — Он прижал руки к животу.

— Он очень страдал от боли. А когда боль проходила, он делался вялым, тяжелым и мысли у него путались. Говорю вам, синьор, его было очень жалко.

Жалко видеть такого большого человека совсем беспомощным.

Я вышел из голой комнаты, как из пустого склепа. Я слышал, как мой провожатый снова закрывает ставни, затем дверь.

— Почему ничего не делали? — сказал я. — Врачи, разве они не могли облегчить боли? А миссис Эшли, неужели она спокойно дала ему умереть?

Мужчина, казалось, смутился.

— Простите, синьор? — сказал он.

— Что это была за болезнь? Как долго она продолжалась? — спросил я.

— Я ведь сказал вам, что в конце очень быстро, — ответил мужчина, — но до того было два или три приступа. И всю зиму синьор был нездоров, такой грустный, сам не свой. Совсем не то, что в прошлом году. Когда синьор первый раз приехал на виллу, он был счастливый, веселый.

Тем временем он распахнул еще несколько окон, и мы вышли на просторную террасу, украшенную статуями. В ее дальнем конце тянулась каменная балюстрада. Мы пересекли террасу и остановились у балюстрады, глядя на нижний сад, аккуратно подстриженный и симметричный. Из сада долетало благоухание роз и летнего жасмина, вдали высился фонтан, немного поодаль — еще один, широкие каменные ступени сада ярус за ярусом сбегали вниз, к высокой каменной стене, обсаженной кипарисами, которая окружала все имение.

Мы смотрели на запад; последние лучи заходящего солнца заливали террасу и притихший сад мягким сиянием. Даже статуи окрасились в ровный розовый цвет; я стоял, опершись руками на балюстраду, и мне казалось, что странная безмятежность, которой не было раньше, снизошла на сад, на виллу, на все вокруг.

Камни под моей рукой еще не остыли, из трещины выскочила ящерица и, извиваясь, скользнула вниз по стене под нашими ногами.

— Тихим вечером, — сказал мужчина, стоя в двух шагах у меня за спиной, словно желал таким образом выказать мне свое почтение, — здесь, в саду виллы Сангаллетти, очень красиво. Иногда

графиня приказывала пустить фонтаны и, когда быта полная луна, после обеда выходила с синьором Эшли на террасу. В прошлом году, до его болезни.

Я продолжал стоять, глядя на фонтаны внизу и на окружавшие их бассейны, в которых плавали водяные лилии.

— Я думаю, — медленно проговорил мужчина, — что графиня больше не вернется сюда. Слишком печально для нее. Слишком много воспоминаний. Синьор Райнальди сказал нам, что виллу сдадут внаем, а может, и продадут.

— А кто такой синьор Райнальди? — спросил я.

Мы пошли к вилле.

— Синьор Райнальди — он все устраивает для графини, — ответил итальянец. — Все, что связано с деньгами, делами, и всякое другое. Он давно знает графиню.

Он нахмурился и замахал на жену, которая с ребенком на руках шла по террасе. Их появление задело его, им было не место здесь. Женщина скрылась в доме и стала закрывать ставни.

— Я хочу видеть синьора Райнальди, — сказал я.

— Я дам вам его адрес, — ответил он. — Он очень хорошо говорит по-английски.

Мы вернулись на виллу, и, пока я шел через комнаты в вестибюль, ставни одна за другой закрывались у меня за спиной.

Я нащупал деньги в кармане, словно это был не я, а кто-то другой, скажем, досужий путешественник с континента, посетивший виллу из любопытства или чтобы купить ее. Не я, только что увидевший в первый и последний раз место, где жил и умер Эмброз.

— Благодарю вас за все, что вы сделали для мистера Эшли, — сказал я, кладя монету в ладонь итальянца.

В его глазах снова блеснули слезы.

— Мне так жаль, синьор, — сказал он. — Очень-очень жаль.

Закрыли последнюю ставню. Женщина с ребенком стояли в вестибюле рядом с нами; сводчатый проход в комнаты снова погрузился во тьму, словно вход в склеп.

— Что стало с его одеждой? — спросил я. — С его вещами, книгами, бумагами?

Мужчина встревожился, обернулся к жене и о чем-то спросил ее. Они торопливо обменялись несколькими фразами. Лицо женщины

сделалось непроницаемым, она пожала плечами.

— Синьор, — сказал мужчина, — моя жена немного помогала графине, когда она уезжала. И она говорит, что графиня забрала все. Всю одежду синьора Эшли сложила в большой ящик. Все его книги, все было упаковано.

Здесь ничего не осталось.

Я посмотрел им обоим в глаза. Они не вздрогнули, не отвели взгляд. Я понял, что они говорят правду — И вы совсем не знаете, куда отправилась миссис Эшли? — спросил я.

Мужчина покачал головой.

— Она покинула Флоренцию. Вот все, что нам известно, — сказал он. — На следующий день после похорон графиня уехала.

Он открыл тяжелую входную дверь и вышел наружу.

— Где его похоронили? — спросил я бесстрастно, будто говорил о комто постороннем.

— Во Флоренции, синьор. На новом протестантском кладбище. Там похоронено много англичан. Синьор Эшли — он не одинок.

Казалось, он хочет меня убедить, что в мрачном мире по ту сторону могилы у Эмброза будет своя компания и соотечественники утешат его.

Впервые за все это время я почувствовал, что не могу смотреть в глаза честному малому. Они были похожи на глаза собаки — честные, преданные.

Я отвернулся и тут же услышал, как женщина вдруг что-то крикнула мужу; не дав ему захлопнуть дверь, она метнулась обратно в вестибюль и открыла огромный дубовый сундук, стоявший у стены. Она вернулась, держа в руке какой-то предмет, передала его мужу, а он, в свою очередь, мне. Сморщенное лицо итальянца разгладилось от облегчения.

— Графиня — она забыла одну вещь. Возьмите, синьор, она годится только вам.

Это была широкополая шляпа Эмброза. Та, что он обычно носил дома от солнца. Она была очень велика и не подошла бы никому, кроме него. Я чувствовал на себе тревожные взгляды мужа и жены, которые ждали, что я скажу, но я стоял молча и почти бессознательно вертел шляпу в руках.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Не помню, как я возвращался во Флоренцию. Помню лишь, что солнце зашло и быстро стемнело. Сумерек, как у нас дома, не было. В канавах по обочинам дороги насекомые, может быть сверчки, завели свою монотонную трескотню; время от времени мимо проходили босые крестьяне с корзинами за спиной.

Когда мы въехали в город, прохлада и свежесть окрестных гор остались позади и на нас снова пахнуло жаром, но не дневным, обжигающим и пыльно-белым, а ровным, спертым вечерним жаром, накопившимся за многие часы в стенах и крышах домов. Апатия полудня и суэта часов между сиестой и закатом сменились более интенсивным, энергичным, напряженным оживлением. На площади и узкие улицы высыпали мужчины и женщины с другими лицами, словно они целый день спали или прятались в погруженных в безмолвие домах, а теперь покинули их, чтобы с кошачьей проворностью рыскать по городу. Покупатели осаждали освещенные факелами и свечами торговые ряды, лотки, нетерпеливо роясь в предлагаемых товарах. Женщины в шальях переговаривались, бранились, теснили друг друга; торговцы, чтобы их лучше расслышали, во весь голос выкрикивали названия своих товаров. Снова зазвонили колокола, и мне показалось, что теперь их призыв обращен и ко мне. Двери церквей были распахнуты, и я видел в них сияние свечей; группы горожан заволновались, рассеялись, и люди по призыву колоколов устремились внутрь.

Я расплатился с возницей на площади возле собора. Звон огромного колокола, властный, настойчивый, звучал вызовом в неподвижном, вязком воздухе. Почти бессознательно я вместе со всеми вошел в собор и остановился у колонны, напряженно вглядываясь в полумрак. Рядом со мной, опершись на костыль, стоял хромой старик крестьянин. Его единственный незрячий глаз был обращен к алтарю, губы слегка шевелились, руки тряслись, а вокруг коленопреклоненные загадочные женщины в шальях резкими голосами нараспев повторяли слова священника, перебирая четки узловатыми пальцами.

Со шляпой Эмброза в левой руке я стоял в огромном соборе, приниженный, подавленный его величием, чужой в этом городе холодной красоты и пролитой крови, и, видя священника, благоговейно склонившегося у алтаря, слыша, как губы его произносят торжественные, дошедшие из глубины веков слова, значения которых я не понимал, я вдруг неожиданно остро осознал всю глубину постигшей меня утраты. Эмброс умер. Я больше никогда его не увижу. Он ушел навсегда.

Из моей жизни навсегда ушла его улыбка, его приглушенный смех, его руки на моих плечах. Ушла его сила, его чуткость. Ушел с детства знакомый человек, почитаемый и любимый; и я никогда не увижу, как он, ссутулясь, сидит на стуле в библиотеке или стоит, опершись на трость, и любуется морем. Я подумал о пустой комнате на вилле Сангаллетти, в которой он умер, о Мадонне в нише; и что-то говорило мне, что, уйдя, он не стал частью этой комнаты, этого дома, этой страны, но дух его возвратился в родные края, чтобы слиться с дорогими ему холмами, лесом, садом, который он так любил, с шумом моря.

Я развернулся, вышел из собора на площадь и, глядя на огромный купол и стройную башню, силуэт которой четко вырисовывался на фоне вечернего неба, вспомнил, что весь день ничего не ел. Память резко, как бывает после сильных потрясений, вернула меня к действительности. Я обратил мысли с мертвого на живого, отыскал вблизи собора место, где можно было подкрепиться, и, утолив голод, отправился на поиски синьора Райнальди. Добряк слуга с виллы записал мне его адрес; я пару раз обратился к прохожим, показывая им записку и с трудом выговаривая итальянские слова, и наконец нашел нужный мне дом на левом берегу Арно, за мостом, рядом с моей гостиницей. По ту сторону реки было темнее и гораздо тише, чем в центре Флоренции. На улицах попадались редкие прохожие. Двери и ставни на окнах были закрыты. Мои шаги глухо звучали по бульжной мостовой.

Наконец я дошел до дома Райнальди и позвонил. Слуга сразу открыл дверь и, не спросив моего имени, повел меня вверх по лестнице, затем по коридору и, постучав в дверь, пропустил в комнату. Щурясь от внезапного света, я остановился и увидел за столом

человека, разбиравшего кипу бумаг. Когда я вошел, он встал и пристально посмотрел на меня.

Это был человек лет сорока, чуть ниже меня ростом, с бледным, почти бесцветным лицом и орлиным носом. Что-то гордое, надменное было в его облике — в облике человека, безжалостного к плупцам и врагам.

— Синьор Райнальди? — спросил я. — Меня зовут Эшли. Филипп Эшли.

— Да, — ответил он. — Не угодно ли сесть?

Речь его звучала холодно, жестко и почти без акцента. Он подвинул мне стул.

— Вы, конечно, не ожидали увидеть меня? — сказал я, внимательно наблюдая за ним. — Вы не знали, что я во Флоренции?

— Нет, — ответил он. — Нет, я не знал, что вы здесь. — Он явно подбирал слова, однако не исключено, что осторожность в разговоре объяснялась недостаточным знанием английского.

— Вы знаете, кто я?

— Что касается степени родства, то, думаю, я не ошибся, — сказал он.

— Вы кузен, не так ли, или племянник покойного Эмброза Эшли?

— Кузен, — сказал я, — и наследник.

Он держал в пальцах перо и постукивал им по столу, не то желая выиграть время, не то по рассеянности.

— Я был на вилле Сангаллетти, — сказал я. — Видел комнату, где он умер. Слуга Джузеппе был очень услужлив. Он обо всем подробно рассказал мне и тем не менее направил к вам.

Мне только почудилось или действительно на его темные глаза набежала тень?

— Как давно вы во Флоренции? — спросил он.

— Несколько часов. С полудня.

— Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рейчел вас не видела?

Пальцы, державшие перо, разжались.

— Нет, — сказал я, — из слов слуги я понял, что она покинула Флоренцию на следующий же день после похорон.

— Она покинула виллу Сангаллетти, — сказал он, — Флоренцию она не покидала.

— Она еще здесь, в городе?

— Нет, — ответил он, — нет, она уехала. Она хочет, чтобы я сдал виллу внаем. Возможно, чтобы продал.

— Вам известно, где она сейчас? — спросил я.

— Боюсь, что нет, — ответил он. — Она уехала неожиданно, она не строила никаких планов. Сказала, что напишет, когда придет к какому-нибудь решению относительно будущего.

— Может быть, она у друзей? — предположил я.

— Может быть, — сказал он. — Хотя не думаю.

У меня было чувство, что не далее как сегодня или вчера она была с ним в этой комнате и он знает гораздо больше, чем говорит.

— Вы, конечно, понимаете, синьор Райнальди, — сказал я, — что внезапное известие о смерти брата, услышанное из уст слуги, потрясло меня.

Это было похоже на кошмар. Что произошло? Почему мне не сообщили, что он болен?

Он внимательно смотрел на меня, он не сводил с меня глаз.

— Смерть вашего кузена тоже была внезапной, — сказал он, — мы все были потрясены. Он был болен, да, но мы не думали, что настолько серьезно.

Обычная лихорадка, которой здесь подвержены многие иностранцы, вызвала определенную слабость; к тому же он жаловался на сильнейшую головную боль.

Графиня — мне следовало сказать «миссис Эшли» — была очень обеспокоена, но он — пациент не из легких. По каким-то неведомым причинам он сразу невзлюбил наших врачей. Каждый день миссис Эшли надеялась на улучшение, и, разумеется, у нее не было ни малейшего желания беспокоить ни вас, ни его друзей в Англии.

— Но мы беспокоились, — сказал я. — Поэтому я и приехал во Флоренцию. Я получил от него вот эти письма.

Возможно, я поступил безрассудно, опрометчиво, но мне было все равно. Я протянул через стол два последних письма Эмброза. Он внимательно прочел их.

Выражение его лица изменилось. Затем он вернул их мне.

— Да, — сказал он спокойным, без тени удивления голосом, — миссис Эшли опасалась, что он может написать нечто в этом роде. Только в последние недели болезни, когда у него начали проявляться

известные странности, врачи стали опасаться худшего и предупредили ее.

— Предупредили ее? — спросил я. — О чем же ее предупредили?

— О том, что на его мозг может что-то давить, — ответил он. — Опухоль или нарост, быстро увеличивающийся в размере, чем и объясняется его состояние.

Меня охватило чувство полной растерянности. Опухоль? Значит, крестный все-таки не ошибся в своем предположении. Сперва дядя Филипп, потом Эмброз... И все же... Почему этот итальянец так следит за моими глазами?

— Врачи сказали, что именно опухоль убила его?

— Бесспорно, — ответил он. — Опухоль и слабость после перенесенной лихорадки. Его пользовали два врача. Мой личный врач и еще один. Я могу послать за ними, и вы можете задать им любой вопрос, какой сочтете нужным.

Один из них немного знает по-английски.

— Нет, — медленно проговорил я. — В этом нет необходимости.

Он выдвинул ящик стола и вынул лист бумаги.

— Вот свидетельство о смерти, — сказал он, — подписанное ими обоими.

Прочтите. Одну копию уже послали в Корнуолл вам, другую — душеприказчику вашего кузена, мистеру Николасу Кендаллу, проживающему близ Лостуитиела в Корнуолле.

Я опустил глаза на документ, но не дал себе труда прочесть его.

— Откуда вам известно, — спросил я, — что Николас Кендалл — душеприказчик моего брата?

— Ваш кузен Эмброз имел при себе копию завещания, — ответил синьор Райнальди. — Я читал его много раз.

— Вы читали завещание моего брата? — недоверчиво спросил я.

— Естественно, — ответил он. — Как доверенное лицо в делах графини, в делах миссис Эшли, я должен был ознакомиться с завещанием ее мужа. Здесь нет ничего странного. Ваш кузен сам показал мне завещание вскоре после того, как они поженились. Более того, у меня есть копия. Но в мои обязанности не входит показывать ее вам. Это обязанность мистера Кендалла, вашего опекуна.

Без сомнения, он исполнит это по вашему возвращении домой.

Он знал, что Ник Кендалл не только мой крестный, но и опекун, чего я и сам не знал. Если только он не ошибся. Конечно же, после двадцати одного года опекунов ни у кого нет, а мне было двадцать четыре. Впрочем, не важно.

Эмброз и его болезнь, Эмброз и его смерть — остальное не имеет значения.

— Эти два письма, — упрямо сказал я, — не письма больного человека.

Это письма человека, у которого есть враги, человека, окруженного людьми, которым он не доверяет.

Синьор Райнальди снова пристально посмотрел на меня.

— Это письма человека, страдающего заболеванием мозга, мистер Эшли, — — сказал он. — Извините меня за резкость, но я видел его в последние недели, а вы нет. Никто из нас не испытал особого удовольствия, и менее всех — его жена. Видите, в первом из ваших писем он пишет, что она ни на минуту не оставляет его. Я могу поручиться, что так и было. Она не отходила от него ни днем, ни ночью. Любая другая женщина пригласила бы монахинь присматривать за ним.

— Тем не менее ему это не помогло, — сказал я. — Загляните в письмо, посмотрите на последнюю строчку. «Она все же доконала меня, Рейчел, мука моя». Как вы объясните это, синьор Райнальди?

Наверное, от волнения я повысил голос. Он поднялся со стула и дернул сонетку. Появился слуга. Он отдал ему какое-то распоряжение, и тот вскоре вернулся с вином, водой и стаканом.

— Так что же? — спросил я.

Он не сел за стол, а подошел к стене, заставленной книгами, и снял с полки какой-то том.

— Вам не приходилось изучать историю медицины, мистер Эшли? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Здесь вы найдете, — сказал он, — интересующую вас информацию; кроме того, вы можете обратиться за ней к врачам, адреса которых я вам с удовольствием предоставлю. Существует особое заболевание мозга, проявляющееся, как правило, в виде опухоли или новообразования, в результате чего заболевшего начинают преследовать галлюцинации. Например, ему кажется, что за

ним следят. Что самый близкий человек, такой, как жена, либо злоумышляет против него, либо неверен, либо стремится завладеть его деньгами. Ни любовь, ни уговоры не могут успокоить подозрительность больного. Если вы не верите ни мне, ни нашим врачам, спросите своих соотечественников или прочитайте вот эту книгу.

Как правдоподобно, как холодно, как убедительно звучали его слова!.. Я представил себе, как Эмброз лежит на железной кровати на вилле Сангаллетти, измученный, растерянный, а этот человек наблюдает за ним, методично анализирует симптомы болезни, возможно, подглядывает из-за ширмы... Я не знал, прав Райнальди или нет, но я твердо знал, что ненавижу его.

— Почему она не послала за мной? — спросил я. — Если Эмброз перестал верить ей, почему она не послала за мной? Я лучше знал его.

Райнальди с шумом захлопнул книгу и поставил ее на полку.

— Вы очень молоды, не так ли, мистер Эшли? — сказал он.

Я уставился на него. Я не понимал, что он имеет в виду.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Эмоциональные женщины нелегко сдаются. Называйте это гордостью, упорством, как угодно. Несмотря на многие доказательства обратного, их эмоции гораздо примитивнее наших. Они всеми силами держатся за свое и никогда не отступают. У нас есть войны и битвы. Но женщины тоже могут сражаться.

Он посмотрел на меня своими холодными, глубоко посаженными глазами, и я понял, что мне больше нечего сказать ему.

— Если бы я был здесь, — сказал я, — он бы не умер.

Я встал со стула и пошел к двери. Райнальди снова позвонил, и в комнату вошел слуга, чтобы проводить меня.

— Я написал вашему крестному, мистеру Кендаллу, — сказал Райнальди.

— Я очень подробно, в мельчайших деталях объяснил ему все случившееся. Могу ли я еще чем-нибудь быть вам полезен? Вы намерены задержаться во Флоренции?

— Нет, — сказал я, — к чему? Меня здесь ничто не держит.

— Если вы желаете увидеть могилу, — сказал он, — я дам вам записку к смотрителю протестантского кладбища. Место довольно

скромное, без излишеств; камня, разумеется, еще нет. Его поставят в ближайшее время.

Он повернулся к столу, набросал записку и дал ее мне.

— Что будет написано на камне? — спросил я.

Он на мгновение задумался; тем временем слуга, стоя у открытой двери, протянул мне шляпу Эмброза.

— Если не ошибаюсь, — наконец сказал Райнальди, — мне поручено заказать следующую надпись: «Памяти Эмброза Эшли, возлюбленного мужа Рейчел Корин Эшли». Далее, разумеется, годы жизни.

Я уже тогда знал, что не хочу идти на кладбище и видеть могилу. Не хочу видеть место, где они похоронили Эмброза. Пусть ставят надгробный камень и приносят к нему цветы, если хотят; Эмброзу все равно, он никогда об этом не узнает. Он будет со мной в далекой западной стране, в своей родной земле.

— Когда миссис Эшли вернется, — медленно проговорил я, — скажите ей, что я приезжал во Флоренцию, что был на вилле Сангаллетти и видел, где умер Эмброс. Также можете сказать ей о письмах, которые Эмброс писал мне.

Он протянул мне руку, холодную, жесткую, как он сам.

— Ваша кухня Рейчел — женщина импульсивная, — сказал он. — Уезжая из Флоренции, она забрала все свое имущество. Я очень боюсь, что она никогда не вернется.

Я вышел из дома и побрел по темной улице. Мне казалось, что глаза Рейчел следят за мной из-за закрытых ставен. Я возвращался мощенными булыжником улицами, перешел через мост, но, прежде чем свернуть к гостинице и, если удастся, поспать до утра, снова остановился у Арно.

Город спал. Один я слонялся без дела. Даже колокола молчали. И только река, струясь под мостом, нарушала полную тишину. Казалось, она течет быстрее, чем днем, словно вода, смирившаяся со своим пленом в дневные часы жары и солнца, теперь, в ночи и безмолвии, обрела свободу.

Я не отрываясь смотрел вниз на реку, наблюдал, как она течет, дышит и теряется во тьме. В слабом, мигающем свете фонаря были видны пенисто-бурые пузыри, то здесь, то там возникающие на воде. И вдруг поток вынес окоченелый собачий труп. Медленно

поворачиваясь, со всеми четырьмя лапами, поднятыми в воздух, он проплыл под мостом и скрылся.

И там, на берегу Арно, я дал себе обет.

Я поклялся, что за всю боль и страдания Эмброза перед смертью я сполна воздам женщине, которая была их виновницей. Я не верил истории Райнальди. Я верил в правдивость двух писем, которые держал в правой руке. Последних, что написал мне Эмброс.

Когда-нибудь я так или иначе рассчитаюсь с моей кузиной Рейчел.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я вернулся домой в начале сентября. Печальная весть опередила меня: итальянец не лгал, когда говорил, что написал Нику Кендаллу. Мой крестный сообщил ее слугам и арендаторам. В Бодмине меня встретил Веллингтон с экипажем. На лошадях были траурные ленты. На Веллингтоне и груме — тоже, и лица у обоих были вытянутые, серьезные.

Вновь ступив на родную землю, я испытал такое облегчение, что горе ненадолго утихло, а может, долгий обратный путь через всю Европу притупил мои чувства. Помню, как при виде Веллингтона и мальчика-грума мне захотелось улыбнуться, погладить лошадей и спросить, все ли в порядке, словно я был школьником, приехавшим на каникулы. Однако Веллингтон держался строго и даже церемонно, чего прежде за ним не водилось, а молодой грум открыл мне дверцу с подчеркнутой почтительностью.

— Грустное возвращение, мистер Филипп, — сказал Веллингтон. Когда я спросил его о Сикоме и об остальных, он покачал головой и ответил, что слуги и арендаторы в глубоком горе. — С тех пор как до нас дошла эта новость, — сказал он, — соседи ни о чем другом не говорят. Все воскресенье и церковь, и часовня в поместье были увешаны черным, но самым большим ударом стало, — продолжал Веллингтон, — когда мистер Кендалл сообщил, что их господина похоронили в Италии, что его не привезут домой и не положат в семейном склепе. Неладно это, мистер Филипп. Все мы так считаем. Думаем, оно бы и мистеру Эшли не понравилось.

Ответить мне было нечего. Я сел в экипаж, и мы покатали домой.

Как ни странно, но, стоило мне увидеть наш дом, волнения и усталость последних недель сразу исчезли. Нервное напряжение прошло; несмотря на долгую дорогу, я чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным. Экипаж въехал во вторые ворота и, поднявшись по склону, приближался к дому. Был полдень, и солнце заливало окна и серые стены западного крыла здания. Собакам не терпелось броситься мне навстречу. Старик Сиком, с траурной повязкой на рукаве, как у

всех слуг, не выдержал и, чуть не плача, заговорил, когда я сжал его руку:

— И долго же вас не было, мистер Филипп, ох и долго же! А нам каково?

Почем знать, не заболели ли и вы лихорадкой, как мистер Эшли!

Сиком прислуживал мне за обедом, заботливый, внимательный, стараясь предупредить мои малейшие желания, и я был благодарен ему за то, что он не пристаёт ко мне с расспросами о моем путешествии, о болезни и смерти хозяина, а сам рассказывает, какое впечатление произвела смерть Эмброза на него и на всех домашних: как весь день звонили колокола, что говорил в церкви викарий, как в знак соблезнования приносили венки. Его рассказ перемежался новым, почтительно-официальным обращением ко мне. «Мастера Филиппа» сменил «мистер Филипп». Я успел заметить такую же перемену в обращении ко мне кучера и грума. Она была неожиданной и тем не менее странно согревала сердце. Пообедав, я поднялся к себе в комнату, окинул ее взглядом, затем спустился в библиотеку и вышел из дома. Меня переполняло давно забытое ощущение счастья, которого, как я думал, после смерти Эмброза мне уже не испытать, — я уезжал из Флоренции ввергнутый в бездну одиночества и ни на что не надеялся. На дорогах Италии и Франции меня преследовали видения и образы, и я был не в силах отогнать их. Я видел, как Эмброс сидит в тенистом дворике виллы Сангаллетти под раkitником и смотрит на плачущий фонтан. Я видел его в голой монашеской келье второго этажа, задыхающегося, с двумя подушками за спиной. И рядом, все слыша, все замечая, всегда как тень присутствовала ненавистная, лишенная четких очертаний фигура женщины. У нее было множество лиц, множество обличей; да и то, что слуга Джузеппе и Райнальди предпочитали именовать ее графиней, а не миссис Эшли, окружало ее некой аурой, которой не было, когда я представлял ее второй миссис Паско.

После моей поездки на виллу женщина эта стала исчадием ада. У нее были темные, как дикие сливы, глаза, орлиный профиль, как у Райнальди; позмеиному плавно и бесшумно двигалась она в затхлых комнатах виллы. Я видел, как она, едва от Эмброза отлетело последнее дыхание жизни, складывает его одежду в ящики, тянется к его книгам, последнему, что у него осталось, и наконец, поджав губы,

уползает в Рим, или в Неаполь, или, притаившись в доме на берегу Арно, улыбается за глухими ставнями. Эти образы преследовали меня, пока я не переплыл море и не высадился в Дувре. Но теперь, теперь, когда я вернулся домой, они рассеялись, как рассеивается кошмарный сон с первыми лучами дня. Острота горя прошла. Эмброз вновь был со мной, его мучения кончились, он больше не страдал, словно он вовсе не уезжал во Флоренцию, не уезжал в Италию, а умер здесь, в собственном доме, и похоронен рядом со своими отцом и матерью, рядом с моими родителями. Мне казалось, что теперь я сумею справиться с горем; со мною жила печаль, но не трагедия. Я тоже вернулся на землю, взрастившую меня, и вновь дышал воздухом родных мест.

Я шел через поля. Крестьяне, убиравшие урожай, поднимали на телеги копны пшеницы. Увидев меня, они прервали работу, и я остановился поговорить с ними. Старик Билли Роу, который, сколько я его знал, всегда был арендатором Бартонских земель и никогда не называл меня иначе как «мастер Филипп», поднес руку ко лбу, а его жена и дочь, помогавшие мужчинам, присели в реверансе.

— Нам вас очень не хватало, сэр, — сказал Билли. — Нам казалось, что без вас негоже свозить хлеб с полей. Мы рады, что вы снова дома.

Год назад я, как простой работник, закатал бы рукава и взялся за вилы, но теперь что-то остановило меня — я понимал, что они сочтут такое поведение неприличным.

— Я рад, что снова дома, — сказал я. — Смерть мистера Эшли — огромное горе и для меня, и для вас, но надо держаться и работать, чтобы не обмануть его ожиданий и веры в нас.

— Да, сэр, — сказал Билли и снова поднес руку ко лбу.

Поговорив с ними еще немного, я кликнул собак и пошел дальше. Старик ждал, пока я не скрылся за живой изгородью, и лишь тогда велел работникам снова взяться за дело. Дойдя да выгона на полпути между домом и нижними полями, я остановился и оплянул поверх покосившейся ограды. На вершине холма четко вырисовывались силуэты телег, и на фоне неба темными точками выделялись очертания застывших в ожидании лошадей. В последних лучах солнца снопы пшеницы отпивали золотом. Темно-синее, а у скал почти фиолетовое море казалось бездонным, как всегда в часы прилива. В

восточной части бухты стояла целая флотилия рыбацких лодок, готовая выйти в море при первых порывах берегового бриза.

Когда я вернулся, дом был погружен в тень и только на флюгере над шпилем часовой башни дрожала слабая полоска света. Я медленно шел через лужайку к открытой двери. Сиком еще не посылал закрыть ставни, и окна дома смотрели в сгущающийся мрак. Было что-то теплое и приветное в этих поднятых оконных рамах, в слегка кольшущихся занавесях и в мысли о комнатах за окнами, таких знакомых и любимых. Из труб прямыми тонкими струйками поднимался дым. Дон, старый ретривер, слишком древний и немощный, чтобы с более молодыми собаками сопровождать меня, почесывался, лежа на песке под окнами библиотеки, а когда я подошел ближе, повернул голову и завилял хвостом.

Впервые с тех пор, как я узнал о смерти Эмброза, я с поразительной остротой и силой осознал: все, что я сейчас вижу, все, на что смотрю, принадлежит мне. Всецело, безраздельно. Эти окна и стены, эта крыша, этот колокол, пробивший семь раз при моем приближении, все живое в доме — мое, и только мое. Трава под моими ногами, деревья вокруг меня, холмы у меня за спиной, луга, леса, даже мужчины и женщины, возделывающие землю, — часть моего наследства; все это мое.

Я переступил порог дома, прошел в библиотеку и остановился спиной к камину, держа руки в карманах. Собаки, по своему обыкновению, последовали за мной и легли у моих ног. Вошел Сиком и спросил, не будет ли распоряжений для Веллингтона на утро. Не желаю ли я, чтобы подали экипаж или оседлали Цыганку?

— Нет, — ответил я. — Сегодня я не буду отдавать никаких распоряжений, а завтра утром сам увижусь с Веллингтоном.

Я велел разбудить меня как обычно.

— Да, сэр, — ответил Сиком и вышел.

Мастер Филипп уехал навсегда. Домой вернулся мистер Эшли. Такая перемена вызывала во мне смешанные чувства: с одной стороны — робость, с другой — какую-то особую гордость. Я ощутил незнакомую прежде уверенность, силу, душевный подъем. Мне казалось, будто я переживаю то же, что солдат, которому поручили командовать батальоном; ко мне пришло то же чувство собственности, та же гордость, наконец, то же ощущение свободы, какое приходит к

старшему офицеру, в течение многих лет занимавшему не соответствующую его званию должность. Но, в отличие от солдата, я никогда не сложу с себя командования. Оно мое пожизненно. Думаю, что тогда, стоя у камина в библиотеке, я пережил мгновение счастья, какого у меня никогда не было и больше не будет. Как все подобные мгновения, оно настало внезапно и также внезапно пронеслось. Какой-то обыденный звук вернул меня к действительности: то ли шевельнулась собака, то ли выпал из камина уголек, или слуга закрыл наверху окна — не помню, что это было.

На следующий день приехал мой крестный, Ник Кендалл, с Луизой. Близких родственников у меня не было, поэтому за исключением того, что Эмброс отказал Сикому и другим слугам, да обычных пожертвований беднякам прихода, вдовам и сиротам, все движимое и недвижимое имущество было оставлено мне.

Ник Кендалл в библиотеке прочел мне завещание. Луиза вышла в сад. Несмотря на юридическую терминологию, документ оказался простым и понятным. За исключением одного пункта. Итальянец Райнальди был прав. Ник Кендалл действительно становился моим опекуном, так как имение реально переходило в мою собственность только по достижении мною двадцатипятилетнего возраста.

— Эмброс считал, — сказал крестный, — что молодой человек до двадцати пяти лет сам толком не знает, чего хочет. В тебе могла проявиться слабость к вину, картам или женщинам, и статья, обуславливающая возраст вступления в наследство, — не более чем мера предосторожности. Я помогал ему составить завещание, когда ты еще был в Харроу, и, хотя мы не замечали в тебе дурных склонностей, Эмброс счел за благо включить этот пункт. «Для Филиппа тут нет ничего обидного, — сказал он, — но это научит его осторожности». Впрочем, что есть, то есть, и ничего не поделаешь.

Практически это тебя ничуть не ущемляет, за исключением того, что тебе еще семь месяцев придется обращаться ко мне за деньгами для платежей, по имению и на личные расходы. Ведь твой день рождения в апреле, так?

— Пора бы и запомнить, — сказал я. — Вы же мой крестный отец.

— Ну и забавный ты был червячок! — Он улыбнулся. — Так и уставился любопытными глазенками на пастора... Эмброс только что

вернулся из Оксфорда.

Он схватил тебя за нос, чтобы ты заплакал, чем привел в ужас свою тетюшку — твою мать. Потом вызвал твоего бедного отца помериться силами в гребле; они промокли до нитки, пока доплыли до Лостуитиела. Ты когда-нибудь чувствовал себя сиротой, Филипп? Тебе, наверное, нелегко было расти без матери.

— Не знаю, — ответил я. — Я никогда не задумывался об этом. Мне никто не был нужен, кроме Эмброза.

— И все же это не правильно, — возразил крестный. — Я не раз говорил с Эмброзом, но он не слушал меня. В доме нужна была экономка, дальняя родственница, хоть кто-нибудь. Ты вырос, совершенно не зная женщин, и, когда женишься, твоей жене придется нелегко. Не далее как сегодня за завтраком я говорил об этом Луизе.

Крестный осекся. Мне показалось, что ему стало неловко, словно он сказал лишнее, — если только такой человек, как он, вообще способен испытывать неловкость.

— Не беспокойтесь, — сказал я, — когда придет время, моя жена справится. Если такое время вообще придет, в чем я весьма сомневаюсь. Я слишком похож на Эмброза и знаю, к чему привела его женитьба.

Крестный молчал. Я рассказал ему о визите на виллу и о встрече с Райнальди, а он, в свою очередь, показал мне письмо, присланное ему итальянцем. Как я и ожидал, там в холодных высокопарных выражениях излагалась его версия болезни и смерти Эмброза, высказывались сожаления по поводу этой кончины, описывались потрясение и горе безутешной, по мнению Райнальди, вдовы.

— Настолько безутешной, — сказал я, — что на следующий день после похорон она уезжает, как вор, забрав все вещи Эмброза, кроме старой шляпы, о которой забыла. Разумеется, только потому, что шляпа рваная и ничего не стоит.

Крестный кашлянул. Его густые брови нахмурились.

— Конечно, — сказал он, — ты не настолько скуп, чтобы попрекать ее тем, что она оставила себе его книги и одежду. Полно, Филипп, это все, что у нее есть.

— Как это, — спросил я, — «все, что у нее есть»?

— Я прочел тебе завещание, — ответил он. — Вот оно, перед тобой. То самое завещание, которое я составил десять лет назад.

Видишь ли, в нем нет дополнений в связи с женитьбой Эмброза. Не указана доля наследства, причитающаяся его жене. Весь прошлый год я, откровенно говоря, ждал, что он сообщит мне, по меньшей мере, условия брачного контракта. Так всегда поступают. Полагаю, досадное пренебрежение столь важными вещами объясняется его пребыванием за границей, к тому же он не оставлял надежды вернуться.

Затем болезнь положила конец всему. Я несколько удивлен, что этот итальянец, синьор Райнальди, которого ты, кажется, весьма недолюбливаешь, ни словом не обмолвился о притязаниях миссис Эшли на долю наследства. Это говорит о его крайней деликатности.

— Притязания? — переспросил я. — Боже мой, вы говорите о каких-то притязаниях, когда нам прекрасно известно, что она свела его в могилу!

— Нам не известно ничего подобного, — возразил крестный, — а если ты намерен и дальше говорить в таком тоне о вдове своего брата, я не стану тебя слушать.

Он поднялся со стула и стал собирать бумаги.

— Значит, вы верите в эту сказку про опухоль? — спросил я.

— Естественно, верю, — ответил он. — Вот письмо Райнальди и свидетельство о смерти, подписанное двумя врачами. Я помню смерть твоего дяди Филиппа, а ты нет. Симптомы очень похожи. Именно этого я и боялся, когда от Эмброза пришло письмо и ты уехал во Флоренцию. Плохо, что ты прибыл слишком поздно и твоя помощь уже не понадобилась. Но ничего не поделаешь.

Однако, если подумать, то, возможно, это вовсе и не плохо. Вряд ли ты хотел бы видеть, как он страдает.

Старый плуец! Я едва не ударил его за упрямство и слепоту.

— Вы не видели второго письма, — сказал я, — записки, которая пришла в утро моего отъезда. Взгляните.

Записка, которую я всегда держал в нагрудном кармане, была при мне. Я подал записку крестному. Он снова надел очки и прочел ее.

— Мне очень жаль, Филипп, — сказал он, — но даже эти каракули не могут изменить моего мнения. Надо смотреть правде в глаза. Ты любил брата. Я — друга. Мне тоже больно думать о его душевных страданиях, если даже не больнее, потому что я видел, как страдал другой. Твоя беда в том, что человек, которого мы знали, любили, которым восхищались, перед смертью утратил свой

истинный облик. Он был болен душевно и физически и не отвечал за то, что писал или говорил.

— Я этому не верю, — сказал я. — Не могу верить.

— Ты не хочешь верить, — возразил крестный. — А раз так, то и говорить больше не о чем. Но ради Эмброза, ради всех в имении и в графстве, кто знал и любил его, я должен просить тебя ни с кем не делиться этими мыслями. Ты только огорчишь их, причинишь им боль; а если хоть малейшие толки дойдут до вдовы, где бы она ни была, ты унизишь себя в ее глазах и она с полным правом сможет подать на тебя в суд за клевету. Если бы я был ее поверенным, каковым, похоже, является этот итальянец, я, конечно, так бы и поступил.

Я никогда не слышал, чтобы крестный говорил так резко. Он был прав, продолжать разговор не имело смысла. Я получил урок и впредь не буду затрагивать эту тему.

— Не позвать ли нам Луизу? — подчеркнуто холодно спросил я. — По-моему, хватит ей бродить по саду. Оставайтесь и пообедайте со мною.

За обедом крестный хранил молчание. Я видел, что он еще не опомнился от всего сказанного мною. Луиза расспрашивала меня о путешествии, о том, что я думаю о Париже, о французских селениях и городах, об Альпах, о самой Франции, и мои ответы, часто невпопад, заполняли паузы в разговоре. Однако Луиза была сообразительна и чуяла что-то неладное. После обеда крестный позвал Сикома и слуг объявить, что им оставил покойный, а мы с Луизой ушли в гостиную.

— Крестный мною недоволен, — начал я и все рассказал Луизе.

Слегка склонив голову набок и приподняв подбородок, Луиза разглядывала меня со своим всегдашним ироническим любопытством, к которому я давно привык.

— Знаешь, — сказала она, выслушав меня, — я думаю, что ты, пожалуй, прав. Боюсь, бедный мистер Эшли и его жена не были счастливы, а он был слишком горд, чтобы писать тебе об этом, пока не заболел, и тогда, наверное, они поссорились, и все произошло сразу, и он написал тебе письмо. Что говорили о ней слуги? Она молодая? Она старая?

— Я не спрашивал, — ответил я. — По-моему, это не важно. Важно только то, что перед смертью он не доверял ей.

Луиза кивнула.

— Ужасно, — согласилась она. — Наверное, ему было очень одиноко.

В моем сердце проснулась нежность к Луизе. Возможно, благодаря своей молодости — мы были почти ровесниками — Луиза оказалась проницательнее отца. Крестный стареет, думал я про себя, и здравый смысл начинает изменять ему.

— Тебе нужно было спросить этого итальянца Райнальди, как она выглядит, — продолжала Луиза. — Я бы спросила. Это был бы мой первый вопрос. И что случилось с графом, ее первым мужем. По моему, ты как-то говорил мне, что его убили на дуэли? Вот видишь, это тоже не в ее пользу.

Наверное, у нее были любовники.

Мне никогда не приходило в голову взглянуть на мою кузину Рейчел с этой точки зрения. Она всегда представлялась мне воплощением злобы, только злобы, чем-то вроде паука. При всей моей ненависти к этой женщине я не мог сдерживать улыбку.

— Все девушки таковы, — сказал я Луизе. — Им повсюду видятся любовники. Кинжалы в темных коридорах. Потайные лестницы. Мне надо было взять тебя с собой во Флоренцию. Ты бы узнала гораздо больше, чем я.

Она густо покраснела. До чего же странные существа девушки, подумал я.

Даже Луиза, зная меня всю жизнь, не поняла шутки.

— Во всяком случае, — сказал я, — сотня у нее любовников или ни одного — меня это не касается. Пусть себе пока прячется в Риме, Неаполе или где-нибудь еще. Со временем я разыщу ее, и она пожалеет об этом.

Тут в гостиную вошел крестный, и я больше ничего не сказал. Его настроение как будто улучшилось. Несомненно, Сиком, Веллингтон и остальные выразили благодарность за отказанное им небольшое наследство, и крестный милостиво разделил ее с завещателем.

— Поскорее приезжай в гости, — сказал я Луизе. — Ты хорошо на меня действуешь. Мне приятно твоё общество.

И она, глупая девочка, опять покраснела и подняла глаза на отца, чтобы посмотреть, как тот воспринимает эти слова, будто мы не ездили без конца взад и вперед в гости друг к другу. Кажется, мое

новое положение на Луизу тоже произвело впечатление, и не успею я глазом моргнуть, как и для нее стану «мистером Эшли» вместо «Филиппа». Я вернулся в дом, улыбаясь при мысли, что Луиза Кендалл, которую всего несколько лет назад я частенько дергал за волосы, почтительно взирает на меня, но уже через минуту забыл и о ней, и о крестном — за два месяца отсутствия у меня накопилось немало дел по хозяйству.

Занятый уборкой пшеницы и прочими заботами, которые теперь лежали на мне, я рассчитывал снова увидеться с крестным не раньше чем недели через две. Но не прошло и недели, как однажды после полудня прискакал его грум и на словах передал мне просьбу своего хозяина навестить его; сам он не может приехать, поскольку из-за легкой простуды не выходит из дома, но у него есть новости для меня.

Я подумал, что крестный подождет — в тот день мы свозили с полей последнюю пшеницу, — и отправился к нему на следующее утро.

Я застал его в кабинете. Он был один. Луиза куда-то уехала. У него был озабоченный и смущенный вид. Я сразу заметил, что он взволнован.

— Ну, — сказал крестный, — теперь надо что-то делать. Тебе решать, что и как. Она прибыла в Плимут пакетботом.

— Кто прибыл? — спросил я. Но, кажется, уже знал ответ.

Он показал мне лист бумаги:

— Вот письмо от твоей кузины Рейчел.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Крестный отдал мне письмо. Не разворачивая бумаги, я взглянул на почерк. Не знаю, что я ожидал увидеть. Возможно, что-нибудь четкое, с завитками и росчерками, или, напротив, неразборчивое и убогое. Но это был почерк как почерк, похожий на многие другие, только окончания слов, будто истаивая, переходили в пунктир, отчего расшифровать слова было непросто.

— Очевидно, она не знает, что нам все известно, — сказал крестный. — Должно быть, уехала из Флоренции, прежде чем синьор Райнальди написал мне.

Ну, посмотрим, что ты теперь скажешь. Свое мнение я выскажу позже.

Я развернул письмо. Оно было отправлено из Плимута тринадцатого сентября.

«Дорогой мистер Кендалл!

Когда Эмброз говорил о Вас, а это бывало весьма часто, я никак не думала, что впервые мне придется обратиться к Вам по столь печальному поводу. Сегодня утром я прибыла из Генуи в Плимут в большом горе и, увы, одна. Мой дорогой супруг умер двадцатого июля во Флоренции после короткой, но мучительной болезни. Я сделала все, что могла, пригласила лучших врачей, но они были не в силах спасти его. Возобновилась лихорадка, которую он уже перенес весной, но конец наступил вследствие давления в мозгу, которое, по мнению врачей, в течение нескольких месяцев не давало о себе знать, а затем быстро развилось. Он лежит на протестантском кладбище во Флоренции — место я выбрала сама, — недалеко от могил других англичан, среди деревьев. Он был бы доволен. Не буду говорить о моем горе и душевной опустошенности. Вы не знаете меня, и я ни в коей мере не хочу обременять Вас своими переживаниями.

Я сразу подумала о Филиппе, которого Эмброз нежно любил и чье горе будет не меньше моего. Мой добрый друг и советчик синьор Райнальди из Флоренции заверил меня, что напишет Вам и сообщит горестную весть, чтобы Вы в свою очередь известили Филиппа. Но я

не очень доверяю почтовому сообщению между Италией и Англией и боялась, что либо Вы узнаете все с чужих слов, либо не узнаете вовсе. Этим и объясняется мой приезд в Англию.

Я привезла с собой все вещи Эмброза: его книги, его одежду, все, что Филипп пожелал бы сохранить и что теперь по праву принадлежит ему. Буду глубоко признательна Вам, если Вы сообщите мне, что с ними делать, как переслать и следует ли мне самой написать Филиппу.

Я покинула Флоренцию сразу и без сожаления в минуту порыва. После смерти Эмброза оставаться там было выше моих сил. Что касается моих дальнейших планов, то их нет. После столь ужасного потрясения необходимо время для того, чтобы прийти в себя. Я надеялась быть в Англии раньше, но задержалась в Генуе, поскольку доставившее меня судно не было готово к отплытию. По-видимому, где-то в Корнуолле у меня есть родственники из семейства Коринов, но, не зная их, я не хотела бы навязывать им свое общество. Возможно, немного отдохнув здесь, я поеду в Лондон и подумаю, как мне быть дальше.

Буду ждать Ваших указаний относительно того, как мне поступить с вещами мужа.

*Искренне Ваша,
Рейчел Эшли».*

Я прочитал письмо один, два, может быть, три раза, затем вернул его крестному. Он ждал, что я заговорю первым. Я не сказал ни слова.

— Видишь, — наконец проговорил он, — она все же ничего себе не оставила. Даже такой мелочи, как книга или пара перчаток. Все достанется тебе.

Я не ответил.

— Она даже не просит разрешения взглянуть на дом, — продолжил крестный, — который был бы ее домом, если бы Эмброс не умер. А это путешествие... ты, конечно, понимаешь, что при других обстоятельствах они совершили бы его вместе. Она бы приехала к себе домой. Чувствуешь разницу, а? В имении стар и млад радуются ее приезду, слуги вне себя от волнения, соседи спешат с визитами, и вместо всего этого — одиночество в плимутской гостинице. Быть может, она весьма мила, быть может — крайне неприятна; мне трудно

судить, ведь я никогда с ней не встречался. Но суть в том, что она ничего не просит, ничего не требует. И она — миссис Эшли. Мне очень жаль, Филипп. Я знаю твое мнение, тебя ничто не заставит изменить его. Но, как друг и душеприказчик Эмброза, я не могу спокойно сидеть здесь, когда его вдова совершенно одна приехала в Англию, где у нее нет ни друзей, ни близких. В нашем доме есть комната для гостей. Твоя кухня может пользоваться ею до тех пор, пока не примет определенного решения относительно планов на будущее.

Я подошел к окну. Луиза, оказывается, вовсе не уезжала. С корзиной в руке, она срезала увядшие головки цветов по бордюру клумбы. Она подняла голову и, увидев меня, помахала рукой. Интересно, подумал я, прочел ей крестный письмо или нет?

— Так вот, Филипп, — сказал он, — можешь написать ей, можешь не писать — это уж как тебе угодно. Не думаю, что ты хочешь видеть ее, и, если она примет мое приглашение, не стану звать тебя к нам, пока она здесь. Но приличия ради ты по крайней мере должен передать ей благодарность за привезенные вещи. Когда я буду писать ей, можно вставить в постскриптуме несколько слов от тебя.

Я отвернулся от окна и взглянул на крестного.

— Почему вы решили, будто я не хочу ее видеть? — спросил я. — Напротив, я хочу увидеть ее, очень хочу. Если она действительно импульсивная женщина, что следует из ее письма, — припоминаю: Райнальди говорил мне о том же, — то ведь и я могу поддасться порыву, что и намерен сделать. Разве не порыв привел меня во Флоренцию?

— Ну? — Крестный нахмурил брови и подозрительно посмотрел на меня.

— Когда будете писать в Плимут, — сказал я, — передайте, что Филипп Эшли уже слышал о смерти Эмброза. Что по получении двух писем он отправился во Флоренцию, побывал на вилле Сангаллетти, видел ее слуг, видел ее друга и советчика синьора Райнальди и успел вернуться. Что он простой человек и ведет простой образ жизни. Что он не отличается изысканными манерами, не мастер говорить и не привык к женскому обществу. Однако, если она желает увидеть его и родные места своего покойного мужа, дом Филиппа Эшли к услугам кухни Рейчел, когда бы она ни пожелала посетить его.

Я поднес руку к сердцу и поклонился.

— Никогда не ожидал от тебя такого ожесточения, — медленно проговорил крестный. — Что с тобой случилось?

— Со мной ничего не случилось, — ответил я, — просто я, как молодой боевой конь, почуял запах крови. Вы не забыли, что мой отец был солдатом?

И я вышел в сад к Луизе. Новость, которую я сообщил ей, взволновала ее еще больше меня. Я взял Луизу за руку и повел к беседке возле лужайки, где мы и уселись, как два заговорщика.

— В твоём доме не годится принимать гостей, — сразу сказала Луиза, — — тем более такую женщину, как графиня... как миссис Эшли. Вот видишь, я тоже волей-неволей называю ее графиней. Это выходит само собой. Ну да, Филипп, ведь целых двадцать лет в доме не было женщины. Какую комнату ты отведешь ей? А пыль! Не только наверху, но и в гостиной тоже. Я заметила на прошлой неделе.

— Все это не важно, — нетерпеливо сказал я. — Если ей так неприятна пыль, может вытирать ее по всему дому. Чем меньше он ей понравится, тем лучше. Пусть наконец узнает, как счастливо и беззаботно мы жили, Эмброз и я.

Не то что на вилле...

— Ах, ты не прав! — воскликнула Луиза. — Ты же не хочешь показаться невежей и грубияном, точно какой-нибудь работник с фермы. Ты выставишь себя в невыгодном свете, прежде чем она заговорит с тобой. Ты должен помнить, что она всю жизнь прожила на континенте, привыкла к удобствам, множеству слуг — говорят, заграничные слуги лучше наших, — — и, конечно же, кроме вещей мистера Эшли она привезла массу нарядов и драгоценностей. Она столько слышала от него про этот дом; она ожидает увидеть нечто не менее прекрасное, чем ее вилла. И вдруг — беспорядок, пыль и запах, как в собачьей конуре.

Подумай, Филипп, ведь ты не хочешь, чтобы она увидела дом именно таким, ради мистера Эшли — не хочешь?

Проклятие! Я рассердился.

— Что ты имеешь в виду, говоря, что в моем доме пахнет, как в собачьей конуре? Это дом мужчины — простой, скромный и, слава Богу, всегда будет таким. Ни Эмброз, ни я никогда не увлекались

модной обстановкой и безделушками, которые летят со стола на пол и вдребезги разбиваются, стоит задеть их коленом.

У Луизы хватило воспитанности изобразить если не стыд, то по крайней мере раскаяние.

— Извини, — сказала она, — я не хотела тебя обидеть. Ты знаешь, как я люблю ваш дом, я очень привязана к нему и всегда буду привязана. Но я не могу не сказать тебе, что думаю о том, как его содержат. За много лет в доме не появилось ни одной новой вещи, в нем нет настоящего тепла, и прости меня, но в нем недостает уюта.

Я подумал о ярко освещенной, аккуратно прибранной гостиной, в которой Луиза заставляла крестного сидеть по вечерам, и понял, чему я — да и он, по всей вероятности, тоже — отдал бы предпочтение, доведись мне выбирать между их гостиной и моей библиотекой.

— Ладно, — сказал я, — Бог с ним, с уютом. Эмброза это устраивало, устраивает и меня, а какие-то несколько дней — сколь долго она ни оказывала бы мне честь своим пребыванием — потерпит и моя кухня Рейчел.

Луиза тряхнула головой.

— Ты неисправим, — сказала она. — Если миссис Эшли именно такая, какой я ее себе представляю, то, едва взглянув на твой дом, она отправится искать приюта в Сент-Остелле или у нас.

— Милости прошу ко мне, — сказал я, — после того, как я отделаюсь от нее.

Луиза с любопытством взглянула на меня:

— И ты действительно посмеешь задавать ей вопросы? С чего ты начнешь?

Я пожал плечами:

— Не знаю, пока не увижу ее. Не сомневаюсь, что она попытается вывернуться с помощью угроз или сыграть на чувствах, устроить истерику. Но меня она не запугает и не разжалобит. Я буду смотреть на нее и наслаждаться.

— Не думаю, чтобы она стала угрожать или устраивать истерику. Просто она величаво войдет в дом и будет в нем распоряжаться. Не забудь, что она привыкла приказывать.

— В моем доме она не будет приказывать.

— Бедный Сиком! Я бы многое дала, чтобы видеть его лицо. Она будет швырять в него всем, что подвернется под руку. Итальянцы

очень вспыльчивы, ты же знаешь, очень горячи. Я много об этом слышала.

— Она только наполовину итальянка, — напомнил я Луизе, — и думаю, Сиком вполне сумеет постоять за себя. Может быть, все три дня будет идти дождь, и она сляжет с ревматизмом.

Мы рассмеялись, как дети, но на сердце у меня было вовсе не легко.

Приглашение, скорее похожее на вызов, сорвалось у меня с языка, и, кажется, я уже жалел о нем, однако Луизе об этом не сказал. Сожаления мои усилились, когда я приехал домой и огляделся. Боже мой, до чего же безрассудно я поступил; и если бы не гордость, то, думаю, я вернулся бы к крестному и попросил его не делать никакой приписки от меня в письме в Плимут.

Ума не приложу: зачем мне понадобилось приглашать эту женщину в мой дом? Что сказать ей, как вести себя? Уж если Райнальди сумел придать убедительность своей версии, то в ее устах она прозвучит еще более правдоподобно. Прямая атака не приведет к успеху. Что имел в виду итальянец, говоря о женской цепкости, о том, как ожесточенно они борются за себя? Если она окажется вульгарной крикуньей — я знаю, как заставить ее замолчать.

Один из наших арендаторов связался с подобной особой; она пригрозила подать на него иск за нарушение обязательства жениться, и я быстро отправил ее в Девон, откуда она явилась. Но сумею ли я дать достойный отпор хитрой интриганке с медоточивым языком, высокой грудью и овечьими глазами? Я верил, что сумею. В Оксфорде мне такие встречались, я всегда находил для них резкие, даже грубые слова и без церемоний прогонял обратно в грязные норы, из которых они выползли. Нет, принимая во внимание все «за» и «против», я был твердо уверен, что, когда придет время разговаривать с моей кузиной Рейчел, я не проглочу язык. Но подготовка к ее визиту — это уравнение счета, возведение фасада учтивости, салют перед началом военных действий.

К моему немалому удивлению, Сиком встретил новость спокойно, будто ожидал ее. Я в нескольких словах объяснил ему, что миссис Эшли в Англии, она привезла с собой вещи мистера Эмброза и, возможно, прибудет к нам с кратким визитом — не позже чем через неделю. Сиком слушал меня с важным видом, и его нижняя губа не

выпячивалась вперед, что обычно случалось, когда перед ним стояла трудная задача.

— Да, сэр, — сказал он, — очень правильно, так и положено. Мы все будем рады приветствовать миссис Эшли.

Я взглянул на старика поверх трубки, удивленный его напыщенностью.

— Я думал, — заметил я, — что вы, как и я, не слишком-то жалуете женщин в доме. Когда я сообщил вам, что мистер Эмброз женился и что скоро здесь появится хозяйка, вы пели по-другому.

Казалось, мои слова потрясли Сиком. На этот раз его нижняя губа выпятилась вперед.

— Это не одно и то же, сэр, — сказал он. — С тех пор произошла трагедия. Бедная женщина овдовела. Мистер Эмброз желал бы, чтобы мы сделали для нее все возможное, тем более, — он осторожно кашлянул, — что она, похоже, не получила никакого наследства от покойного.

Что за черт, подумал я, откуда он знает?

— В имении все говорят об этом, сэр, — объяснил Сиком, — все оставлено вам, мистер Филипп, и ничего вдове. Видите ли, это не совсем обычно. В каждой семье, большой или маленькой, вдове всегда выделяют определенное содержание.

— Меня удивляет, Сиком, — сказал я, — что вы слушаете разные сплетни.

— Не сплетни, сэр, — с достоинством возразил Сиком. — То, что касается семейства Эшли, касается всех вас. О нас, слугах, не забыли.

Я представил себе Сиком в его комнате, комнате дворецкого, как ее всегда называли; к нему заходят поболтать и выпить пива Веллингтон, старый кучер, Тамлин, главный садовник и лесничий, — никто из молодых слуг, конечно, не допускается, — и они, поджав губы и покачивая головой, вновь и вновь обсуждают завещание — озадаченные, смущенные.

— Забывчивость здесь ни при чем, — отрывисто проговорил я. — Мистер Эмброз был за границей, не дома, и не имел возможности заняться делами. Он не собирался умирать там. Если бы он вернулся, все было бы иначе.

— Да, сэр, — сказал Сиком, — так мы и думали.

Ну ладно, пусть себе чешут языком о завещании. Но я вдруг с горечью подумал о том, как бы они стали относиться ко мне, если бы я не унаследовал имение. Почтительно? Терпимо? Или смотрели бы на меня как на молодого мистера Филиппа, бедного родственника, который живет в комнате на задворках?

Сколько людей, размышлял я, любили меня и служили мне ради меня самого?

— Пока все, Сиком, — сказал я. — Если миссис Эшли решит посетить нас, я сообщу вам. Вот только не знаю, какую комнату ей отвести.

— Но, мастер Филипп, сэр, — сказал удивленный Сиком, — конечно, правильнее всего будет предоставить ей комнату мистера Эшли.

Я онемел от неожиданности и молча уставился на Сиком. Затем, из опасения выдать свои чувства, отвернулся.

— Нет, — сказал я, — это невозможно. Я сам перейду в комнату мистера Эшли. Я решил сменить комнату несколько дней назад.

— Очень хорошо, сэр, — сказал он, — в таком случае больше всего миссис Эшли подойдут голубая комната и гостиная.

И он вышел.

Боже мой, подумал я, пустить эту женщину в комнату Эмброза!.. Какое кощунство!.. Кусая черенок трубки, я бросился в кресло. Я был сердит, раздражен, меня буквально тошнило от всего этого. Просить крестного приписать в письме к ней несколько слов от меня было безумием; еще большее безумие — принимать ее в своем доме. Во что я впутался, черт возьми?! А этот идиот Сиком с его представлениями о том, что правильно, что нет!

Приглашение было принято. Она написала крестному, не мне. Сиком, несомненно, счел бы это вполне правильным и приличным. Приглашение пришло не лично от меня, следовательно, и ответ на него надлежало отправить по соответствующему каналу. Она писала, что будет готова, как только мы сочтем удобным прислать за ней; если же нам это неудобно, то она приедет в почтовой карете. Я ответил, опять-таки через крестного, что пришлю за ней экипаж в пятницу. Вот и все.

Пятница наступила слишком быстро. Унылый, пасмурный день со шквальным ветром. В третью неделю сентября, когда прилив особенно

высок, у нас часто выдаются такие дни. С юго-запада по небу стремительно неслись низкие тучи, угрожая еще до наступления вечера разразиться дождем. Один из наших ливней, может быть, с градом, который был бы очень кстати. Приветствие западного края. И никакого неба Италии. Веллингтона с лошадьми я послал еще накануне.

Он должен был переночевать в Плимуте и вернуться с ней. С тех пор как я сказал слугам, что ожидаю приезда миссис Эшли, весь дом охватило волнение.

Даже собаки почувствовали это и ходили за мной по пятам из комнаты в комнату. Сиком напоминал старого жреца, который после многих лет отлучения от какой бы то ни было религиозной службы вдруг вновь приспособливается к отправлению забытого ритуала. Таинственный, торжественный, едва слышными шагами ходил Сиком по дому — он специально купил себе туфли на мягкой подошве, — и в столовой, на столе, на буфете, появилось серебро, которого я не видел ни разу в жизни. Должно быть, реликвии времен моего дяди Филиппа.

Огромные канделябры, сахарницы, кубки и — Господи Иисусе! — среди них серебряная ваза с розами.

— С каких пор, — спросил я, — вы заделались псаломщиком, Сиком? Как насчет ладана и святой воды?

На лице Сикома не дрогнул ни один мускул. Он отошел на шаг и осмотрел свои реликвии.

— Я просил Тамлина принести срезанных цветов из цветника, — сказал он, — ребята сейчас разбирают их. Цветы нам понадобятся. Для гостиной, голубой спальни, туалетной и будуара.

И он нахмурился, глядя на юного Джона, поваренка, который поскользнулся и едва не упал под тяжестью еще одной пары канделябров.

Собаки, понурые и притихшие, не сводили с меня глаз. Одна из них заползла под скамью в холле и притаилась там. Бог знает, когда в последний раз я переступал порог голубой комнаты. Гости у нас не останавливались, и она была связана для меня с воспоминаниями об игре в прятки, когда крестный много лет назад привез к нам на Рождество Луизу. Я помнил, как прокрался в окутанную тишиной комнату и спрятался под кроватью. Эмброс однажды сказал, что в

голубой комнате в свое время жила тетушка Феба, а потом она переехала в Кент и вскоре умерла.

От прежней обитательницы в комнате не осталось и следа. Молодые слуги под руководством Сикома поработали на славу и смели тетушку Фебу вместе с пылью десятилетней давности. Окна, выходящие в поле, были распахнуты, и солнечные зайчики играли на тщательно выбитых ковровых дорожках. Кровать застелили бельем такого качества, какое мне и не снилось. Неужели этот умывальник с кувшином, подумал я, всегда стоял в смежной с голубой комнатой туалетной? А это кресло, разве оно отсюда? Я не помнил ни того ни другого, но ведь я не помнил и саму тетушку Фебу, которая переехала в Кент еще до моего появления на свет. Впрочем, что годилось для нее, сойдет и для моей кухни Рейчел.

Анфиладу из трех комнат завершал будуар тетушки Фебы со сводчатым потолком. Там тоже вытерли пыль и открыли окна. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что и туда я не заходил со времен той самой игры в прятки. Над камином висел портрет Эмброза в молодости. Я даже не подозревал о его существовании, да и сам Эмброс, вероятно, забыл о нем. Если бы портрет принадлежал кисти знаменитого художника, его поместили бы внизу, рядом с другими семейными портретами, но его отправили сюда, в эту заброшенную комнату, и, значит, никто не видел в нем особой ценности. Портрет был поясной. Художник изобразил Эмброза с ружьем под мышкой и с убитой куропаткой в левой руке. Глаза Эмброза смотрели прямо в мои глаза, губы слегка улыбались. Волосы были длиннее, чем мне помнилось. Ни в самом портрете, ни в лице изображенного не было ничего особенного. Кроме одного.

Поразительного сходства со мной. Я посмотрел в зеркало и снова перевел взгляд на портрет; единственное различие заключалось в разрезе глаз — у него они были чуть уже — и в более темном цвете волос. Мы могли быть братьями-близнецами — молодой человек на портрете и я. Неожиданно открыв для себя наше сходство, я пережил неведомое прежде душевное волнение.

Казалось, молодой Эмброс улыбается мне и говорит: «Я с тобой». Но и другой, старший, Эмброс был рядом. Я всем существом ощущал его близость.

Я вышел из будуара, закрыл за собой дверь и, пройдя через голубую комнату и туалетную, спустился вниз.

У подъезда послышался шум колес. Это был догкорт^{note 3} Луизы; на сиденье рядом с ней лежали огромные охапки сентябрьских маргариток и делий.

— Для гостиной! — крикнула она, увидев меня. — Я подумала, что Сиком будет рад им.

Сиком, который в эту минуту с ватагой своих фаворитов проходил через холл, счел себя оскорбленным и не стал этого скрывать. Он застыл на месте и, когда Луиза с цветами вошла в дом, обратился к ней:

— Вам не следовало беспокоиться, мисс Луиза. Я обо всем договорился с Тамлином. Первым делом из цветника принесли достаточно цветов.

— В таком случае я могу их расставить, — сказала Луиза, — вы, мужчины, только вазы перебьете. Полагаю, у вас есть вазы? Или цветы распихали в банки для варенья?

По лицу Сикома можно было изучать все оттенки выражения уязвленного достоинства. Я поспешно втолкнул Луизу в библиотеку и захлопнул дверь.

— Я подумала, — сказала Луиза вполголоса, — не захочешь ли ты, чтобы я осталась присмотреть за порядком и была здесь, когда приедет миссис Эшли?

Папа тоже приехал бы со мной, но он все еще нездоров, а того и гляди, начнется дождь, поэтому я решила, что ему лучше остаться дома. Ну, так как?

Мне остаться? Цветы — только предлог.

Я почувствовал легкое раздражение оттого, что она и крестный считают таким недотепой меня, да и бедного старика Сикома, который последние три дня работал, как надсмотрщик на плантации.

— Очень мило с твоей стороны, — сказал я. — Но в этом нет никакой необходимости. Мы прекрасно справимся сами.

По лицу Луизы было видно, что она разочарована. Она, разумеется, горела любопытством увидеть мою гостью. Я не сказал ей, что и сам не намерен быть дома, когда та приедет.

Луиза придирчиво оглядела комнату, но удержалась от комментариев.

Конечно, она заметила много огрехов, но у нее хватило такта не давать воли языку.

— Если хочешь, сходи наверх и посмотри голубую комнату, — предложил я подачку за причиненное разочарование.

— Голубую комнату? — переспросила Луиза. — Ту, что выходит на восток, над гостиной? Значит, ты не отвел ей комнату мистера Эшли?

— Нет, — ответил я. — Комнату Эмброза я заберу себе. Я не успел сказать вам об этом. Вот уже несколько дней, как я решил переехать туда.

Если ты действительно хочешь расставить цветы, попроси у Сикома вазы, — сказал я, направляясь к дверям. — У меня полно дел в имении, и почти весь день меня не будет дома.

Не сводя с меня глаз, она собрала цветы.

— Кажется, ты расстроен, — сказала она.

— Я не расстроен, — ответил я. — Просто мне надо побыть одному.

Луиза покраснела и отвернулась, а я почувствовал угрызения совести, которые сразу просыпаются, стоит мне кого-нибудь обидеть.

— Извини, Луиза, — сказал я, глядя ее по плечу. — Не обращай на меня внимания. Я благодарю тебя за то, что приехала, за цветы, за предложение остаться.

— Когда я теперь увижу тебя и услышу что-нибудь о миссис Эшли? — спросила она. — Ты же знаешь, как мне не терпится обо всем узнать. Если папе станет лучше, мы, конечно, приедем в воскресенье в церковь, но весь завтрашний день я только и буду думать... мне будет интересно...

— Что — интересно? — спросил я. — Не швырнул ли я мою кузину Рейчел через мыс? Очень возможно, если она уж слишком доведет меня. Послушай, ради того, чтобы удовлетворить твое любопытство, я приеду завтра в Пелин и все изображу тебе в лицах. Ты довольна?

— Это будет замечательно, — улыбаясь, сказала Луиза и вышла искать Сикома и вазы.

Я отсутствовал все утро и вернулся около двух пополудни. После нескольких часов, проведенных в седле, меня мучили голод и жажда, и я утолил их куском холодного мяса и кружкой эля. Луиза уже

уехала. Сиком и слуги обедали на своей половине. Я стоял один в библиотеке и жевал хлеб с мясом. В последний раз один, подумалось мне. Вечером она будет здесь, в этой комнате, или в гостиной — неведомый, враждебный призрак — и наложит свой отпечаток на мои комнаты, на мой дом. Она бесцеремонно вторглась в мою жизнь. Я не хотел ее приезда. Не хотел, чтобы она или любая другая женщина с въедливыми глазами и цепкими пальцами нарушала атмосферу, интимную и сугубо личную, близкую и понятную одному лишь мне. Дом притих, все молчало, и я был его частичкой, был связан с ним, как некогда Эмброз, а теперь его тень. Мы не хотели, чтобы кто-то чужой нарушал здесь тишину.

Я обвел взглядом комнату, как будто на прощание, затем вышел из дома и углубился в лес.

Рассудив, что Веллингтон с экипажем будет дома не ранее пяти часов, я решил возвратиться в начале седьмого. С обедом могут и подождать. Сиком получил распоряжение на сей счет. Если она проголодается, ей придется потерпеть до возвращения хозяина дома. Я не без удовольствия представил себе, как она в полном одиночестве сидит в гостиной, расфуфыренная в пух и прах, надутая от важности, и никто не приходит к ней с поклоном.

Дул сильный ветер, лил дождь, но я шел все дальше и дальше. Вверх по аллее до перепутья Четырех Дорог, на восток, к границе наших земель, затем снова через лес и на север, к дальним фермам, где я еще немного потянул время в разговоре с арендаторами. Через парк, Западные холмы и, когда уже начали сгущаться сумерки, наконец к дому по Бартонским акрам. Я промок до костей, но мне было все равно.

Я открыл дверь и вошел в холл, ожидая увидеть следы приезда — коробки, чемоданы, дорожные пледы, корзины, но все было как обычно, ничего лишнего.

В библиотеке ярко пылал камин, но она была пуста. В столовой на столе стоял один прибор. Я позвонил. Появился Сиком.

— Ну? — спросил я.

На лице старика отражалось вновь обретенное сознание собственной значительности, голос звучал приглушенно.

— Госпожа приехала, — сказал он.

— Я так и полагал, — ответил я, — сейчас, должно быть, около семи.

Она привезла какой-нибудь багаж? Куда вы его дели?

— Госпожа привезла совсем немного своих вещей, — сказал он. — Все коробки и чемоданы принадлежали мистеру Эмброзу. Их отнесли в вашу прежнюю комнату, сэр.

— Вот как!

Я подошел к камину и пнул ногой полено. Ни за что на свете я не мог допустить, чтобы он заметил, как у меня дрожат руки.

— А где сейчас миссис Эшли? — спросил я.

— Госпожа удалилась в свою комнату, — ответил он. — Госпожа устала и просит вас извинить ее за то, что она не спустится к обеду. Около часа назад я распорядился отнести поднос в ее комнату.

Я вздохнул с облегчением.

— Как она доехала? — спросил я.

— Веллингтон сказал, что после Лискерда дорога была очень скверная, сэр, — ответил он. — Дул сильный ветер. Одна лошадь потеряла подкову, и, не доезжая до Лостуитиела, им пришлось завернуть в кузницу.

— Хм-м...

Я повернулся спиной к огню и стал греть ноги.

— Вы совсем промокли, сэр, — сказал Сиком. — Неплохо бы вам переодеться, а то простудитесь.

— Да-да, сейчас, — ответил я, оглядывая комнату. — А где собаки?

— По-моему, они отправились с госпожой наверх, — сказал он. — Во всяком случае, старик Дон; правда, за остальных я не ручаюсь.

Я продолжал греть ноги у огня. Сиком топтался перед дверью, словно ожидал, что я продолжу разговор.

— Прекрасно, — сказал я. — Я приму ванну и переоденусь. Скажите, чтобы принесли горячей воды. Через полчаса я сяду обедать.

В тот вечер я сел обедать один — напротив до блеска начищенных канделябров и серебряной вазы с розами. Сиком стоял за моим стулом, но мы не разговаривали. Именно в тот вечер молчание, наверное, было для него истинной пыткой — я ведь знал, как он

жаждет высказать свое мнение о госте. Ничего, он сможет потом наверстать упущенное и всласть излить душу со слугами.

Едва я кончил обедать, как в столовую вошел Джон и что-то шепнул Сикому. Старик склонился над моим плечом.

— Госпожа прислала сказать, что, если вы пожелаете увидеть ее, когда отобедаете, она с удовольствием примет вас, — сказал он.

— Благодарю вас, Сиком.

Когда они вышли, я сделал нечто такое, что делал очень редко. Разве что в крайнем изнеможении, пожалуй, после изнурительной поездки верхом, долгой, утомительной охоты или схватки с волнами, когда мы с Эмброзом ходили на лодке под парусами. Я подошел к буфету и налил себе коньяка. Затем поднялся наверх и постучал в дверь будуара.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Тихий, едва слышный голос пригласил меня войти. Несмотря на то, что уже стемнело и горели свечи, портьеры были не задернуты; она сидела на диване у окна и смотрела в сад. Сидела спиной ко мне, сжав руки на коленях. Наверное, она приняла меня за одного из слуг, поскольку даже не шелохнулась, когда я вошел в комнату. Дон лежал у камина, положив голову на передние лапы, две молодые собаки расположились рядом с ним. В комнате все стояло на своих местах, ящики небольшого секретера были закрыты, одежда убрана — никаких признаков беспорядка, связанного с приездом.

— Добрый вечер, — сказал я, и мой голос прозвучал напряженно и неестественно в этой маленькой комнате.

Она обернулась, быстро встала и шагнула мне навстречу. Все произошло в один миг, и мне некогда было оживить в памяти десятки образов, в которые мое воображение облекало ее последние полтора года. Женщина, которая преследовала меня дни и ночи, лишала покоя в часы бодрствования, кошмарным видением являлась во сне, стояла рядом. От изумления я едва не оцепенел — настолько она была миниатюрна. Она едва доставала мне до плеча. Ни ростом, ни фигурой она не походила на Луизу.

Она была в черном платье — отчего казалась особенно бледной, — по вороту и запястьям отделанном кружевами. Ее каштановые волосы были расчесаны на прямой пробор и собраны узлом на затылке; черты лица были правильны и изящны. Большими у нее были только глаза; увидев меня, словно пораженные неожиданным сходством, они расширились, как глаза испуганной лани. Испуг узнавания сменился замешательством, замешательство — болью, едва ли не страхом. Я видел, как легкий румянец проступил на ее лице и тут же исчез.

Думаю, я вызвал у нее такое же потрясение, как и она у меня. Не рискну сказать, кто из нас испытывал большее волнение, большую неловкость.

Я устави́мся на нее с высоты своего роста, она смотрела на меня снизу вверх, и прошло несколько мгновений, прежде чем хоть один из

вас заговорил.

Когда же мы заговорили, то заговорили одновременно.

— Надеюсь, вы отдохнули, — моя лепта.

И ее:

— Я должна извиниться перед вами.

Она успешно воспользовалась моей подачей:

— О да, благодарю вас, Филипп, — и, подойдя к камину, опустилась на низкую скамеечку и жестом указала мне на стул против себя.

Дон, старый ретривер, потянулся, зевнул, встал и положил голову ей на колени.

— Ведь это Дон, я не ошиблась? — спросила она, кладя руку ему на нос.

— В прошлый день рождения ему действительно исполнилось четырнадцать лет?

— Да, — сказал я, — его день рождения на неделю раньше моего.

— Вы нашли его в пироге за завтраком, — сказала она. — Эмброз прятался в столовой за экраном и наблюдал, как вы снимаете корочку. Он рассказывал мне, что никогда не забудет вашего изумленного лица, когда из пирога выполз Дон. В тот день вам исполнилось десять лет, и это было первое апреля.

Она подняла глаза от блаженствующего Дона, улыбнулась мне, и, к своему полному замешательству, я увидел на ее ресницах слезы; они блеснули и тут же высохли.

— Я приношу вам свои извинения за то, что не спустилась к обеду, — сказала она. — Ради одной меня вы так хлопотали и, наверное, спешили вернуться домой гораздо раньше, чем того требовали ваши дела. Но я очень устала и составила бы вам плохую компанию. Мне казалось, вам будет гораздо спокойнее пообедать одному.

Я вспомнил, как бродил по имению из конца в конец, лишь бы заставить ее дожидаться меня, и ничего не сказал. Одна из молодых собак проснулась и лизнула мне руку. Чтобы хоть как-то занять себя, я потянул ее за уши.

— Сиком рассказал мне, как много у вас дел, — сказала она. — Я ни в коем случае не хочу, чтобы мой неожиданный приезд в чем-то

стеснил вас. Я найду чем заняться, не затрудняя вас, и это мне будет более чем приятно.

Из-за меня вам не следует вносить никаких изменений в свои планы на завтра.

Я хочу сказать только одно: я благодарна вам, Филипп, за то, что вы разрешили мне приехать. Вам это было, конечно, нелегко.

Она встала и подошла к окну задернуть портьеры. Дождь громко стучал по стеклам. Вероятно, мне самому следовало задернуть портьеры, не ей. Я не успел. Я попробовал исправить свою оплошность и неловко поднялся со стула, но, так или иначе, было слишком поздно. Она вернулась к камину, и мы снова сели.

— Когда я через парк подъезжала к дому и увидела в дверях Сикома, который вышел навстречу, мною овладело странное чувство, — сказала она. — Вы знаете, я проделала этот путь множество раз — в воображении. Все было именно так, как я себе представляла. Холл, библиотека, картины на стенах.

Когда экипаж подъехал к дому, на часах пробило четыре; даже этот бой был знаком мне.

Я теребил собачьи уши. На нее я не смотрел.

— По вечерам во Флоренции, — говорила она, — в последнее лето и зиму перед болезнью Эмброза, мы часто говорили о путешествии домой. Ничто не доставляло ему большей радости. С каким увлечением он рассказывал мне про сад, парк, лес, тропинку к морю... Мы собирались вернуться тем маршрутом, которым я приехала; именно поэтому я его и выбрала. Генуя, а из нее — в Плимут. Там нас ждет Веллингтон с экипажем и везет домой. Как мило с вашей стороны, что вы прислали его, что вы угадали мои чувства.

Я ощущал себя полным дураком, но все же обрел дар речи.

— Боюсь, дорога из Плимута была довольно скверной, — сказал я. — Сиком говорил, что вам пришлось остановиться в кузнице и подковать одну из лошадей. Мне очень жаль, что так случилось.

— Это меня несколько не огорчило, — сказала она. — Я с удовольствием посидела у огня, наблюдая за работой и болтая с Веллингтоном.

Теперь она держалась вполне свободно. Первое смущение прошло, если оно вообще было. Зато я вдруг обнаружил, что из нас

двоих неловкость испытываю именно я; я чувствовал себя громоздким и нескладным в этой крошечной комнате, а стул, на котором я сидел, годился бы только карлику. Неудобная поза — самое губительное для того, кто хочет выглядеть раскованно и непринужденно, и меня мучило то, как я выпляжу, сидя на этом проклятом стуле, неуклюже подобрав под него чересчур большие ноги и свесив по бокам длинные руки.

— Веллингтон хлыстом указал мне на подъездную аллею к дому мистера Кендалла, — сказала она, — и я подумала, что из учтивости следовало бы засвидетельствовать ему свое почтение. Но было уже поздно. Лошади промчались мимо ворот, и к тому же я очень хотела поскорее оказаться... здесь.

Она помедлила, прежде чем произнести слово «здесь», и я догадался, что она чуть было не сказала «дома», но вовремя удержалась.

— Эмброз все так хорошо описал мне, — продолжала она, — от холла до последней комнаты в доме. Он даже набросал для меня план, и я почти уверена, что сегодня с закрытыми глазами нашла бы дорогу. — На мгновение она замолкла, затем сказала:

— Вы проявили редкую проницательность, отведя мне эти комнаты. Именно их мы и собирались занять, если бы были вместе. Эмброз хотел, чтобы вы переехали в его комнату; Сиком сказал, что вы так и сделали.

Эмброз был бы рад.

— Надеюсь, вам будет удобно, — сказал я. — Кажется, здесь никто не жил после особы, которую звали тетушка Феба.

— Тетушка Феба заболела от любви к некоему викарию и уехала залечивать раны сердца в Тонбридж, — сказала она. — Но сердце оказалось упрямым, и тетушка Феба подхватила простуду, которая длилась двадцать лет. Неужели вы не слышали об этой истории?

— Нет, — ответил я и украдкой взглянул на нее. Она смотрела на огонь и улыбалась, скорее всего, воспоминанию о тетушке Фебе. Ее сжатые руки лежали на коленях. Никогда прежде не видел я таких маленьких рук у взрослого человека. Они были очень тонкие, очень узкие, как руки на незаконченных портретах старых мастеров.

— Итак, — сказал я, — какова же дальнейшая история тетушки Фебы?

— Простуда оставила ее через двадцать лет — после того, как взору тетушки явился другой викарий. Но к тому времени тетушке Фебе исполнилось сорок пять, и сердце ее было уже не таким хрупким. Она вышла замуж за второго викария.

— Брак был удачным?

— Нет, — ответила кузина Рейчел, — в первую брачную ночь она умерла от потрясения.

Она обернулась и посмотрела на меня, губы ее слегка подрагивали, однако глаза были все так же серьезны. Я вдруг представил себе, как Эмброз рассказывает ей эту историю: он, сгорбившись, сидит в кресле, плечи его трясутся, а она смотрит на него снизу вверх, совсем как сейчас, едва сдерживая смех. Я не выдержал. Я улыбнулся кузине Рейчел... с ее глазами что-то произошло, и она тоже улыбнулась мне.

— Думаю, что вы на ходу сочинили всю эту историю, — сказал я, сразу пожалев о своей улыбке.

— Ничего подобного, — возразила она. — Сиком наверняка знает ее.

Спросите его.

Я покачал головой:

— Он сочтет неуместным вспоминать о ней. И будет глубоко потрясен, если решит, что вы мне ее рассказали. Я забыл вас спросить: принес ли он вам что-нибудь на обед?

— Да. Чашку супа, крыло цыпленка и почки с пряностями. Все было восхитительно.

— Вы, конечно, уже поняли, что в доме нет женской прислуги?

Прислуживать вам, развешивать ваши платья у нас некому; только молодые Джон и Артур, которые наполнят для вас ванну.

— Тем лучше. Женщины так болтливы. А что до платьев, то траур всегда одинаков. Я привезла только то, которое сейчас на мне, и еще одно. У меня есть прочные туфли для прогулок.

— Если завтра будет такой же день, вам придется не выходить из дома, — сказал я. — В библиотеке много книг. Сам я не слишком охоч до чтения, но вы могли бы найти что-нибудь себе по вкусу.

Ее губы снова дрогнули, и она серьезно посмотрела на меня:

— Я могла бы посвятить свое время чистке серебра. Никак не думала, что его у вас так много. Эмброз не раз говорил мне, что оно

темнеет от морского воздуха.

По выражению ее лица я был готов поклясться, что она догадалась, что вся эта масса семейных реликвий извлечена из какого-нибудь забытого шкафа, и в глубине души смеется надо мной.

Я отвел глаза. Однажды я уже улыбнулся ей, и будь я проклят, если улыбнусь еще раз.

— На вилле, — сказала она, — когда бывало очень жарко, мы любили сидеть во дворике с фонтаном. Эмброз просил меня закрыть глаза и, слушая воду, вообразить, будто это дождь стучит в окна нашего дома в Англии. Он полагал, что я вся съезжусь и буду постоянно дрожать в английском климате, особенно в сыром климате Корнуолла; он называл меня тепличным растением, которое требует заботливого ухода и совершенно не приспособлено к обыкновенной почве. Я выросла в городе, говорил он, и чересчур цивилизована. Помню, как однажды я вышла к обеду в новом платье и он сказал, что от меня веет ароматом Древнего Рима. «Дома в таком наряде вас побьет морозом, — сказал он. — Придется сменить его на фланель и шерстяную шаль.» Я не забыла его совет и привезла с собой шаль.

— В Англии, — сказал я, — особенно здесь, на побережье, мы придаем большое значение погоде. Должны придавать, ведь живем у моря. Видите ли, в наших краях условия для сельского хозяйства не слишком благоприятные, не то что в центре страны. Почва тощая, из семи дней в неделю четыре дня идет дождь, поэтому мы очень зависим от солнца, когда оно появляется. Думаю, завтра прояснится и вы сможете совершить прогулку.

— Бове-таун и Боденский луг, — сказала она. — Кемпов тупик и Бычий сад, Килмурово поле, мимо маяка, через Двадцать акров и Западные холмы.

Я с изумлением посмотрел на нее:

— Вам известны все названия Бартонских земель?

— Ну конечно, вот уже полтора года я знаю их наизусть.

Я молчал. Мне нечего было сказать. Затем:

— Это нелегкая прогулка для женщины, — угрюмо заметил я.

— У меня есть прочные туфли, — возразила она.

Черная бархатная туфелька на ноге, чуть высунутая из-под платья, показалась мне на редкость не подходящей для пеших прогулок.

— Вот эти? — спросил я.

— Разумеется, нет; кое-что попрочнее.

Я не мог себе представить, как она бредет по камням, даже если сама она и верила в то, что способна выдержать такую прогулку. А в моих рабочих сапогах она просто утонула бы.

— Вы ездите верхом? — спросил я.

— Нет.

— А сможете держаться в седле, если вашу лошадь поведут под уздцы?

— Пожалуй, да, — ответила она. — Только мне надо держаться обеими руками за седло. А нет ли у вас... кажется, это называется лука, на которой балансируют?

Она задала вопрос самым невинным тоном, ее глаза смотрели серьезно, и тем не менее я вновь не сомневался, что в них прячется смех и она хочет подразнить меня.

— Не уверен, — холодно сказал я, — есть ли у нас дамское седло. Надо спросить Веллингтона, в конюшне оно мне ни разу не попадалось на глаза.

— Возможно, — сказала она, — тетушка Феба, потеряв своего викария, приохотилась к верховой езде. Может быть, это стало ее единственным утешением.

Все мои усилия пошли прахом. В ее голосе послышалось нечто похожее на легкое журчание, и я не выдержал. Она видела, что я смеюсь, и это было ужаснее всего.

— Хорошо, — сказал я, — утром я этим займусь. Как по-вашему, не попросить ли мне Сикома обследовать чуланы и посмотреть, не осталось ли после тетушки Фебы еще и амазонки?

— Амазонка мне не понадобится, — ответила она, — если, конечно, лошадь поведут осторожно и я смогу балансировать на луке.

В эту минуту в дверь постучали, и в комнату вошел Сиком, неся на огромном подносе серебряный чайник с кипятком, серебряный заварочный чайник и хлебницу — тоже серебряную. Никогда раньше я не видел этих вещей и про себя любопытствовал, из каких закровов комнаты дворецкого он их извлек. С какой целью принес? Кузина Рейчел заметила мое изумление. Я отнюдь не хотел обидеть Сикома, который с важным видом поставил свое приношение на стол,

но меня так и подмывало расхохотаться. Я встал со стула и подошел к окну, как будто хотел взглянуть на дождь.

— Чай подан, мадам, — объявил Сиком.

— Благодарю вас, Сиком, — торжественно ответила она.

Собаки встали и, приняюхиваясь, потянулись к подносу. Они были изумлены не меньше моего. Сиком цыкнул на них.

— Уходи, Дон, — сказал он, — все трое уходите. Я думаю, мадам, мне лучше убрать собак. Чего доброго, перевернут поднос.

— Да, Сиком, — ответила она, — чего доброго.

И опять это журчание в голосе. Я был рад, что стою к ней спиной.

— Какие распоряжения относительно завтрака, мадам? — спросил Сиком.

— Мистер Филипп завтракает в девять часов в столовой.

— Я хотела бы завтракать в своей комнате, — сказала она. — Мистер Эшли говаривал, что ни на одну женщину не следует смотреть до одиннадцати часов. Вас это не затруднит?

— Разумеется, нет, мадам.

— В таком случае — благодарю вас, Сиком, и спокойной ночи.

— Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, сэр. Пошли, собаки!

Он щелкнул пальцами, и животные нехотя последовали за ним.

Несколько мгновений в комнате царило молчание, затем она тихо сказала:

— Хотите чаю? Насколько я понимаю, в Корнуолле так заведено.

Всю мою важность как рукой сняло. Сохранять ее и дальше было выше моих сил. Я вернулся к камину и сел на табурет у стола.

— Я вам кое-что скажу, — проговорил я. — Я никогда не видел ни этого чайника, ни этой хлебницы.

— Я так и думала, — сказала она. — Я заметила ваш взгляд, когда Сиком принес их. Полагаю, он их тоже раньше не видел. Они из тайногоклада.

Он раскопал их в каком-нибудь погребе.

— А это действительно так принято — пить чай после обеда? — спросил я.

— Конечно, — ответила она, — в высшем обществе, когда присутствуют дамы.

— По воскресеньям, когда Кендаллы и Паско приезжают к обеду, — сказал я, — мы никогда его не пьем.

— Вероятно, Сиком не считает, что они принадлежат к высшему обществу, — заметила она. — Очень польщена. Чай мне нравится. Съешьте бутерброд.

Еще одно новшество. Тонкие кусочки хлеба, свернутые в виде маленьких колбасок.

— Удивительно, что на кухне знают, как их делать, — сказал я, проглотив несколько штук. — Но это очень вкусно.

— Неожиданное вдохновение, — сказала кузина Рейчел. — И за завтраком вы, конечно, съедите то, что останется. Масло тает, и я бы предложила вам облизать пальцы.

Она пила чай, глядя на меня поверх краешка чашки.

— Если хотите, можете закурить трубку, — продолжала она.

Я удивленно воззрился на нее.

— В будуаре? — спросил я. — Вы уверены? Но по воскресеньям, когда с викарием приезжает миссис Паско, мы никогда не курим в гостиной.

— Здесь не гостиная, а я не миссис Паско, — возразила она.

Я пожал плечами и полез в карман за трубкой.

— Сиком подумает, что я поступаю крайне предосудительно. Утром он догадается по запаху.

— Перед тем как лечь спать, я открою окно. На дожде запах выветрится.

— Дождь попадет в окно и намочит ковер, — сказал я, — а это еще хуже, чем запах дыма.

— Ковер можно вычистить тряпкой, — ответила она. — Какой вы привередливый, совсем как старик.

— Я думал, женщины очень щепетильны в таких делах.

— Да, щепетильны, когда им больше нечего делать, — сказала она.

Сидя в будуаре тетушки Фебы и куря трубку, я вдруг вспомнил, что вовсе не так намеревался провести этот вечер. Я заготовил несколько холоднолюбезных фраз и сухое прощание, долженствующие отбить у непрошеной гостьи всякую охоту задерживаться в моем доме.

Я взглянул на нее. Она уже кончила пить чай и поставила чашку с блюдцем на поднос. Мое внимание снова привлекли ее руки, узкие, маленькие и очень белые; интересно, подумал я, считал ли их Эмброс

руками горожанки? Она носила два кольца, оба с прекрасными камнями, однако они нисколько не нарушали траура и очень гармонировала с ее обликом. Держа в руке трубку и покусывая черенок, я чувствовал себя более уверенно и меньше напоминал одурманенного сном. Надо было что-то делать, что-то говорить, но я, как дурак, сидел у огня, не в силах разобраться в собственных мыслях и впечатлениях. Долгий, томительный день закончился, а я никак не мог решить, что он принес мне — победу или поражение. Если бы в ней было хоть отдаленное сходство с придуманными мною образами, я бы лучше знал, что делать; но вот она здесь, рядом, во плоти, и созданные моим воображением картины, словно бредовые фантастические видения, перемешались и растаяли в темноте.

Где-то далеко осталось злобное существо, старое, раздражительное, окруженное адвокатами; где-то далеко была вторая миссис Паско — с громким голосом, надменная; истаяла вдали взбалмошная, избалованная кукла с длинными локонами; исчезла змея, скользкая, коварная. Гнев, казалось, утратил смысл, ненависть тоже, страх... Но мог ли я бояться той, которая не доходила мне до плеча, в ком не было ничего особенного, кроме чувства юмора и маленьких рук?

Неужели ради этого один человек дрался на дуэли, а другой, умирая, написал:

«Она все же доконала меня, Рейчел, мука моя»? Я походил на человека, который выпустил мыльный пузырь и следил за его полетом, но пузырь вдруг лопнул.

Надо запомнить, подумал я, клюя носом перед мерцающим камином, и в следующий раз не пить коньяка после десятимильной прогулки под дождем: это только притупляет чувства, а вовсе не развязывает язык. Я пришел дать бой этой женщине, но так и не начал его. Что она там говорила про седло тетушки Фебы?

— Филипп, — прозвучал тихий, спокойный голос, — Филипп, вы, кажется, спите. Прошу вас, встаньте и отправляйтесь в кровать.

Я вздрогнул и открыл глаза. Она смотрела на меня, сложив руки на коленях. Я с трудом поднялся на ноги и чуть не опрокинул поднос.

— Извините, — сказал я, — должно быть, меня стало клонить в сон из-за того, что я скрючился на этом табурете. В библиотеке я обычно сижу, вытянув ноги.

— И к тому же вы изрядно находились сегодня пешком, не так ли? — спросила она.

Голос ее был сама невинность, и тем не менее... Что она имела в виду? Я нахмурился и смотрел на нее сверху вниз, твердо решив не отвечать.

— Если завтра выдастся погожее утро, — сказала она, — вы действительно найдете для меня надежную, смирную лошадь, на которую я смогу спокойно сесть, чтобы отправиться осматривать Бартонские земли?

— Да, — ответил я, — если вы желаете совершить такую прогулку.

— Я не затрудню вас. Мою лошадь поведет Веллингтон.

— Нет, я сам пойду с вами. У меня нет особых дел.

— Подождите, — сказала она, — вы забыли, что завтра суббота. Утром вы выдаете жалованье работникам. Мы подождем до полудня.

Я растерянно взглянул на нее:

— Боже мой, откуда вам известно, что я выплачиваю жалованье именно по субботам?

К моему полному замешательству и смятению, ее глаза вдруг заблестели и стали влажными, как тогда, когда она говорила о моем давнем дне рождения.

— Если вы не догадываетесь, — в голосе ее зазвучали жесткие нотки, — то вы не так сообразительны, как я думала. Подождите минуту. У меня есть для вас подарок.

Она открыла дверь, прошла в голубую спальню и тут же вернулась с тростью в руке.

— Вот, — сказала она, — возьмите, она ваша. Все остальное вы осмотрите и разберете потом, но ее я хотела сама отдать вам, и непременно сегодня.

Это была прогулочная трость Эмброза. Та самая, на которую он всегда опирался. Трость с золотым ободком и с ручкой в виде собачьей головы из слоновой кости.

— Благодарю вас, — язык плохо повиновался мне, — я вам очень признателен.

— А теперь идите, — сказала она, — пожалуйста, идите.

И она легонько вытолкала меня из комнаты и захлопнула дверь.

Я стоял, сжимая в руках трость. Она не дала мне времени даже на то, чтобы пожелать ей доброй ночи. Из будуара не доносилось ни звука; я медленно пошел по коридору к своей комнате, вспоминая выражение ее глаз в ту минуту, когда она протянула мне трость. Однажды, совсем недавно, я уже видел глаза, в которых застыло такое же выражение древнего как мир страдания. И в тех глазах светились сдержанность и гордость, соединенные с такой же униженностью, такой же мучительной мольбой. Наверное, подумал я, войдя в свою комнату — комнату Эмброза — и разглядывая знакомую трость, — наверное, дело в том, что глаза эти одинакового цвета и принадлежат женщинам одной национальности. Иначе что общего могло быть между нищенкой с берегов Арно и кузиной Рейчел?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На следующее утро я рано спустился вниз и сразу после завтрака пошел в конюшню, вызвал Веллингтона, и мы вместе направились в кладовую для упряжи.

Да, среди всего прочего там оказалось с полдюжины дамских седел.

Видимо, раньше я просто не замечал их.

— Миссис Эшли не умеет ездить верхом, — сказал я Веллингтону. — На чем-нибудь сидеть и за что-нибудь держаться — вот все, что ей надо.

— Тогда лучше всего посадить ее на Соломона, — сказал старый кучер.

— Может быть, ему и не доводилось возить дам, но он ее не сбросит, уж это точно. За других лошадей, сэр, я бы не поручился.

В былые времена Эмброз часто охотился верхом на Соломоне, теперь же конь в основном наслаждался досугом на лугу; и только иногда Веллингтон использовал его для поездок. Дамские седла висели высоко на стене, и, чтобы их снять, Веллингтону пришлось послать за грумом и небольшой лестницей.

Выбор седла произвел целый переполох и послужил причиной немалого волнения: одно было слишком потертым, второе — слишком узким для широкой спины Соломона, третье покрыто паутиной, за что грум получил приличный нагоняй. Я смеялся в душе, догадываясь, что ни Веллингтон, ни все остальные ни разу не вспоминали про эти седла последние четверть века, и сказал Веллингтону, что после хорошей чистки кожа станет как новая и миссис Эшли подумает, будто седло только вчера привезли из Лондона.

— В какое время госпожа желает выехать? — спросил он, и я, опешив от такого выбора слов, молча уставился на него.

— Где-то после полудня, — наконец выговорил я. — Вам надо только подвести Соломона к подъезду. Я сам буду сопровождать миссис Эшли.

Затем я вернулся в дом и прошел в контору, чтобы просмотреть недельные отчеты и проверить счета до того, как люди придут за

платой. «Госпожа»...

Однако! Неужели Веллингтон, Сиком и другие слуги относятся к ней именно так?

Я допускал, что в определенном смысле это естественно, но подумал, до чего же быстро мужчины-слуги глупеют в присутствии женщины. Это благоговение в глазах Сикома, когда прошлым вечером он принес чай, почтительность, с какой он поставил перед ней поднос... и вот, не угодно ли, утром, во время завтрака, прислуживает мне молодой Джон, он же снимает крышки с моих тарелок, потому что «мистер Сиком, — объясняет он, — пошел с подносом наверх, в будуар». И вот теперь Веллингтон, сам не свой от волнения, чистит и натирает до блеска старое дамское седло и кричит груму, чтобы тот занялся Соломоном.

Я просматривал счета. Впервые с тех пор, как Эмброз выставил из дома няньку, женщина провела ночь под моей крышей. Однако ее присутствие оставило меня совершенно спокойным. Это обстоятельство меня радовало. Но едва я вспомнил ее обращение со мной, когда я чуть не заснул, мне показалось, что ее слова: «Филипп, отправляйтесь в кровать» — вполне могла произнести моя нянька лет двадцать назад.

В полдень за причитающейся им платой пришли слуги и люди, работавшие в конюшне, в лесу, в саду. Заметив отсутствие Тамлина, старшего садовника, я поинтересовался, почему его нет, и мне сказали, что он где-то «с госпожой».

Я воздержался от каких-либо замечаний по этому поводу, расплатился с остальными работниками и отпустил их. Интуиция подсказала мне, где искать Тамлина и кузину Рейчел. Я не ошибся. Они были в оранжерее, где росли камелии, олеандры и другие растения, привезенные Эмброзом из странствий.

Я никогда не разбирался в садоводстве — все заботы лежали на Тамлине; огибая угол оранжереи и подходя к ним, я слышал, как она говорила о черенках и побегах, о влиянии северного климата и об удобрении почвы. Тамлин слушал, держа шапку в руке и с таким же почтительным видом, какой я заметил у Сикома и Веллингтона. Увидев меня, она улыбнулась и поднялась на ноги: до того она стояла на коленях на мешковине и рассматривала молодой побег, выходящий в трубку.

— Я гуляю с половины одиннадцатого, — сказала она. — Я искала вас, чтобы спросить разрешения, но не нашла и потому совершила отчаянный поступок — сама отправилась в домик Тамлина и познакомилась с ним; правда, Тамлин?

— Правда, мэм, — сказал Тамлин, как баран уставясь на нее.

— Видите ли, Филипп, — продолжала она, — я привезла с собой в Плимут — в экипаж я их взять не могла, они придут с посыльным — все саженцы деревьев и кустов, которые мы собрали, Эмброз и я, за последние два года. У меня есть список с указанием мест, где он хотел их высадить, и я думала сэкономить время, обсудив список с Тамлином и объяснив ему, что к чему.

Когда их привезут, меня уже может не быть здесь.

— Превосходно, — сказал я, — вы оба разбираетесь в этих делах лучше меня. Прошу вас, продолжайте.

— Мы уже все обсудили, не правда ли, Тамлин? — сказала она. — И будьте добры, передайте миссис Тамлин мою благодарность за чай; я очень надеюсь, что к вечеру ее горлу станет лучше. Эвкалиптовое масло — отличное лекарство, я пришлю его ей.

— Благодарю вас, мэм, — сказал Тамлин (я впервые слышал, что у его жены болит горло) и, взглянув на меня, добавил с неожиданной застенчивостью:

— Нынче утром, мистер Филипп, сэр, я узнал кое-что такое, чего никак не думал узнать от дамы. Я всегда полагал, что знаю свою работу, но миссис Эшли разбирается в садоводстве куда лучше меня. Мне столько в жизни не узнать.

Рядом с ней я чувствую себя полным неучем.

— Вздор, Тамлин, — возразила кузина Рейчел. — Я разбираюсь только в деревьях и кустарниках. Что же касается фруктов, то я не имею ни малейшего представления, как, например, выращивают персики; кстати, запомните: вы еще не сводили меня в цветник. Вы это сделаете завтра.

— Как только пожелаете, мэм, — сказал Тамлин.

Она попрощалась с ним, и мы пошли к дому.

— Раз вы гуляете почти с десяти часов, — сказал я, — то, наверное, хотите отдохнуть. Я скажу Веллингтону, чтобы он пока не седлал коня.

— Отдохнуть? — переспросила она. — Кто говорит об отдыхе? Я все утро предвкушала нашу прогулку верхом. Посмотрите, вот и солнце. Вы ведь обещали, что оно появится. Кто поведет моего коня — вы или Веллингтон?

— Нет, — сказал я. — С вами пойду я. И предупреждаю, хоть вы и способны наставлять Тамлина в выращивании камелий, преподать мне урок земледелия вам не удастся.

— Ячмень от овса я отличаю, — сказала она. — Вы поражены?

— Ни капли, — ответил я. — Как бы то ни было, на полях вы не увидите ни того ни другого — урожай уже собран.

Когда мы вошли в дом, я обнаружил, что Сиком накрыл в столовой холодный завтрак из мяса и салата, дополнив его пирогами и пудингами, словно мы собирались обедать. Кузина Рейчел кинула на меня быстрый взгляд, лицо ее было невозмутимо серьезно, однако в глубине глаз опять горели смешинки.

— Вы человек молодой и еще не кончили расти, — сказала она. — Ешьте и будьте благодарны. Положите в карман кусок пирога, и, когда мы поднимемся на Западные холмы, я попрошу вас поделиться со мной. А сейчас я пойду наверх и надену что-нибудь подходящее для поездки.

По крайней мере, подумал я, с аппетитом принимаясь за холодное мясо, она не ждет, чтобы за ней ухаживали или проявляли подчеркнутые знаки внимания; у нее явно незаурядный ум, что, слава Богу, отнюдь не женская черта. Лишь одно раздражало меня: мою манеру держаться с ней (как я полагал, довольно язвительную) она принимала спокойно и даже с удовольствием. Мой сарказм казался ей веселостью.

Только я успел поесть, как Соломона подвели к дверям дома. Крепкий старый конь за всю свою жизнь ни разу не подвергался столь тщательной чистке. Даже копыта Соломона надраили до блеска — моя Цыганка никогда не удостоивалась такого внимания. Две молодые собаки скакали у его ног. Дон невозмутимо наблюдал за ними; для него, как и для его друга Соломона, дни скачек давно миновали.

Я пошел сказать Сикому, что нас не будет часов до четырех, а когда вернулся, кузина Рейчел уже сидела на Соломоне. Веллингтон прилаживал ей шпоры. Она переоделась в другое траурное платье, с чуть большим вырезом, и вместо шляпы волосы ее покрывала черная

кружевная шаль. Сидя вполоборота ко мне, она говорила с Веллингтоном, и мне почему-то вспомнилось, как накануне вечером она рассказывала о том, что Эмброз иногда поддразнивал ее и однажды сказал, будто от нее веет ароматом Древнего Рима. Думаю, в ту минуту я понял, что он имел в виду. Ее лицо было похоже на лица с римских монет — четкие, но маленькие; обрамленное кружевной шалью, оно напоминало мне женщин, которых я видел во Флоренции, преклонивших колени в соборе или притаившихся в дверях безмолвных домов. Женщина, в которой я не находил ничего достойного внимания, кроме рук, переменчивых глаз и неожиданных россыпей жемчужного смеха, возвышаясь надо мною, выглядела совсем иначе.

Казалась более далекой, более отстраненной, более итальянкой.

Она услышала мои шаги, обернулась, и все исчезло: отстраненность, нездешность — все то, что проступало на ее лице в минуты покоя.

— Готовы? — спросил я. — Не боитесь упасть?

— Я полагаюсь на вас и на Соломона, — ответила она.

— Вот и прекрасно. Поехали. Мы вернемся часа через два, Веллингтон.

И, взяв Соломона под уздцы, я выступил с нею в поход по Бартонским землям.

Ветер, который дул последние дни, улетел в глубь страны, унеся с собой дождь; к полудню небо прояснилось и выплянуло солнце. Солоноватый, хрустально-чистый воздух подгонял шаг и доносил дыхание моря, бьющегося о скалы бухты. Осенью такие дни выдаются у нас часто. Словно заплутавшие во времени, они напоены особой свежестью и, изредка напоминая о близости холодов, еще дышат последним теплом лета.

Странным было наше паломничество. Мы начали с Бартона, и мне стоило немалого труда отговориться от приглашения Билли Роу и его жены зайти в дом и отведать пирога со сливками, лишь ценою обещания заехать к ним в понедельник мне удалось миновать коровник и навозную кучу, вывести Соломона за ворота фермы и выйти на жнивье Западных холмов.

Бартонские земли представляют собой полуостров, Маячные поля занимают дальний его конец у моря. Как я и говорил кузине,

хлеба уже свезли, и я мог вести старика Соломона куда заблагорассудится. К тому же большая часть Бартонских земель — пастбища, и, чтобы целиком осмотреть их, мы держались ближе к морю. В конце концов мы подошли к самому маяку, и, оглянувшись, она увидела все имение — с запада ограниченное длинным отрезком песчаной бухты, а с востока, на расстоянии трех миль от нее, — рукавом моря. Бартонская ферма и дом — особняк, как неизменно называл его Сиком, — лежали как бы на блюде, но деревья, посаженные по распоряжению дяди Филиппа и Эмброза, уже густо разрослись и частично скрывали дом; к северу от него новая аллея вилась через лес и взбегала на небольшую возвышенность, где сходились Четыре Дороги.

Вспомнив, что говорила кузина Рейчел прошлым вечером, я попробовал проверить, так ли хорошо она знает Бартонские земли, но не смог поймать ее на ошибке. Память ни разу не подвела ее, когда она упоминала названия различных пляжей, мысов и ферм на территории имения; она знала имена всех арендаторов, их семьи, знала, что племянник Сикома живет в рыбацьем доме на берегу, а брат держит мельницу. Она не обрушила на меня все свои познания сразу — скорее, я сам, подгоняемый любопытством, побуждал ее поделиться ими. Мне казалось весьма странным то, как естественно и с каким интересом она называла имена и говорила о людях.

— О чем же, по-вашему, мы разговаривали, Эмброз и я? — наконец спросила она, когда мы спускались с Маячного холма на восточное поле. — Он страстно любил свой дом, свою землю, поэтому и я полюбила их. Разве вы не ждете того же от своей жены?

— Не имея жены, ничего не могу сказать, — ответил я, — но у меня были основания полагать, что, прожив всю жизнь на континенте, вы увлекаетесь совсем другим.

— Так и было, — сказала она, — пока я не встретила Эмброза.

— Кроме увлечения садами, как я догадываюсь?

— Кроме увлечения садами, — согласилась она. — Наверное, он писал вам, как оно началось. Мой сад на вилле очень красив, но это... — Она на мгновение замолкла и осадил Соломона; я остановился, держа руку на узде. — ...Но это то, что мне всегда хотелось увидеть. Это совсем другое.

Она еще немного помолчала, глядя на бухту.

— На вилле, — продолжала она, — когда я была молода и замужем за моим первым мужем — я говорю не про Эмброза, — я была не очень счастлива и находила утешение в перепланировке сада, высаживании новых растений, разбивке террас, прокладывании дорожек. Ища совета и руководства, я зарылась в книги, и результат получился совсем неплохой; во всяком случае, я сама так думала и многие говорили мне об этом. Интересно, что сказали бы вы про мой сад...

Я бросил на нее быстрый взгляд. Ее лицо было обращено к морю, и она не заметила этого. Что она имела в виду? Разве крестный не сообщил ей, что я побывал на вилле?

Меня охватило внезапное беспокойство. Я вспомнил, с каким самообладанием после легкой нервозности первых минут она держалась накануне вечером, вспомнил непринужденность нашей беседы, которую поутру за завтраком приписал светскому чутью кузины Рейчел и своему отупению после коньяка. Мне вдруг показалось странным, что она ничего не сказала тогда о моем посещении Флоренции, и еще более странным, что она ни словом не обмолвилась о том, каким образом я узнал о смерти Эмброза. Неужели крестный счел за благо увильнуть от этого предмета и предоставил мне самому сообщить ей о моей поездке? В душе я проклинал его старческую болтливость и трусость, хотя прекрасно понимал, что теперь уже не кто иной, как я сам, праздную труса.

Вчера вечером, если бы только я рассказал ей вчера вечером, одурманенный коньяком! Но теперь... теперь это нелегко. Она удивится, почему я молчал раньше. Конечно же, сейчас самый подходящий момент сказать: «Я видел сад на вилле Сангаллетти. Разве вы не знаете?» Но она ласково обратилась к Соломону, и он тронул с места.

— А мы можем пройти мимо мельницы и подняться к дому через лес с другой стороны? — спросила она.

Я упустил благоприятную возможность, и мы двинулись назад к дому. В лесу она время от времени бросала одно-два слова о деревьях, о гряде холмов или еще о чем-то, привлекавшем ее внимание, но для меня легкость и непринужденность начала нашей прогулки были утрачены. Ведь так или иначе, а я должен был сказать ей о моем посещении Флоренции. Если я не расскажу ей, она обо всем узнает от

Сикомы или от самого крестного, когда в воскресенье он придет к нам на обед. Чем ближе к дому, тем молчаливее я становился.

— Я утомила вас, — сказала она. — Еду, как королева, на Соломоне, а вы, подобно пилигриму, все время идете пешком. Простите, Филипп. Я так счастлива... Вы и не догадываетесь, как я счастлива.

— Нет, я не устал, — возразил я. — Мне очень приятно, что прогулка доставила вам удовольствие.

При всем том я не мог выдержать ее взгляд — доверчивый, вопрошающий.

Веллингтон ждал у дома, чтобы помочь ей сойти с лошади. Она пошла вверх отдохнуть, перед тем как переодеться к обеду, а я уселся в библиотеке, мрачно куря трубку и ломая голову над тем, как же, черт возьми, рассказать ей про Флоренцию. Если бы крестный сообщил ей об этом в письме, то заговорить первой пришлось бы ей, а мне оставалось бы спокойно ждать, что она скажет. Но и это было бы нестрашно, будь она той женщиной, какую я ожидал увидеть. Боже правый, почему она оказалась совсем другой и расстроила мои планы?

Я вымыл руки, переоделся и положил в карман два последних письма Эмброза; но когда я вошел в гостиную, ожидая увидеть ее там, комната была пуста. Сиком, проходивший через холл, сказал мне, что госпожа в библиотеке.

Теперь, когда она не возвышалась надо мной, сидя на Соломоне, сняла с головы шаль и пригладила волосы, она казалась еще меньше, чем прежде, еще беззащитнее. И бледнее при свечах, а траурное платье — по контрасту — еще темнее.

— Вы не возражаете, если я посижу здесь? — спросила она. — Гостиная очаровательна днем, но вечером, при задернутых портьерах и зажженных свечах, эта комната самая уютная. Кроме того, именно здесь вы всегда сидели с Эмброзом.

Возможно, это был мой шанс. Самое время сказать: «Разумеется, не возражаю. У вас на вилле нет ничего подобного.» Но я промолчал. В комнату вошли собаки, и обстановка немного разрядилась. После обеда, сказал я себе, после обеда я обязательно поговорю с ней. И ни портвейна, ни коньяка.

За обедом Сиком посадил ее по правую руку от меня и прислуживал нам вместе с Джоном. Она пришла в восторг от вазы с розами, от канделябров, заговаривала с Сикомом, когда тот подавал очередное блюдо, а я, обливаясь холодным потом, все время ждал, что он скажет: «Это случилось, мадам...» или «Это произошло, когда мистер Филипп был в Италии».

Я едва дождался, когда кончится обед и мы останемся одни. Мы сели у камина в библиотеке, она достала рукоделие. Я наблюдал за ее маленькими проворными руками и изумлялся им.

— Скажите, Филипп, вы чем-то обеспокоены? — спросила она после недолгого молчания. — Не отпирайтесь. Эмброз часто говорил, что у меня, как у животного, чутье на неприятности, и сейчас я чувствую — вас что-то тревожит. Откровенно говоря, я заметила это еще днем. Надеюсь, я ничем вас не обидела?

Вот и свершилось. Во всяком случае, она сама расчистила мне путь.

— Вы ничем меня не обидели, — ответил я, — но одна ваша случайная фраза смутила меня. Не могли бы вы сказать, о чем Ник Кендалл писал вам в Плимут?

— О, разумеется! Он поблагодарил меня за письмо, сообщил, что вам обоим уже известны обстоятельства смерти Эмброза, что синьор Райнальди написал ему и прислал копии свидетельства о смерти и что вы приглашаете меня погостить у вас, пока не выяснятся мои планы на будущее. Он даже предложил мне приехать в Пелин после того, как я уеду от вас; это очень любезно с его стороны.

— И все?

— Да, письмо было совсем коротким.

— Он не писал, что я уезжал?

— Нет.

— Понятно.

Я чувствовал, что меня бросает в жар, а она сидела все так же спокойно, невозмутимо, не выпуская из рук вышивания. И тогда я сказал:

— Крестный не погрешил против истины: он и слуги узнали о смерти Эмброза от синьора Райнальди. Со мною было иначе. Видите ли, я узнал о ней во Флоренции, на вилле, от ваших слуг.

Она подняла голову и взглянула на меня. На сей раз в ее глазах не было слез, не было затаенного смеха: они смотрели пристально, испытующе, и мне показалось, что я прочел в них сострадание и упрек.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Вы ездили во Флоренцию? — спросила она. — Когда? Давно?

— Я вернулся недели три назад, — ответил я. — Я был там и возвратился через Францию. Во Флоренции я провел всего одну ночь. Ночь на пятнадцатое августа.

— Пятнадцатое августа? — Ее голос звучал по-новому, в глазах блеснуло воспоминание. — Но я только накануне выехала в Геную... Это невозможно.

— Настолько же возможно, насколько истинно, — сказал я, — так и было.

Вышивание выпало из рук кузины Рейчел, и ее глаза вновь засветились странным, почти провидческим светом.

— Почему вы мне ничего не сказали? — спросила она. — Почему дали мне провести целые сутки в вашем доме и ни словом не обмолвились о своей поездке во Флоренцию? Вчера вечером вам следовало рассказать о ней, вчера вечером.

— Я думал, вы знаете, — сказал я. — Я просил крестного написать вам.

Во всяком случае, что есть, то есть. Теперь вам все известно.

Во мне заговорила трусость; я отчаянно надеялся, что на этом мы оставим неприятную тему и кузина Рейчел снова примется за вышивание.

— Вы ездили на виллу, — сказала она как бы про себя. — Джузеппе, конечно, впустил вас. Открыл калитку, увидел вас и подумал...

Она внезапно умолкла, ее глаза затуманились, и она перевела взгляд на огонь.

— Я хочу, Филипп, чтобы вы все рассказали мне.

Я сунул руку в карман и нащупал письма.

— Я давно не получал вестей от Эмброза, с самой Пасхи, а то и с Масленицы, точно не помню, но все его письма у меня наверху. Я начал беспокоиться. Неделя проходила за неделей. И вот в июле пришло письмо. Всего на одной странице. Очень не похожее на него — сплошные каракули. Я показал его крестному, Нику Кендаллу, и он

согласился, что мне надо немедленно отправиться во Флоренцию. Так я и сделал через день или два. Когда я уезжал, пришло еще одно письмо — всего несколько фраз. Оба письма у меня в кармане.

Хотите взглянуть на них?

Она ответила не сразу. Она отвернулась от камина и вновь смотрела на меня. В ее глазах светилась воля, но не подавляющая и властная, а затаившаяся, спокойная, будто она обладала даром читать в моем сердце и, понимая, что сопротивление не сломлено, зная его причину, побуждала меня продолжать.

— Не сейчас, — сказала она. — Потом.

Я перевел взгляд на ее руки. Они лежали на коленях, плотно сжатые, маленькие, неподвижные. Мне почему-то было легче говорить, глядя на ее руки, а не в лицо.

— Я прибыл во Флоренцию, — сказал я, — нанял экипаж и поехал на вашу виллу. Служанка открыла калитку, и я спросил об Эмброзе. Она как будто испугалась и позвала мужа. Он вышел и сообщил мне, что Эмброс умер, а вы уехали. Он показал мне виллу. Я видел комнату, где Эмброс умер. Перед самым моим уходом женщина открыла сундук и дала мне шляпу Эмброза. Это единственная вещь, которую вы забыли взять с собой.

Я замолчал, не сводя глаз с ее рук. Пальцы правой руки касались кольца, надетого на левой. Я заметил, что они судорожно сжали его.

— Продолжайте, — сказала она.

— Я вернулся во Флоренцию. Ваш слуга дал мне адрес синьора Райнальди.

Я посетил его. Увидев меня, он смутился от неожиданности, но быстро оправился. Он подробно рассказал о болезни и смерти Эмброза и вручил мне записку к смотрителю протестантского кладбища на случай, если я захочу посетить могилу, чего я отнюдь не хотел. Я осведомился, где можно вас найти, но он сделал вид, что не знает. Вот и все. На следующий день я отправился в обратный путь.

Последовала еще одна пауза. Пальцы, сжимавшие кольцо, расслабились.

— Могу я взглянуть на письма? — спросила она.

Я вынул письма из кармана и протянул ей. Глядя в огонь, я услышал шорох бумаги — она разворачивала письмо. Наступило долгое молчание. Затем она спросила:

— Только эти два?

— Только эти два, — ответил я.

— И до них, как вы говорите, ничего — с Пасхи или Масленицы?

— Ничего.

Наверное, она перечитывала письма еще и еще раз, наизусть запоминая каждое слово, как когда-то я.

Наконец она вернула их мне.

— Как же вы меня ненавидели... — медленно проговорила она.

Я вздрогнул и поднял глаза. Мы смотрели друг на друга, и мне казалось, что теперь она знает все мои фантазии, все сны, что перед ней одно за другим проходят лица женщин, порожденных моим воображением за эти долгие месяцы.

Отрицать было бесполезно, возражать — нелепо. Барьеры рухнули. Меня охватило странное чувство, будто я сижу на стуле совершенно голый.

— Да, — сказал я.

Стоило мне произнести это, как я испытал облегчение. Возможно, подумал я, католик на исповеди испытывает то же самое. Вот оно, очищение. Бремя снято. А вместо него — пустота.

— Почему вы пригласили меня? — спросила она.

— Чтобы предъявить вам обвинения, — ответил я.

— Обвинения — в чем?

— Точно не знаю. Возможно, в том, что вы разбили его сердце, а это равносильно убийству, не так ли?

— И потом?

— Так далеко я не загадывал. Больше всего на свете я хотел заставить вас страдать. Смотреть, видеть, как вы страдаете. А потом, полагаю, отпустить вас.

— Как великодушно... Более великодушно, чем я заслуживаю. Однако вы добились успеха. Смотрите же — пока не насытитесь!

В обращенных на меня глазах что-то происходило. Лицо было очень бледным и спокойным; оно не изменилось. Даже если бы я своим каблуком стер это лицо в порошок, остались бы глаза, полные слез, которые так и не упали с ресниц, не потекли по щекам.

Я встал со стула и пошел в противоположный конец комнаты.

— Бесполезно, — сказал я. — Эмброз всегда говорил, что из меня выйдет никудышный солдат. Я не могу убивать хладнокровно. Прошу

вас, ступайте к себе наверх, куда угодно, только не оставайтесь здесь. Моя мать умерла, прежде чем я успел ее запомнить, и я никогда не видел, как плачет женщина.

Я открыл дверь. Но она продолжала сидеть у огня, она не шелохнулась.

— Кузина Рейчел, идите наверх, — повторил я.

Не знаю, как звучал мой голос, может быть, слишком резко или слишком громко, но старик Дон, лежа на полу, поднял голову и устремил на меня хмурый собачий взгляд, проникающий в самую душу, затем потянулся, зевнул, подошел к кухне Рейчел и положил морду ей на колени. Только тогда она шевельнулась.

Опустила руку и коснулась его головы. Я закрыл дверь и вернулся к камину. Я взял оба письма и бросил их в огонь.

— И это бесполезно, — проговорила она, — мы оба помним, что он сказал.

— Я могу забыть, — сказал я, — если вы тоже забудете. В огне есть особая, очистительная сила. Ничего не останется. Пепел не в счет.

— Если бы вы были хоть немного старше, — сказала она, — или ваша жизнь была бы иной, если бы вы были кем угодно, но не тем, кто вы есть, и не любили бы его так сильно, я поговорила бы с вами об этих письмах и об Эмброзе. Но не стану; уж лучше я смирюсь с вашим осуждением. В конце концов, это проще для нас обоих. Если позволите мне остаться до понедельника, в понедельник я уеду, и вам больше никогда не придется вспоминать обо мне.

Хоть это и не входило в ваши намерения, вчера вечером и сегодня я была глубоко счастлива. Благодарю вас, Филипп.

Я разворошил угли сапогом, и пепел рассыпался.

— Я не осуждаю вас, — сказал я. — Все вышло не так, как я думал и рассчитывал. Я не могу ненавидеть женщину, которой не существует.

— Но я существую, существую!

— Вы не та женщина, которую я ненавидел. И этим все сказано.

Она продолжала гладить Дона по голове.

— Та женщина, — сказала она, — которую вы рисовали в своем воображении, обрела конкретные черты, когда вы прочли письма или раньше?

Я на минуту задумался, а затем излил в потоке слов все, что было у меня на душе. К чему копить злобу?

— Раньше, — медленно проговорил я. — В каком-то смысле я испытал облегчение, когда пришли эти письма. Они дали причину ненавидеть вас. До этого у меня не было никаких оснований, и мне было стыдно.

— Стыдно? Почему?

— Потому что нет ничего столь саморазрушительного, нет чувства столь же презренного, как ревность.

— Вы ревновали...

— Да. Как ни странно, теперь я могу признаться. С самого начала, как только он сообщил мне о своей женитьбе. Может быть, даже раньше возникла какая-то тень подозрения. Не знаю. Все ждали, что я обрадуюсь также, как они, но это было невозможно. Должно быть, вы сочтете мою ревность бурной и нелепой. Как ревность избалованного ребенка. Возможно, я таким и был, да и сейчас такой. Беда моя в том, что в целом мире я никого не знал и не любил, кроме Эмброза.

Теперь я размышлял вслух, не заботясь, что обо мне подумают. Я облекал в слова то, в чем прежде не признавался даже самому себе.

— Не было ли это и его бедой? — сказала она.

— О чем вы?

Она сняла руку с головы Дона и, опершись локтями о колени, положила подбородок на ладони.

— Вам только двадцать четыре года, — сказала она, — у вас вся жизнь впереди, возможно, годы счастья, конечно, семейного счастья с любимой женой, с детьми. Ваша любовь к Эмброзу не уменьшится, но постепенно займет надлежащее место. Как всякая любовь сына к отцу. Ему это было не суждено. Он слишком поздно женился.

Я опустил на одно колено перед огнем и раскурил трубку. Я и не подумал просить разрешения. Я знал, что она не будет возражать.

— Почему — слишком поздно? — спросил я.

— Ему было сорок три, когда два года назад он приехал во Флоренцию и я впервые увидела его. Вы знаете, как он выглядел, как говорил, знаете его привычки, его улыбку. Вы были с ним с младенчества. Но вам не дано знать, какое впечатление все это

произвело на женщину, которая не была счастлива, которая знала мужчин — мужчин, так не похожих на него.

Я ничего не сказал, но, думаю, понял.

— Не знаю, что его привлекло во мне, но что-то, видимо, привлекло, — сказала она. — Такие вещи необъяснимы. Кто может сказать, почему именно этот мужчина любит именно эту женщину, какие причудливые химические соединения в крови влекут нас друг к другу? Мне, одинокой, мятущейся, пережившей слишком много душевных потрясений, он явился как спаситель, посланный в ответ на молитву. Такой сильный и такой нежный, чуждый малейшего самомнения, — я никогда не встречала ничего подобного. Это было откровение.

Я знаю, чем он был для меня. Но чем была для него я...

Она замолчала и, слегка нахмурясь, смотрела в огонь. Пальцы ее вновь вертели кольцо на левой руке.

— Он был похож на спящего, который неожиданно проснулся и увидел мир, — продолжала она, — всю его красоту и всю печаль. Голод и жажду. Все, чего он никогда не знал, о чем никогда не думал, предстало перед ним в преувеличенном виде, воплотилось в одном-единственном человеке, которым случайно или по воле судьбы, если вам угодно, оказалась я. Райнальди — которого он ненавидел, вероятно, так же, как вы, — однажды сказал мне, что я открыла ему глаза, как иным открывает глаза религия. Его охватила такая же одержимость. Но человек, приобщившийся к религии, может уйти в монастырь и целыми днями молиться перед образом Богородицы в алтаре. Она сделана из гипса и не меняется. С женщинами не так, Филипп. Их настроения меняются со сменой дня и ночи, иногда даже с часа на час, как и настроение мужчины. Мы люди, и это наш недостаток.

Я не понял, что она имела в виду, говоря о религии. На память мне пришел только старик Исая из Сент-Блейзи, который заделался методистом и ходил босиком, проповедуя на улицах. Он взывал к Иегове и говорил, что и сам он, и все остальные — жалкие грешники в глазах Всевышнего и нам надо неустанно стучаться во врата Нового Иерусалима. Я не видел решительно никакой связи между подобными действиями и Эмброзом. У католиков, конечно, все по-другому. Наверное, она имеет в виду, что Эмброс относился к ней как к кумиру

из Десяти заповедей. «Не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их».

— Вы хотели сказать, что он ждал от вас слишком многого? — спросил я.

— Возвел вас на некий пьедестал?

— Нет, — ответила она. — После моей горькой жизни я с радостью согласилась бы на пьедестал. Нимб — прекрасная вещь, если его можно иногда снимать и становиться человеком.

— Но что же тогда?

Она вздохнула и уронила руки. Ее лицо неожиданно сделалось усталым. Она откинулась на спинку кресла и, положив голову на подушку, закрыла глаза.

— Обретение религии не всегда способствует совершенствованию человека, — сказала она. — То, что у Эмброза открылись глаза на мир, не помогло ему.

Изменилась его сущность.

Ее голос звучал утомленно и непривычно глухо. Если я говорил с ней, как на исповеди, — может быть, и она была не менее откровенна. Она полулежала в кресле, прикрыв глаза руками.

— Изменилась? — спросил я. — Но как?

Сердце у меня упало — такое мы испытываем в детстве, когда вдруг узнаем о смерти, зле или жестокости.

— Позднее врачи говорили мне, — сказала она, — что из-за болезни он утратил контроль над собой, что свойства характера, дремавшие на протяжении всей его жизни, под влиянием боли и страха поднялись на поверхность. Встреча со мной принесла ему краткое мгновение экстаза... и катастрофу. Вы были правы, что ненавидели меня. Если бы он не приехал в Италию, то сейчас был бы здесь с вами. Он бы не умер.

Мне стало стыдно. Я смутился и не знал, что сказать.

— Точно так же он мог заболеть и здесь, — проговорил я, словно для того, чтобы помочь ей. — И тогда не вы, а я был бы виновником всего случившегося.

Она отвела руки от лица, посмотрела на меня и улыбнулась.

— Он так сильно любил вас! — сказала она. — Можно было подумать, что вы его сын, так он вами гордился. Всегда «мой Филипп сделал бы то», «мой мальчик сделал бы это». Ах, Филипп, раз вы все

полтора года ревновали ко мне, думаю, мы квиты. Бог свидетель, иногда мне хватило бы вас и в меньших дозах.

Я ответил на ее взгляд и медленно улыбнулся.

— Вы тоже рисовали себе картины? — спросил я.

— Без конца, — ответила она. — Этот избалованный мальчик, говорила я себе, постоянно пишет ему письма, из которых он вечно читает отрывки, но целиком никогда не показывает. Мальчик, у которого нет недостатков, одни сплошные достоинства. Мальчик, который понимает его, а мне это никак не удастся. Мальчик, который владеет тремя четвертями его сердца и всем, что есть в нем лучшего. Мне же остается одна четверть и все худшее. Ах, Филипп... — Она улыбнулась мне. — И вы говорите о ревности!.. Ревность мужчины порывиста, глупа и лишена глубины, как ревность ребенка. Ревность женщины — ревность взрослого человека, а это совсем другое.

Она вынула подушку из-под головы и взбила ее. Затем одернула платье и выпрямилась в кресле.

— Пожалуй, для одного вечера мы достаточно наговорились.

Она наклонилась и подняла с пола рукоделие.

— Я не устал, — возразил я. — Я мог бы продолжать еще и еще. То есть не сам говорить, а слушать вас.

— У нас есть завтра, — сказала она.

— Почему только завтра?

— Потому что в понедельник я уезжаю. Я приехала всего на два дня. Ваш крестный Ник Кендалл пригласил меня в Пелин.

Мне показалось нелепым и совершенно бессмысленным, что она собирается уезжать.

— Вы не успели приехать и уже уезжаете, — сказал я. — У вас будет время для визита в Пелин. Вы не видели еще и половины имения. Что подумают слуги, арендаторы? Они почувствуют себя оскорбленными.

— Неужели?

— Кроме того, — сказал я, — из Плимута едет рассылный с растениями и саженцами. Вы должны обсудить с Тамлином, что с ними делать. А вещи Эмброза? Их надо разобрать.

— Я думала, вы сами сможете это сделать, — сказала она.

— Но ведь мы могли бы вместе заняться ими!

Я поднялся с кресла, потянулся и пнул Дона.

— Просыпайся, — сказал я. — Хватит сопеть, давно пора идти в конуру к приятелям.

Дон пошевелился и заворчал.

— Ленивая бестия, — сказал я и взглянул на кузину Рейчел.

Она смотрела на меня с таким странным выражением, будто сквозь меня вглядывалась в кого-то другого.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего, — ответила она, — право, ничего... Не могли бы вы взять свечу и проводить меня до моей комнаты?

— Хорошо, — сказал я, — а потом отведу Дона.

Свечи лежали на столике у двери. Она взяла одну из них, и я зажег ее. В холле было темно, но на верхней площадке Сиком оставил свет.

— Благодарю вас, — сказала она, — дальше я сама найду дорогу.

На лестнице она помедлила. Ее лицо оставалось в тени, в одной руке она держала подсвечник, другой придерживала подол платья.

— Вы все еще ненавидите меня? — спросила она.

— Нет, — ответил я. — Я же сказал вам, что это были не вы, а совсем другая женщина.

— Вы уверены, что другая?

— Абсолютно уверен.

— В таком случае, доброй ночи. И спите спокойно.

Она повернулась, чтобы уйти, но я удержал ее за руку.

— Подождите, — сказал я, — теперь моя очередь задать вопрос.

— Какой вопрос, Филипп?

— Вы все еще ревнуете ко мне, или это тоже другой человек, а вовсе не я?

Она рассмеялась и дала мне руку:

— Противный мальчишка, такой избалованный и чопорный? Ах, он перестал существовать вчера, как только вы вошли в будуар тетушки Фебы.

Она вдруг наклонилась и поцеловала меня в щеку.

— Вот вам самый первый в жизни, — сказала она, — и, если он вам не нравится, можете сделать вид, что получили его не от меня, а от той, другой, женщины. — Она стала медленно подниматься по лестнице, и пламя свечи отбрасывало на стену темную, загадочную тень.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

По воскресеньям мы много лет придерживались раз и навсегда заведенного распорядка дня. Завтракали позже обычного, в девять часов, а в четверть одиннадцатого экипаж вез Эмброза и меня в церковь. Слуги следовали за нами в линейке. По окончании службы они возвращались к обеду, который для них также накрывали позже — в час пополудни. Сами мы обедали в четыре часа в обществе викария и миссис Паско, иногда одной или двух из их незамужних дочерей и, как правило, моего крестного и Луизы. С тех пор как Эмброс уехал за границу, я не пользовался экипажем и ездил в церковь верхом на Цыганке, чем, по-моему, давал повод для толков, хотя и не знаю почему.

В то воскресенье в честь гостыи я решил вернуться к старому обычаю и распорядился заложить экипаж. Кузина Рейчел, которую Сиком предупредил об этом событии, принеся ей завтрак, спустилась в холл с десятым ударом часов.

Я смотрел на нее, и мне казалось, что после вчерашнего вечера я могу говорить ей все, что захочу. И меня не остановят ни страх, ни обида, ни обыкновенная учтивость.

— Небольшое предостережение, — сказал я, поздоровавшись. — В церкви все взгляды будут устремлены на вас. Даже лентяи, которые под разными предлогами остаются в постели, сегодня не усидят дома. Они будут стоять в приделах и, чего доброго, на цыпочках.

— Вы меня пугаете, — сказала она. — Лучше я не поеду.

— И выкажете неуважение, — заметил я, — которого не простят ни вам, ни мне.

Она серьезно посмотрела на меня:

— Я не уверена, что знаю, как себя вести. Я воспитана в католической вере.

— Держите это при себе, — предупредил я. — В этой части света полагают, что папистам уготовано адское пламя. По крайней мере, так говорят.

Смотрите внимательно, что я буду делать. Я вас не подведу.

К дому подкатил экипаж. Веллингтон, в вычищенной шляпе с кокардой, надулся от важности, как зобатый голубь. Грум сидел от него по правую руку.

Сиком — в накрахмаленном галстуке, в воскресном сюртуке — стоял у главного входа с не менее величественным видом. Такие события случаются раз в жизни.

Я помог кухне Рейчел войти в экипаж и сел рядом. На ней была темная накидка, лицо скрывала вуаль, спадавшая со шляпки.

— Люди захотят увидеть ваше лицо, — сказал я.

— Что ж, им придется остаться при своем желании.

— Вы не понимаете, — сказал я. — В их жизни не случилось ничего подобного. Вот уже почти тридцать лет. Старики, пожалуй, еще помнят мою тетушку и мою мать, но на памяти тех, кто помоложе, ни одна миссис Эшли не приезжала в церковь. Кроме того, вы должны просветить их невежество. Им приятно, что вы приехали из заморских краев. Откуда им знать, что итальянцы не чернокожие!

— Прошу вас, успокойтесь, — прошептала она. — Судя по спине Веллингтона, на козлах слышно все, что вы говорите.

— Не успокоюсь, — настаивал я, — дело очень серьезное. Я знаю, как быстро распространяются слухи. Вся округа усядется за воскресный обед, качая головой и говоря, что миссис Эшли — негритянка.

— Я подниму вуаль в церкви, и ни минутой раньше, — сказала она. — Когда опущусь на колени. Пусть тогда смотрят, если им так хочется, но, право, им не следовало бы этого делать. Они должны смотреть в молитвенник.

— Наше место отгорожено высокой скамьей с занавесями, — объяснил я.

— Когда вы опуститесь на колени, вас никто не увидит. Можете играть в шарик, если хотите. Ребенком я так и делал.

— Ваше детство! — сказала она. — Не говорите о нем. Я знаю его во всех подробностях. Как Эмброс рассчитал вашу няньку, когда вам было три года. Как он вынул вас из юбочки и засунул в штаны. Каким чудовищным способом он обучил вас алфавиту. Меня ничуть не удивляет, что в церкви вы играли в шарик. Странно, что вы не вытворяли чего-нибудь похуже.

— Однажды натворил, — сказал я. — Принес в кармане белых мышей и пустил их бегать по полу. Они вскарабкались по юбке одной старой дамы с соседней скамьи. С ней случилась истерика, и ее пришлось вывести.

— Эмброз вас за это не высек?

— О нет! Он-то и выпустил мышей на пол.

Кузина Рейчел показала на спину Веллингтона. Его плечи напряглись, уши покраснели.

— Сегодня вы будете вести себя прилично, или я выйду из церкви, — сказала она.

— Тогда все решат, что у вас истерика, — сказал я, — и крестный с Луизой бросятся вам на помощь. О Господи...

Я не закончил фразы и в ужасе хлопнул рукой по колену.

— В чем дело?

— Я только сейчас вспомнил, что обещал приехать вчера в Пелин повидаться с Луизой. Совсем забыл об этом. Она, наверное, прождала меня целый день.

— Не слишком любезно с вашей стороны, — сказала кузина Рейчел. — Надеюсь, она вас как следует отчитает.

— Я во всем обвиню вас, — сказал я, — и это будет сущей правдой.

Скажу, что вы потребовали показать вам Бартонские земли.

— Я бы не просила вас об этом, — заметила она, — если бы знала, что вам надо быть в другом месте. Почему вы мне ничего не сказали?

— Потому что я совсем забыл.

— На месте Луизы, — сказала она, — я бы обиделась. Для женщины худшего объяснения не придумаешь.

— Луиза не женщина, — сказал я. — Она моложе меня, и я знаю ее с тех пор, когда она бегала в детской юбочке.

— Это не оправдание. Как бы то ни было, у нее есть самолюбие.

— Ничего страшного, она скоро отойдет. За обедом мы будем сидеть рядом, и я скажу ей, как хорошо она расставила цветы.

— Какие цветы?

— Цветы в доме. Цветы в вашем будуаре, в спальне. Она специально приезжала расставить их.

— Как трогательно.

— Она полагала, что Сиком не справится с этим.

— Я ее понимаю. Она проявила тонкость чувств и большой вкус. Особенно мне понравилась ваза на камине в будуаре и осенние крокусы у окна.

— А разве на камине была ваза? — спросил я. — И у окна тоже? Я не заметил ни ту, ни другую. Но я все равно похвалю ее. Надеюсь, она не попросит описать их.

Я взглянул на кузину Рейчел, рассмеялся и увидел, что ее глаза улыбаются мне сквозь вуаль. Но она покачала головой.

Мы спустились по крутому склону холма, свернули на дорогу и, въехав в деревню, приближались к церкви. Как я и думал, у ограды стояло довольно много народу. Я знал большинство собравшихся, но там были и те, кто пришел только из любопытства. Когда экипаж остановился у ворот и мы вышли, среди прихожан началась небольшая давка. Я снял шляпу и подал кузине Рейчел руку.

Мне не раз доводилось видеть, как крестный подает руку Луизе. Мы пошли по дорожке к паперти. Все взгляды были устремлены на нас. До самой последней минуты я ожидал, что в столь непривычной роли буду чувствовать себя дураком, но вышло совсем наоборот. Я испытывал уверенность, гордость и какое-то непонятное удовольствие. Я пристально смотрел прямо перед собой, не глядя ни вправо, ни влево, и при нашем приближении мужчины снимали шляпы, а женщины приседали в реверансе. Я не помнил, чтобы они хоть раз так же приветствовали меня, когда я приезжал один. В конце концов, для них это было целое событие.

Когда мы входили в церковь, звонили колокола, и все, кто уже сидел на своих местах, оборачивались посмотреть на нас. Скрипели сапоги мужчин, шуршали юбки женщин. Направляясь через придел к нашему месту, мы прошли мимо скамьи Кендаллов. Краешком глаза я взглянул на крестного: он сидел с задумчивым лицом, нахмурив густые брови. Его, несомненно, занимал вопрос, как я вел себя последние двое суток. Хорошее воспитание не позволяло ему смотреть ни на меня, ни на мою спутницу. Луиза сидела рядом с отцом, чопорная, прямая как струна. По ее надменному виду я понял, что все-таки оскорбил ее. Но когда я отступил на шаг, чтобы пропустить кузину Рейчел вперед, любопытство взяло свое. Луиза подняла глаза и уставилась на мою гостью, затем поймала мой взгляд

и вопросительно вскинула брови. Я притворился, будто ничего не заметил, и закрыл за собой дверцу. Прихожане склонились в молитве. Непривычно было ощущать рядом присутствие женщины.

Память перенесла меня в детство, в те дни, когда Эмброз стал брать меня в церковь и мне приходилось стоять на табурете и смотреть поверх спинки передней скамьи. Следуя примеру Эмброза, я держал в руках молитвенник — часто вверх ногами — и, когда наступало время произносить слова ответственности, как эхо, повторял его бормотание, нисколько не задумываясь над смыслом. Став повыше ростом, я всегда отдергивал занавеси и разглядывал собравшихся в церкви, наблюдал за пастором и мальчиками-хористами, а еще позже, приезжая из Харроу на каникулы, поглядывал на Эмброза, который, если проповедь затягивалась, дремал, скрестив руки на груди. Теперь, когда я вступил в пору зрелости, церковь стала для меня местом размышлений. Но — и я с сожалением признаюсь в этом — размышлений не над моими слабостями и недостатками, а над планами на ближайшую неделю, над тем, что надо сделать на полях или в лесу, что надо сказать племяннику Сикома, какие распоряжения я забыл отдать Тамлину. Я сидел на нашей скамье в полном одиночестве, замкнувшись в себе; ничто не нарушало течения моих мыслей, никто не претендовал на мое внимание.

Я пел псалмы, произносил ответственности, следуя давней привычке. Но в то воскресенье все было иначе. Я постоянно ощущал близость кухни Рейчел. Не могло быть и речи, будто она не знает, что и как ей следует делать.

Казалось, она всю жизнь по воскресеньям посещала англиканскую церковь. Она сидела, не сводя с vicar серьезного взгляда, и, когда пришло время преклонить колени, я заметил, что она действительно опустилась на колени, а не просто сделала вид, оставаясь сидеть, как мы с Эмброзом. Она не шуршала платьем, не вертела головой, не гладела по сторонам, как миссис Паско и ее дочери — их скамья находилась в боковом приделе, и пастор не мог их видеть.

Когда мы запели гимн, она откинула вуаль, и я видел, как шевелятся ее губы, хоть и не слышал голоса. Мы сели, чтобы выслушать проповедь, и она снова опустила вуаль.

Я принялся размышлять о том, какая женщина последней сидела на местах семейства Эшли. Может быть, тетушка Феба, которая и здесь вздыхала о своем викарии, или жена дяди Филиппа, отца Эмброза, которую я никогда не видел?

Возможно, здесь сидел и мой отец, прежде чем отправился воевать с французами и погиб, и моя молодая, болезненная мать, пережившая отца, как рассказывал Эмброз, всего на пять месяцев. Я никогда не думал о них, не ощущал их отсутствия — Эмброз заменил мне обоих. Но теперь, глядя на кухню Рейчел, я вдруг подумал о матери. Преклоняла ли она рядом с моим отцом колени, сидела ли во время проповеди, устало откинувшись на спинку скамьи и сложив руки?

Спешила ли после службы домой, чтобы поскорее войти в детскую и вынуть меня из колыбели? Монотонный голос мистера Паско гудел под сводами церкви, а я пытался представить себе свои детские ощущения в те минуты, когда мать держала меня на руках. Гладила ли она меня по голове, целовала в щеку и затем снова укладывала в колыбель? Мне вдруг стало жаль, что я не помню ее.

Почему память ребенка не может заглянуть глубже некоего предела? Я помнил себя маленьким мальчиком, который ковыляет за Эмброзом и, истошно крича, просит подождать его. И ничего из того, что было раньше. Совсем ничего...

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа...» Голос викария поднял меня на ноги. Из его проповеди я не услышал ни слова. Но и планов на ближайшую неделю не строил. Все это время я просидел, погруженный в неясные мечты, не сводя глаз с кухни Рейчел.

Я протянул руку за шляпой и коснулся ее руки.

— Вы отлично справились, — шепнул я, — но настоящее испытание для вас впереди.

— Благодарю, — так же шепотом ответила она, — ваше испытание тоже впереди. Вам предстоит искупить вину за нарушенное обещание.

Когда мы вышли из церкви на солнце, нас поджидала небольшая толпа арендаторов, знакомых и друзей; среди них — миссис Паско с дочерьми и крестный с Луизой. Один за другим они подходили представиться. Совсем как при дворе. Кузина Рейчел откинула вуаль,

и я подумал, что, как только мы останемся наедине, непременно подразню ее этим.

Пока мы шли по дорожке к экипажам, она обратилась ко мне при всех, чтобы я не имел возможности возразить:

— Филипп, может быть, вы проводите мисс Кендалл к своему экипажу, а я поеду с мистером Кендаллом?

По ее тону я сразу понял, что она сделала это намеренно.

— О да, разумеется, если вам так угодно, — ответил я.

— По-моему, прекрасное сочетание, — улыбаясь, сказала она крестному, который, в свою очередь, поклонился и предложил ей руку.

Они дружно свернули к экипажу Кендаллов, и мне ничего другого не оставалось, как вместе с Луизой сесть в свой экипаж, стоявший ближе.

Я чувствовал себя школьником, которого отшлепали. Веллингтон взмахнул хлыстом, и лошади тронули.

— Послушай, Луиза, извини меня, — сразу начал я. — Так уж вышло, что вчера я весь день не мог отлучиться. Кузина Реичел пожелала осмотреть Бартонские акры, и мне пришлось сопровождать ее. Сообщить тебе не было времени, иначе я послал бы мальчика с запиской.

— Ах, не извиняйся, — сказала Луиза. — Я прождала часа два, но это не важно. К счастью, погода была хорошая, и я за это время набрала целую корзину черной смородины.

— Вышло крайне неловко, — сказал я. — Мне действительно очень жаль.

— Я догадалась, что тебя задержало нечто в этом роде. Ничего серьезного не произошло, и слава Богу. Я ведь знаю твоё отношение к её визиту и не на шутку боялась, не натворил ли ты чего-нибудь ужасного, не дай Бог затеял ссору, и мы вдруг увидим твою гостью у своих дверей. Ну, так что же произошло? Неужели тебе пока удалось избежать столкновения? Расскажи, расскажи мне обо всем.

Я надвинул шляпу на глаза и скрестил руки на груди:

— Обо всем? Что значит — обо всем?

— Ну, все... Что ты ей сказал, как она это приняла. Пришла в ужас или сделала вид, будто ни в чем не виновата?

Луиза говорила тихо, и Веллингтон не мог её слышать. Но я тем не менее почувствовал раздражение, и настроение у меня

окончательно испортилось.

Нашла время для таких разговоров! Да и кто дал ей право допрашивать меня?!

— Нам некогда особенно было разговаривать, — ответил я. — В первый вечер она очень устала и рано легла спать. Весь вчерашний день занял обход имения. Утром — сад, днем — Бартонские акры.

— Значит, серьезного разговора у вас так и не было?

— Все зависит от того, что ты считаешь серьезным разговором. Я знаю одно: она совсем не та, за кого я ее принимал. Да ты и сама видела и могла догадаться.

Луиза молчала. Она не откинулась, как я, на спинку сиденья, а спрятала руки в муфту и сидела, словно аршин проглотив.

— Она очень красивая, — наконец сказала она.

Я снял ноги с противоположной скамьи, повернул голову и уставился на нее.

— Красивая? — изумленно переспросил я. — Луиза, дорогая, да ты, верно, с ума сошла!

— Ах нет... Вовсе нет, — возразила она. — Спроси отца, спроси кого угодно. Ты не заметил, как все глазели на нее, когда она подняла вуаль? Если нет, то только потому, что ничего не понимаешь в женщинах.

— В жизни не слышал подобного вздора, — сказал я. — Возможно, у нее красивые глаза, но в остальном она совершенно заурядная. Самая заурядная особа, какую я когда-либо встречал. Еще бы, я могу сказать ей все, что захочу, могу говорить обо всем. При ней мне не надо напускать на себя какие-то особые манеры; в целом свете нет ничего легче, как просто сидеть напротив нее и курить трубку.

— Кажется, ты сказал, что у тебя не было времени поговорить с ней?

— Не придирайся к словам. Разумеется, мы разговаривали за обедом и в поле. Я хотел сказать, что это было нетрудно.

— Вероятно.

— А что до красоты, надо будет сказать ей. То-то она посмеется!

Естественно, люди глазели на нее. Глазели, потому что она — миссис Эшли.

— И поэтому тоже. Но не только. Как бы то ни было, заурядна она или нет, на тебя она, похоже, произвела большое впечатление.

Конечно, она среднего возраста. Я дала бы ей лет тридцать пять, а ты? Или ты думаешь, что ей меньше?

— Не имею ни малейшего понятия, Луиза, и не хочу иметь. Возраст меня не интересует. По мне, хоть девяносто девять.

— Не будь смешным. В девяносто девять у женщин не бывает таких глаз и такого цвета лица. Она умеет одеваться. Ее платье прекрасно сшито, да и накидка тоже. Траур не выпядит на ней унылым.

— Боже мой, Луиза, можно подумать, ты — миссис Паско. Никогда не слышал от тебя такой чисто женской болтовни.

— А я от тебя — таких восторженных речей. Так что услуга за услугу.

Какая перемена, и всего за сорок восемь часов! Впрочем, один человек вздохнет с облегчением — это мой отец. После вашей последней встречи он опасался кровопролития, и ничего удивительного...

Слава Богу, начался крутой подъем, и я, как всегда на этом месте, вышел из экипажа и вместе с грумом пошел пешком, чтобы лошадям было легче подниматься в гору. Что за причуды? Как это не похоже на Луизу... Нет чтобы почувствовать облегчение оттого, что визит кузины Рейчел проходит гладко; она расстроена, почти сердита. Такое поведение — отнюдь не лучшая форма проявления дружеских чувств. Когда мы поднялись на вершину холма, я снова сел рядом с Луизой, но весь остаток пути мы не обмолвились ни словом. Это было крайне нелепо, но я твердо решил, что раз она не делает попыток прервать молчание, то будь я проклят, если заговорю первым. Про себя я не мог не отметить, насколько поездка в церковь была приятнее возвращения домой.

Интересно, подумал я, как проехала парочка в другом экипаже? По-видимому, вовсе недурно. Мы вышли из экипажа; Веллингтон отъехал, уступая дорогу, и мы с Луизой остановились в дверях подождать крестного и мою кузину. Они непринужденно беседовали — как старые друзья, и крестный, обычно такой неразговорчивый, с увлечением о чем-то разглагольствовал.

Уловив слова «постыдный» и «страна этого не поддержит», я понял, что он оседлал любимого конька и рассуждает о правительстве

и оппозиции. Я готов был биться об заклад, что он и не подумал помочь лошадям и пешком подняться на холм.

— Хорошо доехали? — осведомилась кузина Рейчел, стараясь поймать мой взгляд.

Ее губы подрагивали, и я мог поклясться, что она догадывалась, какова была наша поездка.

— Да, благодарю вас, — ответила Луиза и вежливо посторонилась, пропуская мою гостью вперед.

Но кузина Рейчел взяла ее за руку и сказала:

— Пойдемте ко мне в комнату. Там вы снимете накидку и шляпу. Я хочу поблагодарить вас за прекрасные цветы.

Едва мы с крестным успели вымыть руки и обменяться парой слов, как пожаловало семейство Паско в полном составе, и на мою долю выпала почетная миссия сопровождать викария с дочерьми в прогулке по саду. Что же касается супруги викария, то миссис Паско, словно напавшая на след гончая, отправилась наверх и присоединилась к дамам. Она никогда не видела голубую комнату без чехлов... Дочери викария наперебой расхваливали мою кухню и, как недавно Луиза, заявили, что находят ее красивой. Мне доставило истинное удовольствие сообщить им, что лично я нахожу ее слишком маленькой и самой что ни на есть обыкновенной. В ответ я услышал протестующий визг.

— О нет, не обыкновенная, — задумчиво изрек мистер Паско, приподнимая тростью головку гортензии, — безусловно, не обыкновенная. Но и красивой, как считают девочки, я бы ее не назвал. А вот женственной... да-да, именно женственной...

— Но папа, — сказала одна из дочерей, — вы же и не предполагали, что миссис Эшли может быть другой?

— Моя дорогая, — возразил викарий, — ты не поверишь, сколь многие женщины лишены именно этого качества.

Я подумал о миссис Паско с ее лошадиным лицом и поспешил привлечь внимание гостей к молодым пальмам, привезенным Эмброзом из Египта, которые они наверняка видели не раз, и тем самым переменял — как мне казалось, довольно тактично — тему разговора.

Когда мы вернулись в дом и прошли в гостиную, миссис Паско в повышенных тонах рассказывала про свою судомойку, которая

понесла от помощника садовника.

— ...Но где они успели? Вот чего я никак не могу понять, миссис Эшли.

Она жила в одной комнате с кухаркой и, насколько мне известно, никогда не отлучалась из дому.

— А как насчет погребца? — поинтересовалась кузина Рейчел.

С нашим приходом беседа мгновенно оборвалась.

С тех пор как Эмброз два года назад уехал, я не помнил, чтобы воскресенье пролетело так быстро. Даже при нем этот день часто тянулся бесконечно долго. Он недолго любил миссис Паско, терпел Луизу только потому, что она была дочерью его старшего друга, и всеми правдами и не правдами старался проводить время в тесной компании моего крестного и викария.

Вчетвером мы чувствовали себя свободно. Если же приезжали женщины, то часы казались днями. Это воскресенье было иным.

Я сидел во главе стола на месте Эмброза; кузина Рейчел — на противоположном конце, благодаря чему я получил в соседки миссис Паско, но впервые на моей памяти она не привела меня в ярость. Три четверти времени, проведенного нами за столом, ее крупное, горящее любопытством лицо было обращено в другой конец; она смеялась, она ела и даже забыла цыкать на мужа-викария, который, вероятно, впервые в жизни вылез из своей раковины и, покрасневшись, с пылающими глазами, то и дело принимался читать стихи. Все семейство Паско расцветало от удовольствия, и мне еще не приходилось видеть, чтобы крестный так веселился.

Только Луиза была молчалива и замкнута. Я делал все возможное, чтобы расшевелить ее, но она не замечала или не хотела замечать моих усилий. Она церемонно сидела слева от меня, почти ничего не ела и крошила хлеб с таким видом, будто напилась уксуса. Что ж, если ей угодно дуться, пусть дуется. Я от души развлекался, и мне было слишком хорошо, чтобы беспокоиться из-за нее. Я сгорбившись сидел на стуле и посмеивался над кузиной Рейчел, которая без устали подогревала поэтическое вдохновение викария. Это, думал я, самый фантастический воскресный обед, каждая его минута доставляет мне истинное удовольствие, и я отдал бы все на свете за то, чтобы Эмброз был с нами.

Когда мы покончили с десертом и на столе появился портвейн, я не знал, следует ли мне, как я всегда делал, встать и открыть дверь, или теперь, раз напротив меня сидит хозяйка, она должна подать знак. Беседа замерла. Кузина Рейчел взглянула на меня и улыбнулась. Я улыбнулся ей в ответ. Казалось, на какое-то мгновение наши руки соединились. Это было странно, необычно. Меня пронзило новое, неведомое прежде чувство.

И тут крестный спросил своим низким, хриплым голосом:

— Скажите, миссис Эшли, вы не находите, что Филипп поразительно похож на Эмброза?

Все замолкли. Она положила салфетку на стол.

— Настолько похож, что я весь обед спрашивала себя, а есть ли между ними вообще какое-нибудь различие...

Она встала. Остальные женщины тоже поднялись из-за стола, и я пошел в другой конец столовой, чтобы открыть дверь. Но когда они вышли и я вернулся на свое место, охватившее меня чувство не исчезло.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Гости уехали около шести часов — викарий должен был отправлять вечернюю службу в соседнем приходе. Я слышал, как миссис Паско взяла с кузины Рейчел обещание посетить ее в один из ближайших дней на следующей неделе и барышни Паско также заявили свои притязания на нее. Одна хотела получить совет по поводу акварелей; другая собиралась вышить несколько чехлов в технике гобелена и никак не могла решить, какую шерсть выбрать; третья каждый четверг читала вслух одной больной женщине в деревне, и не согласилась ли бы миссис Эшли пойти вместе с ней — бедняжка так хочет увидеть ее...

— Право, миссис Эшли, — проворковала миссис Паско, когда, пройдя холл, мы подходили к двери, — столь многие жаждут познакомиться с вами, что, думаю, в ближайшие четыре недели вы будете каждый день выезжать с визитами.

— Миссис Эшли может делать это из Пелина, — вмешался крестный. — От нас гораздо сподручнее ездить с визитами. Куда удобнее, чем отсюда. Склонен думать, что через день-другой миссис Эшли доставит нам удовольствие своим обществом.

Он искоса взглянул на меня, и я поспешил ответить, дабы отмести эту идею, пока дело не зашло слишком далеко.

— О нет, сэр, — сказал я, — кузина Рейчел пока останется здесь.

Прежде чем принимать приглашения со стороны, ей надо как следует познакомиться с имением. Мы начнем с того, что завтра отправимся пить чай в Бартон. Потом придет очередь остальных ферм. Если миссис Эшли строго по очереди не посетит каждого арендатора, они сочтут себя глубоко оскорбленными.

Я заметил, что Луиза во все глаза смотрит на меня, но не подал вида.

— О да, разумеется, — сказал крестный, тоже немало удивленный. — Совершенно верно, так и надо. Я бы и сам предложил миссис Эшли сопровождать ее в поездках по имению, но раз ты берешь это на себя, тогда другое дело. Но если, — продолжал он, повернувшись к кузине Рейчел, — вы почувствуете здесь какие-либо

неудобства (Филипп, я знаю, простит меня за такие слова, но, как вам, без сомнения, известно, в этом доме давно не принимали женщин, и посему могут возникнуть некоторые осложнения) или у вас появится желание побыть в женском обществе, я уверен, что моя дочь с радостью примет вас.

— В нашем доме есть комната для гостей, — вставила миссис Паско, — и если вам вдруг станет одиноко, миссис Эшли, помните, что она к вашим услугам. Мы будем просто счастливы видеть вас у себя.

— О, конечно, конечно, — подхватил викарий, и я подумал, не собирается ли он разразиться очередным стихотворением.

— Вы все очень добры и более чем великодушны, — сказала кузина Рейчел. — Когда я выполню свои обязанности здесь, в имении, мы об этом поговорим, не так ли? А пока примите мою благодарность.

Болтовня, трескотня, обмен прощаниями — и экипажи выехали на подъездную аллею.

Мы вернулись в гостиную. Видит Бог, день прошел достаточно приятно, но я был рад, что гости разъехались и в доме опять стало тихо. Наверное, она подумала о том же, потому что на мгновение остановилась и, оглядев комнату, сказала:

— Люблю тишину после ухода гостей. Стулья сдвинуты, подушки разбросаны, — все говорит, что люди хорошо провели время. Но возвращаясь в опустевшую комнату, и всегда приятно, что все кончилось, что можно расслабиться и сказать: вот мы и снова одни. Во Флоренции Эмброз не раз говорил мне, что можно и поскучать в компании гостей ради удовольствия, которое доставит их уход. Он был прав.

Я смотрел, как она разглаживает чехол на стуле, кладет на место подушку.

— Оставьте, — сказал я. — Завтра Сиком и Джон все приведут в порядок.

— Женская привычка, — объяснила она. — Не смотрите на меня. Сядьте и набейте трубку. Вы довольны прошедшим днем?

— Доволен, — ответил я и, сев на стул и вытянув ноги, добавил:

— Не знаю почему, но обычно воскресные дни наводят на меня ужасную скуку. Это от того, что я не любитель поговорить. А сегодня

от меня ничего не требовалось, я мог развалиться на стуле и предоставить вам говорить за меня.

— Вот когда женщины бывают кстати, — сказала она. — Это входит в их воспитание. Если разговор не ладится, инстинкт подсказывает им, что надо делать.

— Да, но у вас это выходит незаметно, — возразил я. — Миссис Паско совсем другая. Все говорит и говорит, пока у тебя не возникнет желания закричать. Обычно мужчинам не удавалось вставить ни слова. Ума не приложу, как вы сумели все так замечательно устроить.

— Значит, все было замечательно?

— Ну да, я же сказал вам.

— Тогда вам следует поскорее жениться на вашей Луизе и иметь в доме настоящую хозяйку, а не залетную птицу.

Я выпрямился на стуле и уставился на нее. Она поправляла волосы перед зеркалом.

— Жениться на Луизе? — переспросил я. — Не говорите глупостей. Я вообще не хочу жениться. И она вовсе не «моя» Луиза.

— Ах, — вздохнула кузина Рейчел. — А я думала — ваша. Во всяком случае, после разговора с вашим крестным у меня создалось именно такое впечатление.

Она села в кресло и взяла рукоделие. В эту минуту вошел молодой Джон, чтобы задернуть портьеры, и я промолчал. Но во мне все кипело. Кто дал крестному право высказывать подобные предположения?! Я ждал, когда Джон выйдет.

— А что говорил крестный? — спросил я.

— Точно не помню, — ответила она. — Когда мы возвращались в экипаже из церкви, он упомянул, что его дочь приезжала сюда, чтобы расставить цветы, и что вам крайне не повезло — вы выросли в доме, где одни мужчины, — и чем скорее вы обзаведетесь женой, которая будет заботиться о вас, тем лучше. Он сказал, что Луиза очень хорошо понимает вас, а вы ее. Вы извинились за свое невежливое поведение в среду?

— Да, извинился, — сказал я, — но мои извинения ни к чему не привели. Я никогда не видел Луизу в таком дурном настроении. Между прочим, она считает вас красивой. И барышни Паско тоже.

— Как лестно...

— А викарий с ними не согласен.

— Как досадно...

— Зато он находит вас женственной. Определенно женственной.

— Интересно в чем?

— Видимо, в том, что отличает вас от миссис Паско.

Она рассмеялась своим жемчужным смехом и подняла глаза от рукоделия.

— И как бы вы это определили, Филипп?

— Что определил?

— Разницу в нашей женственности — миссис Паско и моей.

— О, Бог свидетель, — сказал я, ударив по ножке стула, — я не разбираюсь в таких вещах. Просто мне нравится смотреть на вас и не нравится — на миссис Паско. Вот и все.

— Какой милый и простой ответ. Благодарю вас, Филипп.

Я мог бы упомянуть и ее руки. Мне нравилось смотреть на них. Пальцы миссис Паско были похожи на вареные сосиски.

— Ну, а что до Луизы, так это суший вздор, — продолжал я. — Прошу вас, забудьте о нем. Я никогда не смотрел на нее как на будущую жену и впредь не намерен.

— Бедная Луиза...

— Со стороны крестного нелепо даже думать об этом.

— Не совсем. Когда двое молодых людей одного возраста часто бывают вместе и им приятно общество друг друга, то вполне естественно, что те, кто наблюдает за ними со стороны, начинают думать о свадьбе. К тому же она славная, миловидная девушка и очень способная. Она будет вам прекрасной женой.

— Кузина Рейчел, вы уйметесь?

Она снова подняла на меня глаза и улыбнулась.

— И выбросьте из головы вздорную идею посещать всех и каждого, — сказал я. — Гостить в доме викария, гостить в Пелине... Что вас не устраивает в этом доме и в моем обществе?

— Пока все устраивает.

— В таком случае...

— Я останусь у вас до тех пор, пока не надоем Сикому.

— Сиком тут ни при чем, — сказал я. — Ни Веллингтон, ни Тамлин, ни все остальные. Здесь я хозяин, и это касается только меня.

— Значит, я должна поступать, как мне приказывают, — ответила она. — Это тоже входит в женское воспитание.

Я бросил на нее подозрительный взгляд, желая проверить, не смеется ли она. Но кузина Рейчел разглядывала свое рукоделие, и мне не удалось увидеть ее глаз.

— Завтра я составлю список арендаторов по старшинству, — сказал я. — — Первыми вы посетите тех, кто дольше всех служит нашей семье. Начнем с Бартонской фермы, как договорились в субботу. Каждый день в два часа мы будем выезжать из дому, пока в имении не останется ни одного человека, с которым бы вы не повидались.

— Да, Филипп.

— Вам придется написать записку миссис Паско и ее девицам, объяснить, что вы заняты другими делами.

— Завтра утром я так и сделаю.

— Когда мы покончим с нашими людьми, вы будете проводить дома три дня в неделю — если не ошибаюсь, вторник, четверг и пятницу — на случай, если кто-нибудь из местного дворянства пожалует к вам с визитом.

— Откуда вам известно, что они могут пожаловать именно в эти дни?

— Я достаточно часто слышал, как миссис Паско, ее дочери и Луиза обсуждали дни визитов.

— Ясно. Мне надлежит сидеть в гостиной одной или вы составите мне компанию?

— Вы будете сидеть одна. Они приедут к вам, а не ко мне. Принимать визиты — одна из женских обязанностей, а не мужских.

— Предположим, что меня пригласят на обед; могу я принять такое приглашение?

— Вас не пригласят. У вас траур. Если встанет вопрос о гостях, то мы примем их здесь. Но не более чем две пары одновременно.

— Таков этикет в этой части света?

— Какой там этикет! — ответил я. — Мы с Эмброзом никогда не соблюдали этикета. Мы создали свой собственный.

Я видел, что кузина Рейчел еще ниже склонила голову над работой, и у меня зародилось подозрение, не уловка ли это, чтобы скрыть смех, хоть я и не мог бы сказать, над чем она смеется. Я вовсе не старался ее смешить.

— Жаль, что вы не удосужитесь составить для меня краткий свод правил, — наконец сказала она, — кодекс поведения. Я могла бы изучать его, сидя здесь в ожидании очередного визита. Мне было бы крайне прискорбно совершить какой-нибудь faux pas^{note 4} в глазах общественного мнения и тем самым лишиться себя вашего расположения.

— Можете говорить все что угодно и кому угодно, — сказал я. — Единственное, о чем я вас прошу, — говорите здесь, в гостиной. Никому и ни под каким видом не позволяйте входить в библиотеку.

— Почему? Что же будет происходить в библиотеке?

— Там буду сидеть я, положив ноги на каминную доску.

— По вторникам, четвергам, а также по пятницам?

— По четвергам нет. По четвергам я езжу в город, в банк.

Она поднесла несколько моточков шелка к свечам, чтобы лучше рассмотреть цвет, затем завернула их в кусок ткани и отложила в сторону.

Я взглянул на часы. Было еще рано. Неужели она решила подняться наверх?

Я испытал разочарование.

— А когда все местное дворянство нанесет мне визиты, — спросила она, — что будет потом?

— Ну, потом вы обязаны отдать визиты, и непременно каждому из них. Я распорядюсь подавать экипаж каждый день к двум часам. Впрочем, прошу прощения. Не каждый день, а каждый вторник, четверг и пятницу.

— И я поеду одна?

— Вы поедете одна.

— А что мне делать по понедельникам и средам?

— По понедельникам и средам... дайте подумать...

Я мысленно перебрал самые разные варианты, но изобретательность мне изменила.

— Вы, вообще-то, рисуете или поете? Как барышни Паско? По понедельникам вы могли бы практиковаться в пении, а по средам рисовать или писать маслом.

— Я не рисую, не пою, — возразила кузина Рейчел, — и боюсь, вы составляете для меня план досуга, к которому я абсолютно не приспособлена.

Вот если бы вместо того, чтобы дожидаться визитов местных дворян, я сама стала бы посещать их и давать уроки итальянского, это подошло бы мне гораздо больше.

Она задула свечи в высоком канделябре и поднялась. Я встал со стула.

— Миссис Эшли дает уроки итальянского? — сказал я с деланным ужасом.

— Только старые девы, которых некому содержать, дают уроки.

— А что в подобных обстоятельствах делают вдовы? — спросила она.

— Вдовы? — не задумываясь, проговорил я. — О, вдовы как можно скорее снова выходят замуж или продают свои кольца.

— Понятно. Что ж, я не намерена делать ни того ни другого и предпочитаю давать уроки итальянского.

Она потрепала меня по плечу и вышла из комнаты, на ходу пожелав мне доброй ночи.

Я почувствовал, что краснею. Боже праведный, что я сказал?! Я не подумал о ее положении, забыл, кто она и что произошло. Я увлекся разговором с ней, как когда-то увлекался разговорами с Эмброзом, и наболтал лишнего.

Снова выйти замуж. Продать кольца. Боже мой, что она обо мне подумала?

Каким неуклюжим, каким бесчувственным, каким неотесанным и дурно воспитанным она, должно быть, сочла меня. Я ощутил, что краска заливает мне шею и поднимается до корней волос. Проклятие! Извиняться бесполезно. Будет только хуже. Лучше к этому не возвращаться, а надеяться и молиться, чтобы она поскорее забыла мою досадную оплошность. Я был рад, что рядом никого нет, скажем, крестного, который отвел бы меня в сторону и отчитал за бестактность. А если бы это произошло за столом, при Сикоме и молодом Джоне?

Снова выйти замуж. Продать кольца. О Боже... Боже... Что на меня нашло?

Теперь мне не заснуть, и я всю ночь буду ворочаться в кровати, и в ушах у меня будет звучать ее быстрый, как молния, ответ: «Я не намерена делать ни того, ни другого и предпочитаю давать уроки итальянского».

Я позвал Дона и, выйдя через боковую дверь, углубился в парк. Чем дальше я шел, тем грубее казалась мне допущенная мною бестактность.

Грубый, легкомысленный, пустоголовый деревенщина... Но что все-таки она имела в виду? Неужели у нее так мало денег и она действительно говорила всерьез? Миссис Эшли... и уроки итальянского? Я вспомнил ее письмо к крестному из Плимута. После короткого отдыха она собиралась ехать в Лондон.

Вспомнил, как Райнальди сказал, что она вынуждена продать виллу во Флоренции. Вспомнил, или, скорее, осознал, со всей очевидностью, что в своем завещании Эмброс ничего не оставил ей, ровно ничего. Все его имущество до последнего пенни принадлежало мне. Еще раз вспомнил разговоры слуг. Никаких распоряжений относительно миссис Эшли. Что подумают в людской, в имении, в округе, в графстве, если миссис Эшли будет разъезжать по соседям и давать уроки итальянского?

Два дня назад, три дня назад мне было бы все равно. Да хоть бы она с голоду умерла, эта женщина, которую я вообразил себе, и поделом ей. Но не теперь. Теперь совсем другое дело. Все круто изменилось. Необходимо было что-то предпринять, но что именно — я не знал. Я отлично понимал, что не могу обсуждать с ней столь щекотливый вопрос. При одной мысли об этом я вновь заливался краской гнева и смущения. Но тут, к немалому своему облегчению, я вдруг вспомнил, что по закону деньги и все имущество пока не принадлежат мне и не будут принадлежать еще шесть месяцев, то есть до моего дня рождения. Следовательно, я здесь ни при чем. Это обязанность крестного.

Он попечитель имения и мой опекун. Следовательно, ему и надлежит переговорить с кузиной Рейчел и назначить ей определенное содержание. При первой возможности я навещу его и поговорю об этом. Мое имя упоминать не надо. Все можно представить так, будто таков обычай нашей страны и это не более чем юридический вопрос, который необходимо уладить при любых обстоятельствах. Да, это был выход. Слава Богу, что я подумал о нем. Уроки итальянского... Как унижительно, как ужасно.

Я пошел обратно к дому; мне стало легче на душе, но я все же не забыл свою оплошность. Снова выйти замуж... Продать кольца...

Подойдя к краю лужайки у восточного фасада, я тихо свистнул Дону, который обнюхивал молодые деревья. Гравий дорожки слегка поскрипывал у меня под ногами. Вдруг я услышал голос у себя над головой:

— Вы часто гуляете в лесу по ночам?

Это была кузина Рейчел. Она сидела без света у открытого окна голубой спальни. Меня с новой силой охватило сознание моей бестактности, и я поблагодарил небеса за то, что кузина Рейчел не видит моего лица.

— Лишь тогда, — ответил я, — когда у меня беспокойно на душе.

— Значит, нынешней ночью на душе у вас беспокойно?

— О да, — сказал я, — гуляя по лесу, я пришел к важному выводу.

— И к какому же?

— Я пришел к выводу, что вы были абсолютно правы, когда еще до встречи со мной раздражались при упоминании моего имени, недолюбливали меня, считая самодовольным, дерзким, избалованным. Я и то, и другое, и третье, и даже хуже.

Облокотившись на подоконник, она подалась вперед.

— В таком случае прогулки в лесу вредны вам, — сказала она, — а ваш вывод весьма глуп.

— Кузина Рейчел...

— Да?

Но я не знал, как извиниться перед ней. Слова, которые в гостинной с такой легкостью нанизывались друг на друга, теперь, когда я хотел исправить свою оплошность, никак не приходили. Я стоял под ее окном пристыженный, лишившись дара речи. Вдруг я увидел, как она отвернулась, протянула руку во тьму комнаты, затем снова подалась вперед и что-то бросила мне из окна. То, что она бросила, задело мою щеку и упало на землю. Я наклонился и подобрал цветок из вазы в ее комнате — осенний крокус.

— Не глумитесь, Филипп, идите спать, — сказала она.

Она закрыла окно и задернула портьеры. Не знаю почему, но стыд, а с ним и чувство вины покинули меня, а на сердце стало легко.

В начале недели я не мог съездить в Пелин из-за намеченных на эти дни визитов к нашим арендаторам. Да и вряд ли я сумел бы придумать оправдание тому, что навещаю крестного, не привезя к Луизе кузину Рейчел. В четверг мне представился удобный случай. Из

Плимута прибыл курьер с кустами и саженцами, которые она привезла из Италии, и как только Сиком сообщил ей об этом — я как раз кончал завтрак, — кузина Рейчел в кружевной шали, повязанной вокруг головы, спустилась вниз, готовая выйти в сад. Дверь столовой была отворена, и я видел, как она идет через холл. Я вышел поздороваться.

— Если я не ошибаюсь, — сказал я, — Эмброз говорил вам, что нет такой женщины, на которую можно было бы смотреть до одиннадцати часов. Что же вы делаете внизу в половине десятого?

— Прибыл посыльный, — объяснила она, — и в половине десятого последнего утра сентября я не женщина. Я садовник. У нас с Тамлином много работы.

Она была весела и счастлива, как ребенок в предвкушении угощения.

— Вы намерены заняться подсчетом растений? — спросил я.

— Подсчетом? О нет, — ответила она. — Мне надо проверить, сколько растений перенесло путешествие и какие из них можно сразу высадить в землю.

Тамлин этого не определит, а я определяю. С деревьями можно не спешить, ими мы займемся на досуге, но кусты и рассаду я бы хотела посмотреть не откладывая.

Я заметил, что на руках у нее грубые перчатки, крайне не соответствующие ее миниатюрности и изяществу.

— Уж не собираетесь ли вы копать в земле? — спросил я.

— Конечно собираюсь. Вот увидите, я буду работать быстрее, чем Тамлин и его люди. Не ждите меня раньше ленча.

— Но ведь днем, — запротестовал я, — нас ждут в Ланкли и в Кумбе. На обеих фермах намывают кухни и готовятся.

— Надо послать записки и отложить визиты, — сказала она. — Когда у меня посадочные радости, я ни на что не отвлекаюсь. Прощайте.

Она помахала мне рукой и вышла на усыпанную гравием дорожку перед домом.

— Кузина Рейчел! — позвал я из окна столовой.

— Что случилось? — оглянулась она.

— Эмброз ошибался, говоря о женщинах! — крикнул я. — В половине десятого они выглядят совсем недурно!

— Эмброз говорил не о половине десятого! — откликнулась она. — Он говорил о половине седьмого и имел в виду отнюдь не нижний этаж.

Я, смеясь, отвернулся от окна и увидел, что рядом со мной стоит Сиком; губы его были поджаты. Всем своим видом выражая явное неодобрение, он направился к буфету и знаком приказал молодому Джону убрать со стола. По крайней мере, одно было ясно: в день посадочных работ мое присутствие в доме не потребуется. Я изменил намеченный ранее распорядок дня и, приказав оседлать Цыганку, в десять часов уже скакал по дороге, ведущей в Пелин.

Я застал крестного в кабинете и без околичностей изложил ему цель своего визита.

— Итак, — заключил я, — вы понимаете, что необходимо что-то предпринять, и предпринять немедленно. Если до миссис Паско дойдет, что миссис Эшли намерена давать уроки итальянского, через двадцать четыре часа об этом станет известно всему графству.

Как я и ожидал, крестный был донельзя шокирован и удручен.

— Какой позор! — согласился он. — Об этом не может быть и речи.

Этого ни в коем случае нельзя допустить. Вопрос, конечно, крайне деликатный.

Мне нужно время, чтобы обдумать, как взяться за это дело.

Меня охватило нетерпение. Я знал осторожную дотошность крестного во всем, что касается законов.

— У нас нет времени, — сказал я. — Вы знаете кухню Рейчел не так хорошо, как я. С нее вполне станется сказать одному из наших арендаторов:

«Не знаете ли вы кого-нибудь, кто хотел бы изучать итальянский?» И кем мы тогда будем? К тому же через Сикома до меня уже дошли кое-какие слухи. Всем известно, что по завещанию ей ничего не оставлено. Это необходимо немедленно исправить.

Крестный задумчиво покусывал перо.

— Этот итальянский поверенный ничего не сообщил о ее обстоятельствах, — проговорил он. — К сожалению, я не могу обсудить с ним этот вопрос. Мы не располагаем никакими средствами, чтобы выяснить размеры ее личного дохода и

имущественные права, оговоренные для нее в ее первом брачном контракте.

— Полагаю, все ушло на уплату долгов Сангаллетти, — сказал я. — Эмброз писал мне об этом. Она не успела уладить свои финансовые дела; еще и поэтому они не приехали домой в прошлом году. Уверен, что она и виллу поэтому продает. Не иначе как по первому контракту ей причитаются жалкие гроши. Мы должны что-нибудь сделать для нее, и не позднее чем сегодня.

Крестный разбирал бумаги на столе.

— Я рад, Филипп, — сказал он, взглянув на меня поверх очков, — что ты изменил свое отношение к миссис Эшли. Перед ее приездом у меня было очень тревожно на душе. Ты заранее настроился на то, чтобы оказать ей холодный прием и ровным счетом ничего для нее не делать. Что привело бы к скандалу.

Хорошо, что ты одумался.

— Я ошибался, — коротко ответил я. — Забудем об этом.

— Тогда, — сказал он, — я напишу миссис Эшли и в банк. И ей, и управляющему я объясню, какие действия мы намерены предпринять. Лучше всего открыть счет, с которого она могла бы каждые три месяца снимать определенную сумму. Когда она переедет в Лондон или в другое место, то соответствующие отделения банка получат наши инструкции. Через полгода тебе исполнится двадцать пять лет и ты сам займешься этим делом. Ну а теперь о сумме. Что ты предлагаешь?

Я на мгновение задумался и назвал сумму.

— Это щедро, Филипп, — сказал крестный. — Пожалуй, даже слишком щедро. Едва ли ей понадобится так много. По крайней мере, сейчас.

— О, ради Бога, не будем скаречничать! Раз мы делаем это, то давайте делать так, как сделал бы сам Эмброз.

— Хм, — буркнул крестный и нацарапал несколько цифр на листе бумаги.

— Ну что ж, она останется довольна. Сколь ни разочаровало ее завещание Эмброза, такая сумма должна искупить любое разочарование.

С какой хладнокровной расчетливостью выводил он пером суммы и цифры, подсчитывая шиллинги и пенсы, которые мы можем

выделить из доходов имения вдове его бывшего владельца! Господи, как я ненавижу деньги в ту минуту!

— Поспешите с письмом, сэр, — сказал я. — Я возьму его с собой. А заодно съезжу в банк и отвезу им ваше послание. Тогда кузина Рейчел сможет обратиться к ним и снять деньги со счета.

— Мой дорогой, вряд ли миссис Эшли настолько стеснена в средствах. Ты впадаешь из одной крайности в другую. — Крестный вздохнул, вынул лист бумаги и положил его перед собой. — Она верно заметила: ты действительно похож на Эмброза.

На этот раз, пока крестный писал письмо, я стоял у него за спиной, чтобы точно знать, о чем он пишет. Моего имени он не упомянул. Он писал об имении. Имение желает выделить ей определенное содержание. Имение назначило сумму, подлежащую выплате раз в три месяца. Я, как ястреб, следил за ним.

— Если ты не хочешь, чтобы она подумала, будто ты приложил к этому руку, — сказал мне крестный, — тебе не стоит брать письмо. Днем я пришлю к вам Добсона. Он его и привезет. Так будет лучше.

— Отлично. А я отправлюсь в Бодмин. Благодарю вас, мой казначей.

— Прежде чем уехать, не забудь повидаться с Луизой, — сказал он. — Она где-нибудь в доме.

Мне не терпелось отправиться в путь, и я бы вполне обошелся без встречи с Луизой, но не мог сказать этого. Она как бы случайно оказалась в малой гостиной, и мне пришлось пройти туда через открытую дверь кабинета.

— Мне показалось, что я услышала твой голос, — сказала Луиза. — Ты приехал на весь день? Я угощу тебя кексом и фруктами. Ты, наверное, голоден.

— Я должен срочно уезжать, — ответил я. — Спасибо, Луиза. Я приехал повидаться с крестным по важному делу.

— Ах, понимаю...

Луиза перестала улыбаться, и ее лицо приняло такое же холодное, чопорное выражение, как в прошлое воскресенье.

— Как поживает миссис Эшли? — спросила она.

— Кузина Рейчел здорова и очень занята, — ответил я. — Сегодня утром прибыли все растения, которые она привезла из Италии, и она вместе с Тамлином занимается их посадкой.

— Полагаю, тебе следовало остаться дома и помочь ей, — заметила Луиза.

Не знаю, что с ней случилось, но ее интонация привела меня в раздражение. Она напомнила мне выходки Луизы в те давние дни, когда мы бегали наперегонки в саду: в тот момент, когда я испытывал самое радостное возбуждение, она ни с того ни с сего останавливалась, встряхивала локонами и говорила: «В конце концов, я, кажется, вовсе не хочу играть», глядя на меня с таким же упрямым выражением лица.

— Тебе отлично известно, что я полный профан в садоводстве, — сказал я и, чтобы больнее задеть ее, добавил:

— Ты еще не избавилась от своего дурного настроения?

Она вспыхнула и напряглась.

— Дурного настроения? Не понимаю, что ты имеешь в виду, — быстро проговорила она.

— О нет, прекрасно понимаешь, — возразил я. — Все воскресенье у тебя было отвратительное настроение. Это слишком бросалось в глаза. Странно, что барышни Паско этого не подметили.

— Вероятно, — заметила Луиза, — барышни Паско, как и все остальные, были слишком заняты, подмечая кое-что другое.

— И что же?

— Да то, как легко светской даме вроде миссис Эшли обвести вокруг пальца молодого человека вроде тебя.

Я круто повернулся и вышел из комнаты. Иначе я бы ее ударил.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

К тому времени, когда, посетив Пелин и заехав в город, я возвращался домой, моя лошадь покрыла расстояние миль в двадцать. В таверне у городского причала я выпил сидра, но ничего не ел и к четырем часам почти умирал от голода.

Башенные часы пробили четыре раза; я направил лошадь прямо к конюшне, где, как назло, вместо грума меня поджидал Веллингтон. Увидев, что Цыганка вся в мыле, он щелкнул языком.

— Неладно это, мистер Филипп, сэр, совсем неладно, — сказал он.

Я спешил, чувствуя себя виноватым, как бывало, когда я приезжал из Харроу на каникулы.

— Вы же знаете, если кобыла слишком разгорячится, то недалеко и до простуды, а загоняете так, что от нее пар валит. Она не годится для того, чтобы скакать вдогонку за собаками, если вы этим занимались.

— Я не скакал за собаками. Я был на Бодминской пустоши, — ответил я.

— Не валяйте дурака, Веллингтон. Я ездил по делу к мистеру Кендаллу, а потом в город. За Цыганку прошу прощения, но ничего не поделаешь. Думаю, все обойдется.

— Надеюсь, сэр, — сказал Веллингтон и принялся ощупывать бока Цыганки, как будто я подверг ее испытанию вроде скачек с препятствиями.

Я вошел в дом и направился в библиотеку. Кузины Рейчел там не было, но в камине ярко горел огонь. Я позвонил. Вошел Сиком.

— Где миссис Эшли? — спросил я.

— Госпожа пришла вскоре после трех, сэр, — ответил он. — С тех пор как вы уехали, она все время работала в саду. Тамлин сейчас у меня. Он говорит, что не видел ничего подобного. Он поражен тем, как госпожа со всем справляется. Говорит, что она чудо.

— Наверное, она устала, — сказал я.

— Боюсь, что да, сэр. Я предложил ей лечь в постель, но она и слушать не захотела. «Распорядитесь, Сиком, чтобы мне принесли

горячей воды. Я приму ванну и вымою волосы», — сказала она мне. Я было собрался послать за племянницей — негоже, чтобы знатная дама сама мыла себе волосы, — но и об этом она тоже не захотела слушать.

— Пожалуй, пусть и мне принесут воды, — сказал я Сикому. — У меня был трудный день. К тому же я чертовски голоден и хочу, чтобы обед накрыли пораньше.

Насвистывая, я стал подниматься наверх, чтобы скинуть одежду и поблаженствовать в горячей ванне перед пылающим камином. По коридору из комнаты кухни Рейчел брели собаки. Они с первой минуты ходили за ней по пятам. Увидев меня с площадки лестницы, старик Дон завилял хвостом.

— Привет, старина, — сказал я, — а ты, знаешь ли, предатель.

Променял меня на даму.

Пес виновато взглянул и лизнул мне руку своим длинным мягким языком...

С ведром воды вошел молодой слуга и наполнил ванну. Я уселся потурецки и в клубах пара стал с удовольствием тереть грудь, спину, руки, фальшиво напевая какую-то мелодию. Вытираясь полотенцем, я заметил на столике у кровати вазу с цветами. Среди них были зеленые ветки из леса, ятрышник, цикламены. В моей комнате никогда не ставили цветы. Ни Сикому, ни другим слугам это не пришло бы в голову. Должно быть, их принесла кухня Рейчел. Вид цветов еще больше поднял мое настроение. Она целый день возилась с саженцами и тем не менее нашла время поставить в вазу цветы. Все еще напевая вполголоса, я оделся к обеду и повязал галстук. Затем я прошел по коридору и постучал в дверь будуара.

— Кто там? — откликнулась кухня Рейчел.

— Это я, Филипп. Я пришел сказать, что сегодня мы будем обедать раньше. Я просто умираю с голоду, и, судя по тому, что я слышал, наверное, вы проголодались не меньше меня. Чем же вы занимались с Тамлином, если вам пришлось срочно принять ванну и вымыть волосы?

В ответ я услышал знакомые переливы заразительного жемчужного смеха.

— Мы, как кроты, рыли норы! — крикнула она.

— И вы по самые брови в земле?

— С ног до головы, — ответила она. — Я приняла ванну и теперь сушу волосы. Я вся в заколках и имею вполне respectable вид — совсем как тетушка Феба. Вы можете войти.

Я открыл дверь и вошел в будуар. Кузина Рейчел сидела на скамеечке перед камином. Я не сразу узнал ее — без траура она казалась совсем другой.

Ее изящную фигуру красиво облегал белый длинный халат, на шее и на запястьях стянутый лентами; волосы, обычно расчесанные на прямой пробор, были высоко подняты и скелоты.

Мне не приходилось видеть никого, кто менее походил бы на тетушку Фебу или любую другую тетушку.

Я замер в дверях и, моргая, уставился на кузину Рейчел.

— Входите и садитесь. И не смотрите на меня с таким изумлением, — сказала она.

Я закрыл дверь, вошел в будуар и сел на стул.

— Извините, — сказал я. — Но дело в том, что я никогда не видел женщину в дезабилье.

— Это не дезабилье, — возразила она. — Это то, что я всегда ношу за завтраком. Эмброс называл это моей монашеской рясой.

Она подняла руки и стала закалывать волосы шпильками.

— В двадцать четыре года, — продолжала она, — пора и вам увидеть, как тетушка Феба укладывает волосы. Зрелище вполне обыденное и даже приятное. Вы смущены?

Не сводя с нее глаз, я скрестил руки на груди и положил ногу на ногу.

— Нисколько, — ответил я, — просто ошеломлен.

Она рассмеялась и, вынимая изо рта шпильку за шпилькой, стала укладывать волосы валиком, который длинным узлом спускался на шею. Процедура заняла несколько секунд, во всяком случае, мне так показалось.

— У вас всегда уходит на это так мало времени? — спросил я в изумлении.

— Ах, Филипп, сколь многое вам еще предстоит узнать! — сказала она.

— Неужели вы никогда не видели, как закалывает волосы ваша Луиза?

— Не видел и не желаю видеть, — поспешил ответить я, неожиданно вспомнив прощальное замечание Луизы перед моим отъездом из Пелина.

Кузина Рейчел засмеялась и уронила мне на колено шпильку.

— На память, — сказала она. — Положите ее под подушку и обратите внимание на лицо Сикома во время завтрака.

Она прошла из будуара в спальню и оставила дверь открытой.

— Можете сидеть, где сидите, и, пока я одеваюсь, кричать мне, — громко сказала она.

Я украдкой взглянул на небольшое бюро — нет ли на нем письма крестного, — но ничего не увидел. Интересно, что произошло, размышлял я.

Может быть, оно у нее в спальне. Может быть, она ничего мне не скажет и отнесется к этому делу как к сугубо личному, касающемуся только ее и крестного. Я надеялся, что так и будет.

— Где вы пропадали весь день? — громко спросила она.

— Мне надо было съездить в город, — ответил я, — и кое с кем повидаться.

Про посещение банка я не упомянул.

— Я была совершенно счастлива с Тамлином и садовниками, — сообщила она. — Выбросить пришлось всего несколько растений. Знаете, Филипп, здесь еще столько работы... На границе с лугом надо вырубить мелколесье, проложить дорожки и весь участок отвести под камелии. Не пройдет и двадцати лет, как у вас будет весенний сад и со всего Корнуолла станут приезжать, чтобы взглянуть на него.

— Я знаю, что Эмброз этого и хотел.

— Необходимо все тщательно спланировать, — сказала она, — а не просто положиться на волю случая и Тамлина. Он очень милый, но его познания довольно ограничены. Почему бы вам самому не проявить больший интерес к садоводству?

— Я слишком мало знаю, — ответил я. — Это не по моей части. Эмброз, тот знал.

— Но ведь есть люди, которые могли бы помочь вам. Можно пригласить художника из Лондона.

Я не отвечал. Зачем мне художник из Лондона? Я нисколько не сомневался, что она знает толк в садах лучше любого из них.

В эту минуту появился Сиком и в нерешительности застыл у порога.

— В чем дело, Сиком? Готов обед? — спросил я.

— Нет, сэр, — ответил он. — Приехал Добсон, человек мистера Кендалла, с запиской для госпожи.

У меня упало сердце. Должно быть, подлый малый остановился выпить по дороге, раз он так опоздал. Теперь мне придется присутствовать при том, как она читает письмо. Чертовски не вовремя. Я услышал, как Сиком постучал в открытую дверь спальни и подал письмо.

— Пожалуй, я спущусь вниз и подожду вас в библиотеке, — сказал я.

— Нет, не уходите! — крикнула она. — Я уже одета. Мы спустимся вместе. У меня письмо от мистера Кендалла. Наверное, он приглашает нас в Пелин.

Сиком скрылся в конце коридора. Я встал, с трудом поборов желание последовать за ним. Мне вдруг стало не по себе. Из спальни не долетало ни звука. Наверное, она читала письмо. Казалось, прошла целая вечность. Наконец она вышла из спальни и остановилась в дверях с развернутым письмом в руке.

Она была одета к обеду. Я заметил, что она очень бледна, — возможно, черное траурное платье в силу контраста оттеняло белизну кожи.

— Что вы делали днем? — спросила она.

Я не узнал ее голоса. Он звучал неестественно, напряженно.

— Делал? — проговорил я. — Ничего. А почему вы спрашиваете?

— Не лгите, Филипп, вы не умеете.

Я с самым удрученным видом стоял перед камином, уставясь не куда-нибудь, а прямо в эти испытующие, обвиняющие глаза.

— Вы ездили в Пелин, — сказала она. — Ездили, чтобы повидаться с крестным.

Она была права. Я проявил себя на редкость неумелым лжецом, во всяком случае — перед ней.

— Возможно, и так, — сказал я. — И что из того?

— Вы заставили его написать это письмо, — сказала она.

— Нет, — сказал я и сплотнул. — Ничего подобного я не делал. Он написал его по собственной воле. Мы обсуждали дела... всплыли

некоторые юридические вопросы... и...

— И вы поведали ему, что ваша кузина Рейчел намерена давать уроки итальянского, разве не так?

Меня бросало то в жар, то в холод.

— Не совсем, — сказал я.

— Вы, разумеется, понимаете, что я просто шутила?

Если она просто шутила, подумал я, к чему так сердиться на меня?

— Вы не отдаете себе отчета в том, что вы наделали, — продолжала она.

— Вы заставили меня стыдиться самой себя.

Она подошла к окну и остановилась спиной ко мне.

— Если вы желали унижить меня, то, видит Бог, способ выбран правильный.

— Не понимаю, — сказал я, — к чему такая гордыня?

— Гордыня? — Кузина Рейчел повернулась и в упор посмотрела на меня; в ее огромных темных глазах горело бешенство. — Как смее вы говорить о моей гордыне?

Я во все глаза смотрел на нее, поражаясь тому, что человек, кто бы он ни был, который мгновение назад смеялся вместе со мной, может вдруг прийти в такую ярость. И тут я с удивлением заметил, что мое волнение улеглось. Я подошел к кузине Рейчел и остановился перед ней.

— Я буду говорить о вашей гордыне, — сказал я. — Более того, о вашей дьявольской гордыне. Унижены вовсе не вы — унижен я. Вы не шутили, говоря, что намерены давать уроки итальянского. Ваш ответ прозвучал слишком быстро, чтобы быть шуткой. Вы говорили, что думали.

— А если и думала? — спросила она. — Разве давать уроки итальянского — позорно?

— Вообще — нет, — сказал я, — но в вашем случае — да. Для миссис Эшли давать уроки итальянского — позорно. Подобное занятие бросает тень на мужа, который не дал себе труда упомянуть жену в завещании. И я, Филипп Эшли, его наследник, не допущу этого. Кузина Рейчел, вы будете получать содержание каждые три месяца и, когда станете брать в банке деньги, помните, что они не от имения, не от наследника имения, а от вашего мужа Эмброза Эшли.

Пока я говорил, меня захлестывал гнев, не уступавший ярости кузины Рейчел. Будь я проклят, если допущу, чтобы женщина, какой бы хрупкой и крошечной она ни была, обвиняла меня в том, что я унижаю ее; и будь я проклят дважды, если она станет отказываться от денег, которые по праву принадлежат ей.

— Итак, вы поняли, что я сказал вам? — спросил я.

Какое-то мгновение мне казалось, что она ударит меня. Кузина Рейчел точно окаменела и смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Вдруг на ее ресницы навернулись слезы, она отшатнулась от меня, бросилась в спальню и захлопнула за собой дверь.

Я спустился вниз, вошел в столовую и, вызвав Сикома, сказал ему, что миссис Эшли к обеду не выйдет. Я сам налил себе кларета и в одиночестве сел во главе стола. Господи, подумал я, так вот какие они — женщины... Никогда я не был так изнурен и рассержен. Целые дни под открытым небом, работа с мужчинами во время сбора урожая, препирательства с арендаторами, задолжавшими арендную плату или затеявшими ссору с соседями, которую мне приходилось улаживать, — ничто не могло сравниться с пятью минутами в обществе женщины, чье беспечное настроение в мгновение ока сменяется враждебностью. А слезы? Они всегда являются последним оружием. Женщины отлично знают, какое впечатление производят слезы на того, кто их видит. Я выпил еще одну рюмку кларета. Что касается Сикома, который высился рядом с моим стулом, то я всей душой желал, чтобы он был как можно дальше.

— Как вы полагаете, сэръ, госпоже нездоровится? — спросил он.

Я чуть было не ответил, что госпожа не столь нездорова, сколь разъярена и, возможно, вот-вот позвонит в колокольчик и потребует экипаж, чтобы вернуться в Плимут.

— Нет, — сказал я, — у нее еще не высохли волосы. Пожалуй, вам следует распорядиться, чтобы Джон отнес обед в будуар.

Вот что ждет мужчину, когда он женится. С шумом захлопнутые двери и молчание. Обед в одиночестве. Итак, аппетит, разыгравшийся после дня в седле, блаженное расслабление от ванны, мирная радость спокойного вечера, проведенного у камина, то замирающая, то разгорающаяся беседа, лениво-непринужденное разглядывание миниатюрных пальцев, занятых рукоделием, — все рассеялось, как дым. С каким беззаботным весельем я одевался к обеду, шел по

коридору, стучал в дверь будуара и увидел ее сидящей на скамеечке у камина, в белом халате и с высоко заколотыми волосами... Какое беззаботное и радостное настроение владело и ею и мной, создавая между нами некое подобие близости и окрашивая в самые радужные цвета перспективу этого вечера... И вот я один за столом, перед бифштексом, от которого не отличил бы подошву, настолько мне было все безразлично. А что делает она? Лежит на кровати?

Свечи задуты, портьеры задернуты, и вся комната погружена во тьму? Или дурное настроение прошло, и она с сухими глазами степенно сидит в будуаре и ест с подноса свой обед, делая перед Сикомом вид, что все в порядке. Я не знал. Не хотел знать. Эмброз был прав, когда говорил, и говорил не раз, что женщины — это особая раса. Мне было ясно одно. Я никогда не женюсь...

Закончив обедать, я пошел в библиотеку и сел в кресло. Я раскурил трубку и, положив ноги на решетку камина, приготовился к послеобеденному сну, сладкому и безмятежному, но в этот вечер он утратил для меня всю свою прелесть. В кресле напротив себя я уже привык видеть кузину Рейчел: плечи слегка повернуты, свечи освещают рукоделие, в ногах лежит Дон. Без нее кресло казалось непривычно пустым... Да пропади все пропадом! Чтобы из-за какой-то женщины испортить себе весь вечер! Я встал, снял с полки какую-то книгу и полистал ее. Затем я, должно быть, задремал, поскольку, когда я снова взглянул на стрелки часов, было около девяти. Итак, в постель и спать.

Я отвел собак в будки — погода переменилась, дул сильный ветер, хлестал дождь; закрыв дверь на засов, поднялся к себе. Только я хотел бросить одежду на стул, как увидел записку, лежавшую около вазы с цветами на столике у кровати. Я подошел к столику, взял записку и прочел ее. Она была от кузины Рейчел.

«Дорогой Филипп, — писала она. — Если можете, простите меня за грубость, которую я проявила по отношению к Вам сегодня вечером. С моей стороны непростительно так вести себя в Вашем доме. Мне нет оправдания, за исключением того, что последние дни я сама не своя: чувства лежат слишком близко к поверхности. Я написала Вашему крестному, поблагодарила его за письмо и

сообщила, что принимаю выделенное мне содержание. Как трогательно и великодушно, что вы оба подумали обо мне!

Доброй ночи.

Рейчел».

Я дважды прочел записку и положил ее в карман. Значит, гордыня ее иссякла, гнев — тоже? Растворились в слезах? У меня гора с плеч свалилась: она приняла содержание. Мысленно я уже успел представить себе следующее посещение банка, дальнейшие объяснения, отмену недавних распоряжений; затем разговоры с крестным, бесконечные доводы и, наконец, плачевный конец всей истории — отъезд кузины Рейчел из моего дома в Лондон, где она будет жить в меблированных комнатах и давать уроки итальянского.

Интересно, чего стоило ей написать мне записку? Перехода от гордыни к смирению? Мне стало жаль ее. Впервые с тех пор, как Эмброз умер, я был готов винить его самого в том, что произошло. Конечно, он мог бы хоть немного подумать о будущем. Болезнь или внезапная смерть может постичь любого. И ему следовало бы знать, что, не упомянув свою жену в завещании, он оставляет ее в полной зависимости от нас. Письмо домой, крестному, избавило бы всех от многих неприятностей. Я представил себе, как она сидит в будуаре тетушки Фебы и пишет мне записку. Интересно, она еще в будуаре или уже легла спать?

После недолгого колебания я пошел по коридору и остановился перед дверью в комнаты кузины Рейчел.

Дверь будуара была открыта, дверь в спальню закрыта. Я постучал в дверь спальни. Несколько мгновений все было тихо, затем она спросила:

— Кто там?

Я не ответил: «Филипп», а открыл дверь и вошел. В спальне было темно, и при свете свечи, которую я захватил с собой, я увидел наполовину задернутый полог кровати, а за ним очертания кузины Рейчел под одеялом.

— Я только что прочел вашу записку, — сказал я. — Хочу поблагодарить вас и пожелать вам спокойной ночи.

Я думал, она сядет и зажжет свечу, но она не сделала ни того ни другого.

— Я также хотел сказать вам, — продолжал я, — что у меня и в мыслях не было выступать в роли вашего покровителя. Прошу вас верить мне.

Из-за полога прозвучал спокойный, приглушенный голос:

— Я этого и не думала.

Некоторое время мы оба молчали, затем она сказала:

— Я вполне могла бы давать уроки итальянского. Моя гордыня это позволяет. Но мне было невыносимо услышать от вас, что, поступая так, я брошу тень на Эмброза.

— Я говорю то, что думаю, — сказал я. — Но забудем об этом.

— Как мило с вашей стороны и как это похоже на вас, что вы ездили к вашему крестному в Пелин, — сказала она. — Наверное, вы сочли меня невежливой и очень неблагодарной. Не могу простить себе.

В ее голосе слышались слезы, и это странным образом подействовало на меня. Я ощутил непривычное давление в горле и в животе.

— Уж лучше бы вы меня ударили, чем плакать, — сказал я.

Я услышал, как она пошевелилась в кровати, нащупала платок и высморкалась. Этот звук, такой обыденный и простой, прозвучав в темноте из-за полога кровати, привел меня в еще большее замешательство. Вскоре она сказала:

— Я приму назначенное мне содержание, Филипп, но я провела здесь целую неделю и не могу злоупотреблять вашим гостеприимством. Думаю, что в понедельник, если вам это удобно, я уеду... может быть, в Лондон.

При этих словах я ощутил странную пустоту.

— В Лондон? Но почему? Зачем?

— Я приехала всего на несколько дней, — ответила она, — и задержалась дольше, чем входило в мои намерения.

— Но вы еще не со всеми успели встретиться, — сказал я, — сделали не все, что собирались.

— Какое это имеет значение? — спросила она. — Да и к чему, в конце концов?

— Я думал, вам доставляет удовольствие ходить по имению, посещать арендаторов. Каждый день, когда мы вместе обходили наши

земли, вы казались мне такой счастливой! Или вы только делали вид из вежливости?

Она ответила не сразу.

— Иногда, Филипп, мне кажется, что у вас нет ни капли сообразительности.

Вероятно, так и было. Я почувствовал себя задетым, но мне было все равно.

— Хорошо, — сказал я, — если хотите уехать, уезжайте. Ваш отъезд вызовет много толков. Но не важно.

— По-моему, если я останусь, толков будет еще больше.

— Если останетесь? — спросил я. — Что вы хотите сказать? Неужели вы не понимаете, что находитесь здесь по праву, что, если бы Эмброс не был таким безумцем, ваш дом был бы здесь?

— О Господи! — с внезапным гневом вырвалось у нее. — Зачем же еще, по-вашему, я приехала?

Я снова коснулся запретной темы. Грубо, бестактно вновь сказал то, чего не следовало говорить. Меня пронзило сознание собственной неполноценности. Я подошел к кровати, раздернул полог и сверху вниз посмотрел на кухню Рейчел.

Она лежала высоко на подушках. На ней было что-то белое, украшенное рюшем, как стихарь мальчика из церковного хора; волосы были распущены и перевязаны лентой, как, вспомнилось мне, у Луизы в детстве. Я был удивлен и потрясен — так молодо она выглядела.

— Послушайте, — сказал я. — Я не знаю, почему вы приехали, не знаю, чем руководствовались в своих поступках. Мне ничего не известно ни о вас, ни о других женщинах. Я знаю только одно: я рад, что вы здесь. И я не хочу, чтобы вы уезжали. Разве это так сложно?

Она поднесла руки к лицу, будто хотела защититься от меня.

— Да, — сказала она, — очень.

— В таком случае вы сами все усложняете, — сказал я.

Я скрестил руки на груди и посмотрел на нее, изо всех сил стараясь казаться беззаботным, хотя далеко не чувствовал себя таковым. Однако то обстоятельство, что я стоял, а она лежала в постели, давало мне некоторое преимущество. Я не понимал, как может сердиться женщина с распущенными волосами, женщина, вновь превратившаяся в девушку.

Я видел, как вздрагивают ее ресницы. Она старалась найти предлог, какую-нибудь новую причину, которая объяснила бы ее отъезд. И вдруг меня озарило — я нашел ловкий стратегический ход.

— Сегодня вечером вы говорили, что для разбивки сада мне надо пригласить художника из Лондона. Эмброз так и собирался сделать. Но дело в том, что я не привык к обществу художников и, если кто-нибудь из их братии окажется здесь, он будет безумно раздражать меня. Если вы чувствуете хоть самую малую привязанность к этому месту, то, зная, что значило оно для Эмброза, должны остаться на несколько месяцев и помочь мне.

Стрела попала в цель. Кузина Рейчел сосредоточенно смотрела перед собой, вертя кольцо на пальце. Я поспешил укрепить свои позиции.

— Мне никогда не удавалось в точности следовать планам, которые часто строил Эмброз, — сказал я. — Тамлину тоже — по его части. Я знаю, он творит чудеса, но только тогда, когда им руководят. В прошлом году он то и дело приходил ко мне за советом, и я всегда терялся, что ему ответить.

Оставшись на осень, когда ведутся основные посадки, вы бы очень помогли всем нам.

Кузина Рейчел водила кольцо вверх и вниз по пальцу.

— Наверное, мне надо спросить у вашего крестного, как он к этому отнесется.

— Крестный здесь ни при чем, — возразил я. — За кого вы меня принимаете — за школяра-недоростка? Если вы действительно хотите уехать, я не могу задержать вас.

Она ответила на удивление спокойным, тихим голосом:

— К чему спрашивать? Вы же знаете, что я хочу остаться.

Боже милостивый, откуда мне было знать это? Она достаточно ясно намекнула на противоположное.

— Значит, вы останетесь... ненадолго, — сказал я, — чтобы обустроить сад? Решено? И вы не возьмете назад своего слова?

— Я останусь, — сказала она. — Ненадолго.

Я с трудом сдержал улыбку. Ее глаза были очень серьезны, и я почувствовал, что, если улыбнусь, она изменит решение. В душе я ликовал.

— Прекрасно, — сказал я, — а теперь я пожелаю вам спокойной ночи и покину вас. А как с вашим письмом крестному? Вы не хотите, чтобы я положил его в почтовую сумку?

— Его взял Сиком, — ответила она.

— Вы уснете спокойно и больше не будете на меня сердиться?

— Я не сердилась, Филипп.

— Нет, сердились. Я думал, вы меня ударите.

Она подняла на меня глаза:

— Иногда вы бываете таким глупым, что однажды я, пожалуй, вас ударю.

Подойдите ко мне.

Я приблизился к кровати, и мои колени коснулись одеяла.

— Наклонитесь, — попросила она.

Она взяла мое лицо в руки и поцеловала меня.

— А теперь отправляйтесь спать, как хороший мальчик, и спите спокойно.

Она слегка оттолкнула меня и задернула полог.

С подсвечником в руке я, спотыкаясь, вышел из голубой спальни. Голова у меня кружилась, точно я выпил коньяку, и мне казалось, что преимущество, которое, как я думал, у меня было перед кузиной Рейчел, когда я стоял над ней, а она лежала в кровати, теперь целиком утрачено мною. Последнее слово и даже последний жест остались за ней. Внешность маленькой девочки и стихарь мальчика из церковного хора ввели меня в заблуждение. Она не переставала быть женщиной. Но, несмотря ни на что, я был счастлив. Досадная размолвка уладилась, и она пообещала не уезжать. Слез больше не было.

Вместо того чтобы сразу отправиться спать, я спустился в библиотеку написать несколько слов крестному и уверить его, что все прошло гладко. Ему было незачем знать, какой беспокойный вечер мы провели. Я набросал письмо и пошел в холл, чтобы положить его в почтовую сумку.

Сиком, как обычно, оставил сумку для меня на столе, рядом с ней лежал ключ. Когда я открыл сумку, на стол выпали два письма, оба написанные кузиной Рейчел. Одно, как она и говорила, было адресовано моему крестному Нику Кендаллу; другое — синьору Райнальди во Флоренцию. Мгновение я разглядывал его, затем вместе с первым письмом положил обратно. Возможно, с моей стороны это

было глупо, бессмысленно, нелепо — он ее друг и почему бы ей не написать ему? Тем не менее я шел в свою комнату, чтобы лечь спать, с таким чувством, что она все-таки ударила меня.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Когда на следующее утро кузина Рейчел спустилась вниз и я присоединился к ней в саду, она была весела и беззаботна, словно прошлым вечером между нами не пробежала кошка. Однако ее обращение со мной несколько изменилось.

Она казалась более нежной, более ласковой, меньше подтрунивала, смеялась со мной, а не надо мной и постоянно спрашивала мое мнение о местах, выбранных для высадки кустов и деревьев, правда не с целью расширить мои познания, а для того, чтобы в будущем они доставили мне как можно большее удовольствие.

— Делайте что хотите, — говорил я, — прикажите вырубить мелколесье, валить деревья, засадить склоны кустарником, делайте все, что подсказывает ваша фантазия. Что касается меня, то я абсолютно лишен чувства линии.

— Но я хочу, чтобы вы остались довольны результатом, Филипп, — возразила она. — Все это принадлежит вам, а когда-нибудь будет принадлежать вашим детям. Что, если я проведу здесь изменения по своему вкусу и, когда все будет готово, вы останетесь недовольны?

— Я не останусь недоволен, — ответил я, — и перестаньте говорить о моих детях. Я твердо решил остаться холостяком.

— Что крайне эгоистично и очень глупо, — сказала она.

— А по-моему нет. По-моему, оставаясь холостяком, я избавлю себя от многих неприятностей и душевных переживаний.

— Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы потеряете?

— Если человек ищет тепла, покоя, простоты, которая радует глаз, то все это он может получить от собственного дома, если по-настоящему его любит.

К моему удивлению, она так громко рассмеялась, что Тамлин и садовники, работавшие на дальнем конце участка, подняли головы и посмотрели на нас.

— Когда-нибудь, когда вы влюбитесь, — сказала она, — я напомню вам об этих словах. Тепло и покой каменных стен! И это в

двадцать четыре года!

Ах, Филипп!

И она снова залилась своим жемчужным смехом. Я не мог взять в толк, что смешного она нашла в моих словах.

— Я отлично понимаю, что вы имеете в виду, — сказал я. — Так уж вышло, но эта сторона меня никогда не привлекала.

— Это более чем очевидно. Должно быть, вы приводите в отчаяние всю округу. Бедная Луиза...

Но я вовсе не собирался обсуждать достоинства Луизы или, того не легче, выслушивать лекцию на тему любви и супружества. Мне было куда интереснее наблюдать за работой кузины Рейчел в саду.

Октябрь стоял сухой и мягкий; первые три недели дождей почти не было, и Тамлин со своими людьми на славу поработал под присмотром кузины Рейчел. Мы сумели по очереди навестить ко всем арендаторам, которым, как я полагал, наши визиты доставили огромное удовольствие. Каждого из них я знал с детства и часто бывал на их фермах, что к тому же входило в мои обязанности. Но кузине Рейчел, воспитанной в Италии для совсем иной жизни, наши визиты принесли новые впечатления. В обращении с арендаторами она проявляла удивительный такт и умение находить общий язык, и я с истинным наслаждением наблюдал за их беседой. Сочетание в манерах гостии доброжелательности и простоты сразу располагало к ней людей, и, относясь к ней с особой почтительностью, они чувствовали себя спокойно и непринужденно. Все ее вопросы были как нельзя более уместны, их ответы просты и не менее уместны.

Кроме того, и это привлекло к ней многие сердца, оказалось, что она разбирается во всех их хворях и умеет готовить различные лекарства.

«Любовь к садоводству, — объясняла она им, — дала мне знание трав. В Италии мы обязательно изучаем такие вещи. Из одних растений мы делаем бальзам, которым надо растирать грудь при хрипах, из других — мазь от ожогов». Она учила их, как делать tisana — отвар от несварения желудка и бессонницы — по ее словам, лучший в мире ночной колпак, и рассказывала, что соком некоторых фруктов можно излечить любую болезнь — от воспаления горла до ячменя на глазу.

— Знаете, чем все это кончится? — как-то заметил я. — Вы станете местной повитухой. За вами станут посылать по ночам, чтобы принимать роды, и у вас не будет ни минуты покоя.

— Для таких случаев тоже есть tisana — из листьев малины и крапивы.

Если женщина пьет ее в течение шести месяцев, она рождает без боли.

— Какое-то колдовство, — сказал я. — Едва ли они сочтут возможным прибегать к вашим настоям.

— Что за вздор! Почему женщина должна страдать? — возразила кузина Рейчел.

Иногда после полудня, о чем я и предупреждал ее, кто-нибудь из местных дворян приезжал к ней с визитом. На «джентри», как называл их Сиком, кузина Рейчел производила столь же неотразимое впечатление, как и на простых людей.

Я довольно скоро понял, что Сиком на седьмом небе. Когда во вторник или в четверг около трех часов пополудни к дому подкатывал экипаж, он неизменно ждал в холле. Старик по-прежнему носил траур, но в дни визитов надевал новый сюртук, который берег специально для таких случаев. В обязанности злополучного Джона входило открывать прибывшим двери и отводить их к своему мэтру, который, важно вышагивая (о чем я незамедлительно узнавал от Джона), препровождал гостей из холла в гостиную. Эффектно (это уже от кузины Рейчел) распахнув дверь, он возглашал имена, совсем как председательствующий на банкете. Рейчел рассказывала мне, что Сиком заблаговременно обсуждал с ней возможность появления того или иного посетителя и представлял краткое изложение истории его семьи вплоть до последних дней. Как правило, его предсказания сбывались, и нам оставалось только предположить, что слуги соседствующих имений изобрели особый способ предупреждать друг друга о намерениях своих господ, в чем-то схожий с тем, как дикари в джунглях общаются друг с другом посредством ударов тамтама. Например, Сиком сообщает кузине Рейчел, будто ему доподлинно известно, что миссис Тримейн распорядилась подать экипаж в четверг и что она привезет с собой свою замужнюю дочь миссис Гау и незамужнюю дочь мисс Изабель; при разговоре с мисс Изабель госпоже не следует упускать из виду, что юная леди страдает

дефектом речи. Или: вполне вероятно, что во вторник пожалует престарелая леди Тенрин, поскольку в этот день она всегда навещает свою внучку, которая живет милях в десяти от нас; госпожа должна хорошенько запомнить, что при леди Тенрин ни в коем случае нельзя упоминать про лис, так как перед рождением старшего сына она испугалась лисы и бедный джентльмен по сию пору носит на левом плече родимое пятно.

— И знаете, Филипп, — после отъезда гостыи сказала кузина Рейчел, — все время, пока она сидела у меня, приходилось избегать разговора об охоте.

Но тщетно, она постоянно возвращалась к этой теме, словно мышь, почуявшая запах сыра. В конце концов, чтобы уговорить ее, мне пришлось сочинить историю про охоту на диких кошек в Альпах, чем никто никогда не занимался, поскольку это просто невозможно.

Когда последний экипаж благополучно выкатывал на подъездную аллею и я, украдкой выйдя из парка, через заднюю дверь возвращался домой, кузина Рейчел всегда встречала меня какой-нибудь историей о только что отбывших визитерах.

Мы смеялись. Она поправляла перед зеркалом волосы, укладывала на место подушки, а я тем временем разделялся с остатками сладкого печенья, которым лакомились гости. Все это походило на игру, на молчаливый сговор, и тем не менее, думаю, она была счастлива в минуты, когда, сидя в гостиной, непринужденно беседовала со мной. Она не скрывала своего интереса к людям, к их жизни, мыслям, поступкам. «Но, Филипп, — не раз говорила она мне, — вы не понимаете, насколько все здесь для меня внове. Здешнее общество так не похоже на флорентийское. Мне всегда хотелось знать, как живут в Англии, в деревне. Теперь я начинаю знакомиться с вашей жизнью, и она доставляет мне истинное удовольствие».

Я брал из сахарницы кусок сахара, раскалывал его и отрезал ломтик кекса с тмином.

— Не могу представить ничего более скучного, чем обсуждение банальностей — не важно, во Флоренции или в Корнуолле.

— Ах, вы безнадежны и кончите свои дни ограниченным человеком, у которого в мыслях только турнепс да капуста.

Я бросался в кресло и, чтобы испытать ее, клал ноги в грязных сапогах на скамеечку, исподтишка наблюдая за ней. Она ни разу не

сделала мне замечания, как будто ничего не видела.

— Продолжайте, — говорил я, — поведайте мне о последних сплетнях в графстве.

— Зачем рассказывать, если вам это неинтересно?

— Затем, что мне приятно вас слушать.

Итак, прежде чем подняться к себе и переодеться к обеду, кузина Рейчел потчевала меня новейшими сплетнями со всех концов графства: кто с кем обручился, кто за кого вышел замуж, кто ожидает прибавления семейства. За двадцать минут беседы она могла получить гораздо больше сведений от незнакомого человека, чем я от близкого знакомого за долгие годы.

— Как я и предполагала, — сказала мне кузина Рейчел, — на пятьдесят миль в округе нет ни одной матери, которую вы не приводили бы в отчаяние.

— Интересно почему?

— Потому что ни разу не удосужились взглянуть ни на одну из дочерей.

Такой высокий, такой представительный, такой во всех отношениях подходящий жених. «Прошу вас, миссис Эшли, уговорите его почаще выезжать».

— И что вы ответили?

— Я ответила, что вам вполне достаточно тепла и развлечений в этих четырех стенах. Правда, если подумать, такое объяснение могут превратно истолковать. Мне следовало быть осмотрительнее.

— Говорите им все что угодно, — сказал я, — лишь бы мне не пришлось принимать от них приглашения или приглашать их к себе. У меня нет ни малейшего желания смотреть ни на чьих дочерей.

— Многие ставят на Луизу, — заметила кузина Рейчел. — Говорят, что в конце концов она вас заполучит. Есть шанс и у третьей мисс Паско.

— Боже правый! — воскликнул я. — Белинда Паско! С таким же успехом я мог бы жениться на Кейти Серл, нашей прачке. Право, кузина Рейчел, вам не мешало бы вступить за меня. Сказали бы этим сплетникам, что я затворник и трачу все свободное время на кропание латинских стихов. Они были бы потрясены.

— Их ничем не потрясти, — возразила она. — Слух, что красивый молодой холостяк любит уединение и стихи, придаст вам

еще больше романтичности. Подобные вещи только возбуждают аппетит.

— Тогда пусть они удовлетворяют его в другом месте, — сказал я. — Просто поразительно, с каким упорным постоянством мысли женщин в этой части света — хотя, может быть, и в других тоже — обращаются к замужеству.

— Им больше не о чем думать, — сказала она. — Выбор невелик. Должна признаться, я и сама не избегаю подобных разговоров. Мне представили целый список подходящих вдовцов. Говорят, один пэр из Западного Корнуолла как раз то, что мне надо. Пятьдесят лет, наследник и две дочери живут своими семьями.

— Уж не старик ли Сент-Айвз? — спросил я в негодовании.

— Да, кажется, так его и зовут. Говорят, он очарователен.

— Очарователен! Он-то! Вечно пьян к полудню и постоянно таскается по коридорам за служанками. У него служила племянница Билли Роу из Бартонна. Ей пришлось вернуться домой, так он ее напугал.

— И кто же теперь сводит сплетни? — спросила кузина Рейчел. — Бедный лорд Сент-Айвз... Возможно, будь у него жена, он бы не стал таскаться по коридорам. Хотя, конечно, все зависит от того, какая жена.

— Не намерены ли вы выйти за него? — холодно спросил я.

— Во всяком случае, вы могли бы пригласить его к обеду, — предложила кузина Рейчел с той серьезностью во взгляде, за которой, как я хорошо знал, всегда таился подвох. — Мы могли бы устроить прием, Филипп. Самые прелестные молодые женщины — для вас, самые привлекательные вдовцы — для меня. Но я, кажется, уже сделала выбор. Думаю, если до этого дойдет, то я выйду за вашего крестного, мистера Кендалла. Прямота и откровенность его речей приводят меня в восторг.

Возможно, она сказала это нарочно, но я попался на удочку и взорвался:

— Вы серьезно? Не может быть! Выйти замуж за моего крестного! Черт возьми, кузина Рейчел, ему почти шестьдесят, он не вылезает из простуды и вечно жалуется на здоровье.

— Значит, в отличие от вас, он не находит в своем доме тепла и уюта, — заметила она.

Я понял, что она смеется, и тоже рассмеялся. Однако вскоре меня охватили сомнения. Когда крестный приезжал к нам по воскресеньям, он действительно бывал очень обходителен, и они прекрасно ладили. Два или три раза мы обедали у него, и я никогда раньше не видел крестного таким оживленным. Но вот уже десять лет, как он овдовел. Разумеется, он не мог лелеять столь невероятную надежду и попытаться счастья с моей кузиной. Да и она не приняла бы его предложение. При этой мысли меня бросило в жар. Кузина Рейчел в Пелине... Кузина Рейчел, миссис Эшли, становится миссис Кендалл...

Какой ужас! Если старик вынашивает самонадеянные планы, то будь я проклят, если стану по-прежнему приглашать его на воскресные обеды! Но отказаться от его общества значило отказаться от давно заведенной традиции. Это было невозможно. Итак, все должно оставаться по-старому; но когда в следующее воскресенье крестный, сидевший справа от кузины Рейчел, наклонил к ней полуоглохшее ухо, и вдруг рассмеялся, и, воскликнув: «О, великолепно, великолепно!» — откинулся на спинку стула, я мрачно задумался над тем, к чему относились его слова и что вызвало его смех. Как бы невзначай бросить на ветер шутку, оставляющую занозу в сердце, подумал я, — еще один чисто женский прием.

Обворожительная, в прекрасном настроении, кузина Рейчел сидела за столом с моим крестным по правую и викарием по левую руку. Все трое без усталости болтали, я же без видимой причины был молчалив и угрюм, как Луиза в то первое воскресенье, и наш конец стола сильно напоминал собрание квакеров.

Луиза смотрела в свою тарелку, я — в свою. Вдруг я поднял глаза и поймал на себе пристальный взгляд Белинды Паско. Вспомнив ходившие по округе сплетни, я сделался еще мрачнее. Наше молчание побудило кузину Рейчел удвоить усилия, видимо, с тем, чтобы хоть как-то сплести его. Пока она, крестный и викарий старались перещеголять друг друга в чтении стихов, я все больше мрачнел и в душе благодарил судьбу за то, что миссис Паско по причине легкого недомогания не присутствует на обеде. Луиза была не в счет. Я не считал себя обязанным разговаривать с ней.

После отъезда гостей кузина Рейчел сделала мне выговор.

— Когда я развлекаю ваших друзей, — сказала она, — то вправе рассчитывать на вашу помощь. Чем вам не угодили, Филипп? Вы

сидели с надутым видом, хмурились и ни словом не обмолвились со своими соседками. Бедные девушки...

Она укоризненно покачала головой.

— На вашем конце стола царило такое веселье, — ответил я, — что мне не имело смысла вносить свою лепту. Весь этот вздор про «Я вас люблю» по-гречески. А викарий с его: «`Восторги сердца моего" очень недурно звучит по-древнееврейски»!

— Он прав, — сказала она. — Меня поразило, с какой легкостью эта раскатистая фраза слетела с его языка. Между прочим, ваш крестный хочет показать мне маяк при лунном свете. Раз увидите, говорит он, и уже никогда не забудете.

— Ну так он вам его не покажет, — ответил я. — Маяк — моя собственность. В имении крестного есть какие-то древние земляные сооружения.

Пускай их и показывает. Они густо заросли куманикой.

И я швырнул в огонь кусок сахара, надеясь, что шум выведет ее из равновесия.

— Не понимаю, что на вас нашло, — сказала кузина Рейчел. — Вам изменяет чувство юмора.

Она потрепала меня по плечу и пошла наверх. Именно это и бесит в женщинах больше всего. Последнее слово всегда за ними. Оставят вас сражаться с приступом дурного настроения, а сами — воплощенная невозмутимость и спокойствие! Можно подумать, что женщина всегда права. А если и нет, то она оборачивает свой промах к собственной выгоде и выдает черное за белое. Да та же кузина Рейчел. Разбрасывает мелкие уколы — намеки на прогулки с моим крестным под луной или другие вылазки, вроде посещения рынка в Лостуитиеле, и при этом серьезно спрашивает меня, надеть ли ей новый капор, полученный по почте из Лондона, — вуаль не такая густая, как у старого, меньше скрывает лицо и, как сказал крестный, очень идет ей. А в ответ на мое угрюмое замечание, что я не стану возражать, даже если ей вздумается скрыть лицо под маской, она воспаряет к высотам олимпийского спокойствия — разговор происходил в понедельник за обедом — и, пока я хмуро сижу за столом, безмятежно разговаривает с Сикомом, отчего я кажусь еще более мрачным, чем на самом деле.

Немного позднее, в библиотеке, где нас никто не видел, она смягчилась.

Безмятежность осталась, но появилось нечто похожее на нежность. Она больше не подшучивала надо мной за недостаток чувства юмора, не упрекала за угрюмый вид и попросила меня подержать шелк, чтобы выбрать цвета, которые мне больше нравятся, поскольку хотела вышить чехол для моего кресла в конторе.

Спокойно, без раздражения, без назойливости она расспрашивала меня, как я провел день, кого видел, что делал. Моя угрюмость прошла, я почувствовал себя легко и свободно. Глядя, как она разглаживает шелк, я спрашивал себя: отчего она не всегда такая, к чему мелкие уколы, взрывы раздражительности, нарушающие согласие, а через некоторое время — упорные старания восстановить его? Казалось, перепады моего настроения доставляют ей удовольствие, но почему? Я знал только то, что ее насмешки причиняют мне боль. И наоборот, видя ее расположение, я был счастлив и спокоен.

К концу месяца погода испортилась. Три дня не переставал лить дождь.

Работы в саду остановились, да и сам я, боясь промокнуть до нитки, не выходил из дома. Досужие визитеры из окрестных поместий, как все мы, сидели по домам. Тогда-то Сиком и намекнул, что пришло время разобрать вещи Эмброза; думаю, и я, и кузина Рейчел подсознательно откладывали это дело со дня на день. Сиком заговорил о нем однажды утром, когда мы с ней стояли у окна в библиотеке, глядя на проливной дождь.

— Для меня — контора, для вас — будуар, — только что заметил я. — А что в тех коробках из Лондона? Новые наряды, которые вы собираетесь примерить и отослать обратно?

— Никаких нарядов, — ответила она. — Всего-навсего ткань для портьер. По-моему, тетушка Феба не слишком хорошо различала цвета. Голубая спальня должна соответствовать своему названию. Сейчас она серая, а не голубая. И покрывало на кровати побито молью. Только не говорите Сикому.

Моль давняя. Я выбрала для вас новые портьеры и покрывало.

Вошел Сиком и, видя, что мы просто разговариваем, сказал:

— На дворе такое ненастье, сэр, вот я и подумал, не занять ли слуг дополнительной уборкой в доме. Ваша прежняя комната требует особого внимания. Но они не могут убрать ее, пока весь пол заставлен коробками и чемоданами мистера Эшли.

Я взглянул на кухню Рейчел, опасаясь, что бестактность старика задела ее, но, к моему удивлению, она спокойно приняла слова Сикома.

— Вы совершенно правы, Сиком, — сказала она. — Комнату не убрать, пока не распакованы чемоданы. Мы слишком надолго забыли о них. А что скажете вы, Филипп?

— Раз вы согласны, то все в порядке, — ответил я. — Пусть затопят камин, и, когда комната согреется, мы поднимемся наверх.

Думаю, оба мы старались скрыть друг от друга свои чувства под маской принужденной беспечности. Ради меня она не показывала, что ей не по себе. И я, со своей стороны, желая пощадить ее, напустил на себя самую искреннюю сердечность, абсолютно чуждую моей природе.

Дождь барабанил в окна моей старой комнаты, и на потолке выступило сырое пятно. Камин не топили с прошлой зимы; дрова дымили и громко потрескивали. На полу, в ожидании, когда их откроют, стояли коробки и чемоданы; на одной из коробок лежал знакомый мне дорожный плед темно-синей шерсти с желтой монограммой, выведенной в углу крупными буквами. Я сразу вспомнил, как в тот последний день накрывал им колени Эмброза, когда он уже сидел в экипаже, готовый к отъезду.

Молчание нарушила кухня Рейчел.

— Ну, — сказала она, — может быть, начнем с чемодана с одеждой?

Ее голос звучал нарочито жестко, по-деловому. Я протянул ей ключи, которые сразу же по приезде она вверила заботам Сикома.

— Как вам будет угодно, — сказал я.

Она вставила ключ в замок, повернула его и открыла крышку. Сверху лежал старый халат Эмброза. Я хорошо знал его. Халат тяжелого темно-синего шелка.

Рядом с ним лежали комнатные туфли, длинные, плоские. Я во все глаза смотрел на них, они словно вернули меня в прошлое. Мне вспомнилось, как Эмброс утром, еще не закончив бриться, с мылом на

лице, бывало, входил в мою комнату. «Послушай, малыш...» В эту самую комнату, где мы теперь стояли. В этом самом халате, в этих самых туфлях. Кузина Рейчел вынула их из чемодана:

— Что мы будем делать с ними?

Ее голос, только что такой жесткий, звучал тихо, приглушенно.

— Не знаю, — ответил я, — решайте сами.

— Если я отдам их вам, вы будете носить? — спросила она.

Странное чувство овладело мною. Я взял себе его шляпу. Его трость, куртку с обшитыми кожей рукавами, которую он оставил, уезжая в свое последнее путешествие, и которую с тех пор я почти не снимал с плеч. Но эти вещи... халат и комнатные туфли... Казалось, мы открыли гроб Эмброза и смотрим на него, мертвого.

— Нет, — ответил я, — не думаю.

Она ничего не сказала. Положила и то и другое на кровать. Затем перешла к костюмам. Один, очень легкий — наверное, Эмброз носил его в жаркую погоду, — был мне незнаком, но она, должно быть, хорошо его знала. От долгого лежания в чемодане костюм сильно измялся. Она вынула его и положила на кровать рядом с халатом.

— Надо отутюжить, — сказала она и вдруг торопливо начала вынимать вещи из чемодана и складывать в кучу. — Я думаю, Филипп, — проговорила она, — если вам они не нужны, люди в имении, которые любили его, были бы рады их получить. Вы лучше знаете, кому что отдать.

По-моему, она не видела, что делает. Словно обезумев, она вынимала вещи из чемодана, а я тем временем стоял и смотрел на нее.

— Чемодан? Чемодан всегда пригодится.

Она подняла на меня глаза, и голос ее оборвался.

Неожиданно она оказалась у меня в руках, прижала голову к моей груди.

— О, Филипп! Простите... Мне не следовало самой приходить сюда...

Нужно было оставить это на вас и Сикома.

Трудно определить мои ощущения в ту минуту. Казалось, я держу на руках ребенка или раненое животное. Я коснулся ее волос, приложил щеку к ее голове.

— Все хорошо, — сказал я, — не плачьте. Вернитесь в библиотеку. Я разберу остальное.

— Нет, — сказала она, — какая глупость, какая непростительная слабость... Вам также тяжело, как мне. Вы так любили его...

Я продолжал водить губами по ее волосам. Прижавшись ко мне, она казалась еще меньше, еще более хрупкой.

— Ничего страшного, — сказал я, — с таким делом справится и мужчина.

Женщине оно не под силу. Позвольте мне все сделать самому, Рейчел, идите вниз.

Она отошла от меня и вытерла глаза платком.

— Нет, — сказала она, — мне уже лучше. Это больше не повторится. Я уже распаковала одежду. Но если вы раздадите ее людям из имения, я буду вам очень благодарна. Что захотите оставить себе — оставьте и носите. Не бойтесь носить. Я не стану возражать, буду только рада.

Коробки с книгами стояли ближе к камину. Я принес ей стул, придвинул его к огню и, опустившись на колени перед оставшимися чемоданами, открыл их один за другим.

Я надеялся, что она не заметила. Я впервые назвал ее не «кузина Рейчел», а просто «Рейчел». Не знаю, как это вышло. Наверное, потому, что, прильнув к моей груди, она была гораздо меньше меня.

В отличие от одежды книги не несли на себе отпечатка личности их владельца. Среди них были давно знакомые мне любимцы Эмброза, с которыми он всегда путешествовал; их кузина Рейчел отдала мне, чтобы я держал их рядом с кроватью. Она уговорила меня взять его запонки, его часы и перо, и я с радостью согласился. Некоторые книги я видел в первый раз. Беря в руки том за томом, она рассказывала мне, как они оказались у Эмброза; эту книгу, говорила она, он разыскал в Риме и очень радовался, что выгодно приобрел ее, а вон та, в старинном переплете, и еще рядом с ней — куплены во Флоренции.

Она описала лавку и старика букиниста, который их продал. Пока она говорила, недавняя печаль прошла, исчезла, как слезы, которые она смахнула с глаз.

Одну за другой мы раскладывали книги на полу. Я принес тряпку, и кузина Рейчел стала вытирать с них пыль. Время от времени она читала мне какой-нибудь отрывок, который особенно нравился Эмброзу, показывала рисунок или гравюру, и я видел, как она

улыбается над запомнившейся страницей. Дошла очередь до тома с планами садов.

— Он нам очень пригодится, — сказала она и, встав со стула, поднесла книгу к окну, чтобы лучше рассмотреть ее.

Я наугад раскрыл следующую книгу. Из нее выпал клочок бумаги, исписанный почерком Эмброза. Он был похож на отрывок письма.

«Разумеется, это болезнь (я часто о ней слышал), нечто вроде клептомании или какой-то другой недуг, который она, несомненно, унаследовала от своего мота-отца Александра Корина. Не могу сказать, как давно она им страдает, возможно с рождения, но именно им объясняется многое из того, что меня до сих пор беспокоит во всем этом деле. Но я знаю, твердо знаю, дорогой мальчик, что не могу и дальше позволять ей распоряжаться моим кошельком, иначе я буду разорен и пострадает имение. Тебе непременно надо предупредить Кендалла, что если по какой-либо случайности...»

Вот и все. На клочке не было даты. Почерк самый обыкновенный.

Но здесь кухня Рейчел вернулась от окна, и я сжал бумажку в руке.

— Что там у вас? — спросила она.

— Ничего, — ответил я.

Я бросил листок в огонь. Она видела, как он горит. Видела почерк, свернувшуюся от жара бумагу, вспышку пламени.

— Это рука Эмброза, — сказала она. — Что там? Письмо?

— Так, какие-то заметки на клочке бумаги, — ответил я, чувствуя, что лицо мое пылает.

Я протянул руку за следующим томом. Она поступила так же. Мы продолжали разбирать книги бок о бок, но теперь нас разделяло молчание.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Разбирать книги мы закончили к полудню. Сиком прислал к нам Джона и молодого Артура узнать, не надо ли снести что-нибудь вниз до того, как они пойдут обедать.

— Оставьте одежду на кровати, Джон, — сказал я, — и чем-нибудь накройте. Скоро мне понадобится помощь Сикома, чтобы упаковать ее. А эту стопку книг снесите в библиотеку.

— А эти, пожалуйста, в будуар, — попросила кузина Рейчел.

Она заговорила впервые с тех пор, как я сжег клочок бумаги.

— Филипп, вы не будете возражать, если я оставлю книги о садах в своей комнате?

— Разумеется, нет, — ответил я. — Вы же знаете, что все книги ваши.

— Нет, — возразила она, — нет. Эмброз хотел бы видеть их в библиотеке.

Она встала, оправила платье, отдала тряпку Джону.

— Внизу подан холодный ленч, мадам, — сказал он.

— Благодарю вас, Джон, я не голодна.

Когда Джон и Артур вышли, унося книги, я в нерешительности остановился у открытой двери.

— Вы не спуститесь в библиотеку помочь мне расставить книги? — спросил я.

— Пожалуй, нет.

Она помедлила, словно желая что-то добавить, но, так ничего и не сказав, пошла по коридору к своей комнате.

Я одиноко сидел за ленчем, пристально глядя в окно столовой на проливной дождь. Не стоило и пытаться выходить из дома. Лучше с помощью Сикома разобраться с одеждой. Он будет польщен, что к нему обращаются за советом. Что пойдет в Брентон, что в Тренант, что в Ист-Лодж. Все надо тщательно разобрать, чтобы никого не обидеть. На это уйдет целый день. Я попробовал сосредоточиться на предстоящем деле, но мои мысли, как зубная боль, которая внезапно вспыхивает и снова утихает, навязчиво возвращались к клочку старой бумаги. Каким образом он оказался между страницами книги, долго

ли пролежал там, разорванный, забытый? Полгода, год или больше? Может быть, Эмброз делал наброски для письма ко мне, которое так и не попало по назначению, или существуют другие листки, фрагменты того же письма, которые по неведомой мне причине все еще лежат между страницами одной из его книг?

Должно быть, он писал до болезни. Почерк твердый и четкий. Следовательно, прошлой зимой, возможно, прошлой осенью... Мне сделалось стыдно. Кто дал мне право копаться в чужом прошлом, допытываться до сути письма, которого я не получал? Это не мое дело. Я жалел, что случайно нашел его.

Весь день мы с Сикомом разбирали одежду Эмброза, и пока он делал пакеты, я писал к ним сопроводительные записки. Сиком предложил раздать одежду на Рождество, что показалось мне здоровой мыслью, которая должна прийтись по душе арендаторам.

Когда мы закончили, я снова спустился в библиотеку и расставил книги по полкам. Прежде чем поставить каждый том на место, я перетряхивал его, испытывая при этом неловкость, как человек, случайно услышавший чужой разговор.

«...Разумеется, это болезнь, нечто вроде kleptomании или какой-нибудь другой недуг...» Почему эти слова врезались мне в память? Что Эмброз имел в виду?

Я достал словарь и отыскал слово «kleptomания». «Непреодолимая склонность к воровству у лица, не побуждаемого к нему стесненными обстоятельствами». В этом он ее не обвинял. Он обвинял ее в расточительности и мотовстве. Но разве расточительность — болезнь? Обвинять кого-то в такой привычке... Как не похоже на Эмброза, самого щедрого из людей... Когда я ставил словарь на полку, дверь отворилась, и в библиотеку вошла кухня Рейчел.

Я чувствовал себя виноватым, как будто она уличила меня во лжи.

— Я только что закончил расставлять книги, — сказал я и тут же подумал, не заметила ли она в моем голосе фальшь, которую заметил я.

— Я вижу.

Она подошла к креслу у камина и села. Она переделалась к обеду. Я никак не думал, что уже так поздно.

— Мы разобрали одежду, — сказал я. — Сиком очень помог мне. Мы думаем, что лучше всего раздать вещи на Рождество, если вы не против.

— Он уже сказал мне. Думаю, это самый подходящий случай.

Не знаю, во мне было дело или в ней, но между нами вновь возникла легкая напряженность.

— Дождь так и не переставал весь день, — сказал я.

— Да, — согласилась она.

Я посмотрел на свои руки, пыльные от книг.

— Если позволите, я пойду умоюсь и переоденусь.

Я отправился наверх, оделся, и, когда спустился снова, обед был уже подан. Мы молча заняли свои места. По давней привычке Сиком часто вмешивался в наш разговор за обедом, если хотел что-нибудь сказать, и в тот вечер, когда обед подходил к концу, обратился к кузине Рейчел:

— Вы показали мистеру Филиппу новые портьеры, мадам?

— Нет, Сиком, — ответила она. — Я не успела. Но если у мистера Филиппа есть желание посмотреть, могу показать их после обеда. Попросите Джона принести их в библиотеку.

— Портьеры? — недоуменно спросил я. — Какие портьеры?

— Разве вы не помните? — удивилась кузина Рейчел. — Я же вам говорила, что заказала портьеры для голубой спальни. Сиком их видел, и они произвели на него большое впечатление.

— Ах да, — сказал я, — теперь припоминаю.

— Я в жизни не видел ничего подобного, сэр, — сказал Сиком. — И верно, ни в одном доме в наших краях нет такого.

— Их привезли из Италии, Сиком, — объяснила кузина Рейчел. — Их можно купить только в одном магазине в Лондоне. Мне сказали про него во Флоренции. Хотите взглянуть, Филипп, или вам неинтересно?

В ее голосе звучали надежда и тревога, словно она хотела услышать мое мнение и вместе с тем опасалась быть навязчивой. Не знаю почему, но я чувствовал, что краснею.

— О да, — сказал я, — с удовольствием взгляну на них.

Мы встали из-за стола и пошли в библиотеку. Вскоре Сиком вместе с Джоном принес ткань и разложил ее перед нами. Он был прав. Ничего подобного не было во всем Корнуолле. Я не видел

ничего, даже отдаленно напоминающего их, ни в Лондоне, ни в Оксфорде. Богатая парча и тяжелый шелк. Такое можно увидеть только в музее.

— Вот это как раз для вас, сэра, — почти шепотом, будто в церкви, сказал Сиком.

— Голубая ткань для полога над кроватью, — сказала кузина Рейчел, — а синяя с золотом — для портьер и покрывала. А что скажете вы, Филипп?

Она вопросительно взглянула на меня. Я не знал, что ответить.

— Вам не нравится? — спросила она.

— Очень нравится, — ответил я. — Но... — Меня бросило в жар. — ...Все это, наверное, очень дорого стоит?

— О да, дорого, — ответила она. — Такая ткань всегда дорого стоит, но она и через много лет будет как новая, Филипп. Поверьте, ваш внук и правнук будут спать в голубой спальне с этим покрывалом на кровати и с этими портьерами на окнах. Вы согласны, Сиком?

— Да, мадам, — сказал Сиком.

— Но главное — нравятся ли они вам, Филипп? — снова спросила она.

— Конечно, — проговорил я, — как могут они не нравиться?

— В таком случае они ваши, — сказала кузина Рейчел. — Это мой подарок вам. Уберите их, Сиком. Утром я напишу в Лондон, что мы их оставляем.

Сиком и Джон сложили ткань и вышли. Я ощутил на себе взгляд кузины Рейчел и, не желая отвечать на него, вынул трубку и дольше, чем обычно, раскуривал ее.

— Вас что-то беспокоит? — спросила она. — Что именно?

Я не знал, как ей ответить. Мне не хотелось обижать ее.

— Вам не следует делать мне такие подарки, — с трудом проговорил я.

— Это слишком дорого.

— Но я хочу подарить вам эти драпировки, — возразила она — В сравнении с тем, что вы для меня сделали, мой подарок — сущий пустяк.

— Очень мило с вашей стороны, но все же я думаю, что вам не стоит этого делать.

— Позвольте мне самой судить, — заявила она. — Я уверена, что когда вы увидите комнату заново отделанной, то останетесь довольны.

Я чувствовал себя донельзя неловко, и не потому, что она со свойственной ей импульсивностью и щедростью хотела сделать мне подарок, который еще вчера я принял бы без колебаний, но после того, как я прочел отрывок проклятого письма, меня преследовали сомнения — не обернется ли то, что она хочет сделать для меня, против нее самой и, уступая ей, не положу ли я начало тому, чего и сам до конца не понимаю.

Вскоре она сказала:

— Книга о садах очень пригодится нам при планировке вашего парка. Я совсем забыла, что когда-то подарила ее Эмброзу. Вам обязательно надо просмотреть все гравюры. Конечно, они не совсем подходят к здешним краям, но некоторые детали вполне можно позаимствовать. Например, терраса, выходящая на море, а с противоположной стороны — нижний сад, как на одной римской вилле, где я обычно останавливалась. В книге есть гравюра с его изображением. И место подходящее есть — там, где когда-то была старая стена.

Не знаю, как это получилось, но с неожиданной для себя самого бесцеремонностью я вдруг спросил:

— Вы и родились в Италии?

— Да, — ответила она, — разве Эмброс вам не писал? Семья моей матери всегда жила в Риме, а мой отец, Александр Корин, был из тех, кто редко засиживается на одном месте. Он терпеть не мог Англию — по-моему, он не слишком ладил со своим семейством здесь, в Корнуолле. Ему нравилась жизнь Рима; они с матерью очень подходили друг другу, но вели довольно странное и в чем-то рискованное существование, вечно без гроша в кармане. Ребенком я этого не понимала, но когда выросла...

— Они оба умерли? — спросил я.

— О да. Отец умер, когда мне было шестнадцать лет. Пять лет мы жили вдвоем с матерью. Пока я не вышла за Козимо Сангаллетти. То были страшные пять лет; мы постоянно переезжали из города в город. Юность моя была далеко не безоблачной, Филипп. Не далее как в прошлое воскресенье я невольно сравнивала Луизу и себя в ее возрасте.

Значит, когда она в первый раз вышла замуж, ей был двадцать один год.

Как сейчас Луизе. Я подумал: на что они жили, пока она не встретила Сангаллетти? Возможно, давали уроки итальянского. Не потому ли Рейчел пришла мысль заняться этим и здесь?

— Моя мать была очень красива, — сказала она. — Совсем не похожа на меня. Кроме цвета волос. Высокая, статная. И как многие женщины ее типа, она неожиданно резко сдала, располнела, перестала следить за собой. Я была рада, что отец не дожил до этого. Рада, что он не увидел многого, что она позволяла себе, да и я тоже.

Она говорила ровно, спокойно; в голосе ее не было горечи. Я смотрел, как она сидит у камина, и думал о том, сколь мало я о ней знаю, да и едва ли когда-нибудь узнаю о ее прошлом больше того, что она рассказала. Она назвала юность Луизы безоблачной и была права. И я вдруг подумал, что то же самое можно сказать и обо мне. Помимо опыта, приобретенного в Харроу и Оксфорде, я ничего не знал о жизни за пределами своих пятисот акров земли. Что значило для такой женщины, как кузина Рейчел, переезжать с места на место, менять один дом на другой, на третий, выйти замуж раз, второй? Закрывает ли она за собой дверь в прошлое, никогда не вспоминая о нем, или ее преследовали воспоминания — изо дня в день, из года в год?

— Он был намного старше вас? — спросил я.

— Козимо? — отозвалась она. — О нет, примерно на год. Мою мать ему представили во Флоренции, ей давно хотелось познакомиться с семейством Сангаллетти. Ему понадобился целый год, чтобы выбрать между нею и мной. За это время она, бедняжка, утратила красоту, а заодно и его. Мое удачное приобретение обернулось обязанностью платить по векселям. Но Эмброз, наверное, описал вам всю эту историю. Она не из счастливых.

Я чуть было не сказал: «Нет, Эмброз был гораздо более скрытным, чем вы думаете. Если что-то причиняло ему боль или шокировало, он делал вид, будто ничего не замечает. О вашей жизни он поведал мне только то, что Сангаллетти убили на дуэли». Но ничего подобного я не сказал. Мне вдруг стало ясно, что я тоже не хочу знать ни про Сангаллетти, ни про ее мать, ни про ее жизнь во

Флоренции. Я хотел захлопнуть дверь в прошлое. Более того — запереть ее на замок.

— Да, — сказал я. — Да, Эмброз писал мне.

Кузина Рейчел вздохнула и поправила подушку под головой.

— Кажется, все это было так давно! Я была в те годы другим человеком.

Видите ли, я почти десять лет пробыла замужем за Козимо Сангаллетти. И я не буду больше молода, даже если вы откроете мне целый мир. Впрочем, я становлюсь пристрастной.

— Вы рассуждаете, — заметил я, — будто вам по меньшей мере девяносто девять.

— Мне тридцать пять, — сказала она, — а для женщины это все равно что девяносто девять. — Она посмотрела на меня и улыбнулась.

— Неужели? А я думал, вам больше.

— Подобное заявление многие женщины сочли бы оскорбительным, но я воспринимаю его как комплимент. Благодарю, Филипп, — сказала она. — А что все-таки было на той бумаге, которую вы сожгли утром?

Неожиданность вопроса застигла меня врасплох. Я во все глаза уставился на кузину Рейчел.

— Бумага? — попробовал увильнуть я. — Какая бумага?

— Вы отлично знаете какая, — сказала она. — Клочок бумаги, исписанный Эмброзом, который вы сожгли, чтобы я его не увидела.

Тогда я решил, что полуправда лучше, чем ложь. Мое лицо залилось краской, но я не отвел взгляда.

— Это был обрывок письма, — сказал я, — письма, которое Эмброз, скорей всего, писал мне. Он признавался, что обеспокоен чрезмерными тратами.

Там было всего несколько строчек, я даже не помню точно их содержания. Я бросил бумагу в огонь, потому что, увидев ее именно в этот момент, вы могли бы расстроиться.

К моему немалому удивлению, глаза, пристально смотревшие на меня, смягчились. Рука, теребившая кольца, упала на колени.

— И все? — спросила она. — А я-то думала... никак не могла понять...

Слава Богу, она приняла мое объяснение.

— Бедный Эмброз, — сказала она. — То, что он считал моей расточительностью, было для него постоянным источником беспокойства.

Странно, что вы не слышали о ней раньше, гораздо раньше. Жизнь за границей так отличалась от того, к чему он привык дома! Он никак не хотел с этим смириться. К тому же я знаю — и, видит Бог, не могу винить его, — что в глубине души он возмущался жизнью, которую я была вынуждена вести до встречи с ним. Эти ужасные долги... он заплатил их все до одного.

Я молча курил трубку, но, глядя на нее, чувствовал, что мое волнение проходит, беспокойство стихает. Полуправда сделала свое дело: кухня Рейчел держала себя без недавней натянутости.

— Первые месяцы после нашей свадьбы он был так щедр! Вы не представляете, Филипп, что это значило для меня. Наконец-то рядом со мной был человек, которому я доверяла и, самое замечательное, которого любила.

Думаю, он дал бы мне все, о чем бы я ни попросила. Вот почему, когда он заболел... — Ее голос дрогнул, глаза затуманились. — Вот почему было так трудно понять, что с ним произошло.

— Вы хотите сказать, что он перестал быть щедрым? — спросил я.

— О нет, он был щедр, — сказала она, — но по-иному. Он продолжал покупать мне подарки, драгоценности, как будто хотел испытать меня. Я не могу этого объяснить. Но если я просила денег на какие-нибудь мелочи для дома, он всегда отказывал. Смотрел на меня со странной, задумчивой подозрительностью, спрашивал, зачем мне нужны деньги, на что я собираюсь их тратить, не хочу ли кому-нибудь отдать... В конце концов мне приходилось обращаться к Райнальди. Филипп, я должна была просить денег у Райнальди, чтобы выплатить жалованье слугам.

Она снова замолкла и посмотрела на меня.

— И Эмброз это стало известно? — спросил я.

— Да, — ответила она. — Кажется, я уже говорила вам, что он недолюбливал Райнальди. Но когда узнал, что я ездила к нему за деньгами... это был конец; он заявил, что не потерпит визитов Райнальди на виллу. Вы не поверите, Филипп, но мне приходилось

украдкой, пока Эмброз отдыхал, выходить из дома, чтобы встретиться с Райнальди и получить от него деньги на хозяйство.

Она вдруг всплеснула руками и встала с кресла:

— О Боже, я совсем не собиралась рассказывать вам об этом!

— Почему? — спросил я.

— Хотела, чтобы вы запомнили Эмброза таким, каким знали его здесь. Для вас он связан с этим домом. Тогда он был вашим Эмброзом. И пусть навсегда таким и останется. Последние месяцы были моими, я не хочу ни с кем ими делиться. И менее всего — с вами.

У меня не было ни малейшего желания делить их с нею. Я хотел, чтобы она закрыла все двери в прошлое, все до единой.

— Вы понимаете, что произошло? — Она отвернулась от окна и упор посмотрела на меня. — Открыв чемоданы в комнате наверху, мы допустили ошибку. Нам следовало там их и оставить. Нельзя было трогать его вещи. Я это почувствовала, как только открыла первый чемодан и увидела его халат и комнатные туфли. Мы выпустили на свободу нечто такое, чего не было между нами прежде. Какую-то горечь. — Она сильно побледнела и плотно сжала руки.

— Я не забыла о письмах, которые вы сожгли. Я выбросила их из головы, но сегодня, с той минуты, когда мы открыли чемоданы, меня не покидает чувство, будто я снова перечитала их.

Я поднялся со стула и стоял спиной к камину. Кузина Рейчел взволнованно ходила по комнате. Я не знал, что сказать ей.

— Он писал вам, что я следила за ним, — вновь заговорила она. — Конечно следила, как бы он не причинил себе вреда. Райнальди хотел, чтобы я пригласила монахинь из монастыря, но я отказалась. Если бы я это сделала, Эмброз сказал бы, что я наняла надзирателей сторожить его. Он никому не доверял. Врачи были добрыми, терпеливыми людьми, но он почти всегда отказывался принимать их. Он попросил меня рассчитать всех слуг — одного за другим. В конце концов остался только Джузеппе. Ему Эмброз доверял. Говорил, что у него собачьи глаза...

Она внезапно замолкла и отвернулась. Я вспомнил слугу из сторожки у ворот виллы, его искреннее желание разделить мою боль. Как странно... Эмброз тоже доверял этим честным, преданным глазам... А я ведь только раз и взглянул на него!

— Не стоит говорить обо всем этом, — сказал я. — Эмброзу уже не сможешь, про себя же могу сказать: то, что было между вами, не мое дело.

Все это было и прошло, не надо ворошить прошлое. Вилла Сангаллетти не была его домом. И для вас она перестала быть домом с того дня, когда вы поженились. Ваш дом здесь.

Она обернулась и посмотрела на меня.

— Иногда, — медленно проговорила она, — вы бываете так похожи на него, что мне становится страшно. В ваших глазах я порою вижу то же выражение, словно он вовсе не умер и я должна вновь пережить все, что уже пережила однажды. Я бы не вынесла снова ни этой подозрительности, ни этой горечи, преследовавшей меня изо дня в день, из ночи в ночь.

Пока она говорила, у меня перед глазами стояла вилла Сангаллетти. Я видел небольшой двор, раkitник в золотистом весеннем убранстве; видел стул, сидящего Эмброза, а рядом его трость. Я всем существом ощущал мрачное безмолвие этого места. Вдыхал пахнувший плесенью воздух, следил за водой, медленно струящейся из фонтана. И впервые женщина, стоящая на балконе, была не плодом моего воображения, а самой Рейчел. Она смотрела на Эмброза с тем же молчаливым укором, с тем же страданием и мольбой. Я протянул к ней руки.

— Рейчел, — позвал я. — Подойдите ко мне.

Она прошла через комнату и вложила свои руки в мои.

— В этом доме нет горечи, — сказал я. — Этот дом мой. Когда люди умирают, горечь уходит вместе с ними. Вещи, о которых мы говорили, упакованы и убраны. Они больше не имеют к нам никакого отношения. Отныне вы будете помнить Эмброза, как помню его я. Мы оставим его старую шляпу на спинке скамьи в холле. А трость в стойке — вместе с другими. Вы здесь своя, как и я, как Эмброс когда-то. Мы, все трое, неотделимы от этого дома. Понимаете?

Она подняла на меня глаза. Она не отняла от меня руки.

— Да, — ответила она.

Меня охватило безотчетное волнение. Как будто все, что я говорил и делал, было predetermined некоторой высшей силой, и в то же время едва слышный голос из потаенной глубины сознания нашептывал мне: «Ты никогда не отречешься от этого мгновения.

Никогда... никогда...» Мы стояли, все еще держа друг друга за руки, и она сказала:

— Почему вы так добры ко мне, Филипп?

Я вспомнил, как утром она в слезах склонила голову мне на грудь, а я обнял ее и коснулся лицом ее волос. Я хотел, чтобы это случилось вновь.

Хотел так, как не хотел никогда и ничего в жизни. Но в этот вечер она не плакала. В этот вечер она не прильнула ко мне и не склонила голову на мою грудь. Просто стояла, вложив свои руки в мои.

— Это не доброта, — сказал я. — Просто я хочу, чтобы вы были счастливы.

Она отошла от меня, взяла подсвечник и, выходя из библиотеки, сказала:

— Спокойной ночи, Филипп, и да благословит вас Господь. Придет день, и вы, быть может, познаете частицу того счастья, какое однажды познала я.

Когда ее шаги замерли на лестнице, я сел и устремил взгляд в огонь. Мне казалось, что если в доме и осталась горечь, то исходит она не от кухни Рейчел, не от Эмброза, а гнездится в глубине моего собственного сердца. Но ей я никогда этого не скажу, этого она никогда не узнает. Старый грех ревности, который я считал навсегда погребенным и забытым, с новой силой пробудился во мне. Но теперь я ревновал не к Рейчел, а к Эмброзу, которого прежде любил больше всех в целом мире.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ноябрь и декабрь прошли очень быстро, во всяком случае для меня.

Обычно, когда дни становились короче, погода портилась, работы в поле прекращались и к пяти часам уже темнело, длинные вечера казались мне невыносимо тоскливыми и однообразными. Не большой охотник до чтения и слишком нелюдимый по природе, чтобы находить удовольствие в охоте с соседями и в званых обедах, я всегда с нетерпением ждал конца года, когда, проведив Рождество и самый короткий зимний день, начинаешь предвкушать близкую весну.

На Запад весна приходит рано. Еще перед Новым годом зацветают первые кусты.

Но та осень прошла без скуки. Опали листья, деревья стояли обнаженными.

Бартонские земли потемнели и набухли от дождя, холодный ветер гнал по морю мелкую зыбь. Но я смотрел на это без уныния.

Мы — кузина Рейчел и я — строго придерживались распорядка, который редко нарушался и устраивал нас обоих. Если позволяла погода, кузина Рейчел проводила утро в парке, давая Тамлину и садовникам указания относительно новых посадок и наблюдая за прокладыванием дорожки с террасами, о чем мы недавно договорились. Для этого пришлось нанять еще несколько человек, кроме тех, что работали в лесу. Тем временем я занимался обычными делами по имению, разъезжая верхом от фермы к ферме или наведываясь на принадлежащие мне земли за пределами имения. В половине первого мы встречались за ленчем, как правило состоящим из ветчины или пирога и кекса. Слуги обедали, и мы обходились без них.

Когда, отлучаясь из дома или сидя в конторе, я слышал, как часы на башне бьют полдень и им вторит громкий колокол, сзывающий слуг к обеду, я всегда испытывал волнение и радость. Все, чем бы я ни занимался, вдруг переставало меня интересовать. Скажем, я ехал верхом через поля, парк или лес, и до меня долетал бой часов и колокола — если ветер дул в мою сторону, они были слышны на

расстоянии трех миль, — я тут же нетерпеливо поворачивал Цыганку к дому, словно боялся пропустить хоть одно мгновение ленча. То же самое повторялось в конторе. Я тупо смотрел на лежащие передо мной бумаги, кусал перо, откидывался на спинку стула, и все, что я перед тем писал, теряло значение. Письмо подождет, цифры можно не сводить, решение по одному делу в Бодмине отложить. И, все бросив, я покидал контору, проходил через двор и, войдя в дом, шел в столовую. Обычно Рейчел была уже там и встречала меня пожеланием доброго утра. Иногда она клала рядом с моей тарелкой зеленую веточку, и я вдевал ее подарок в петлицу; иногда предлагала попробовать какой-нибудь настой из трав. Она знала великое множество рецептов и постоянно предлагала их нашему повару. Она успела провести в моем доме несколько недель, прежде чем Сиком под строжайшим секретом и прикрывая рот рукой сообщил мне, что повар каждый день приходит к ней за распоряжениями, по каковой причине мы и питаемся не в пример лучше прежнего. «Госпожа, — сказал Сиком, — не хочет, чтобы мистер Эшли об этом знал, иначе он может счесть ее слишком бесцеремонной». Я посмеялся и не стал говорить ей, что мне все известно, но порой, шутки ради, отпускал какое-нибудь замечание по поводу одного из блюд и восклицал: «Ума не приложу, что случилось у нас на кухне! Парни становятся заправскими поварами, не хуже французских», а она в полном неведении спрашивала: «Вам нравится? Так лучше, чем раньше?»

Теперь все без исключения называли ее госпожой. Я не возражал. Пожалуй, такое обращение не только нравилось мне, но и вызывало определенную гордость.

После ленча она шла наверх отдохнуть. По вторникам и четвергам я распоряжался закладывать экипаж, и Веллингтон возил ее по соседям отдавать визиты. Если у меня были дела по пути, я проезжал с нею пару миль, после чего выходил из экипажа, а она ехала дальше. Выезжая с визитами, она уделяла особое внимание своему туалету. Всегда лучшая накидка, новые вуаль и капор.

В экипаже, дабы иметь возможность смотреть на нее, я садился спиной к лошадям; она же, думаю, чтобы подразнить меня, нарочно не поднимала вуаль.

— Ну а теперь, — говорил я, — вперед, к вашим сплетням, вашим маленьким потрясениям и склокам! Чего бы я не дал, чтобы

превратиться в муху на стене!

— Поезжайте со мной, — отвечала она, — вам это пойдет на пользу.

— Ну уж нет! Вы обо всем расскажете мне за обедом.

И я оставался на дороге, провожая взглядом экипаж, и, пока он не исчезал из виду, в его окошке развевался изящный носовой платок. Я не видел ее до пяти вечера, то есть до обеда, и часы, отделявшие меня от новой встречи, превращались в некое испытание, через которое необходимо пройти ради конца дня. Работал ли я в конторе, ездил ли по имению, разговаривал ли с людьми, меня все время одолевало нетерпение. Который час? Я смотрел на часы Эмброза. Только половина пятого. Как медленно тянется время!

Возвращаясь домой мимо конюшни, я сразу замечал, что она уже приехала: в каретном сарае стоял запыленный экипаж, конюхи кормили и поили лошадей.

Войдя в дом, я заглядывал в библиотеку, в гостиную. Пусто. Она всегда отдыхала перед обедом. Затем я принимал ванну или умывался, переодевался и ждал ее в библиотеке. По мере того как стрелки часов приближались к пяти, мое нетерпение возрастало. Дверь библиотеки я оставлял открытой, чтобы слышать ее шаги.

Сперва до меня долетал мягкий топот собачьих лап — теперь я утратил для собак всякое значение, и они как тени повсюду ходили за Рейчел, — затем шуршание платья по ступеням лестницы. Пожалуй, это мгновение я любил больше всего. Знакомый звук молниеносно будил во мне неясные ожидания, смутные предчувствия, я терялся — что сделать, что сказать ей, когда она войдет в комнату? Не знаю, из какой ткани были ее платья — из плотного шелка, атласа или парчи, — но казалось, они скользят по полу, приподнимаются, снова скользят; и то ли само платье плыло, то ли она двигалась в нем с такой грацией, но библиотека, темная и строгая до ее прихода, внезапно оживала.

При свечах в Рейчел появлялась мягкость, которой не было днем. Словно яркость утра и приглушенные тона послеполуденных часов отдавались работе, и ее движения были четки, продуманны; но теперь, когда опустился вечер, непогода осталась за окнами и дом замкнулся в себе, она излучала таившееся в ней до сей поры сияние. Ее щеки слегка розовели, волосы казались темнее, глаза светились бездонной

глубиной, и поворачивала ли она голову, чтобы заговорить со мной, подходила ли к шкафу взять книгу, наклонялась ли погладить вытянувшегося перед камином Дона — во всем, что она делала, была непринужденная грация, придававшая каждому ее движению ни с чем не сравнимое очарование. В такие мгновения я недоумевал: как мог я когда-то находить ее обыкновенной?

Сиком объявлял, что обед подан, мы переходили в столовую и занимали свои места: я — во главе стола, она — по правую руку от меня, и мне казалось, что так было всегда, что в этом нет ничего нового, ничего необычного, будто я никогда не сидел здесь один — в старой куртке, положив перед собой книгу, чтобы под предлогом чтения не разговаривать с Сикомом. Но никогда прежде такое обыденное занятие, как еда и питье, не показалось бы мне столь увлекательным, как теперь, никогда не превратилось бы в своего рода захватывающее приключение.

Неделя проходила за неделей, мое волнение не уменьшалось, напротив, оно возрастало, и наконец я поймал себя на том, что под разными предлогами стараюсь быть поближе к дому, чтобы хоть мельком видеть ее и тем самым на несколько минут продлить время, которое мы проводим вместе. И была ли она в библиотеке, проходила ли через холл, ожидала ли в гостиной посетителей, она улыбалась мне и говорила: «Филипп, что привело вас домой в такое время?» — вынуждая меня придумывать все новые и новые объяснения. Что касается сада, то я, который зевал и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, когда Эмброс пытался заинтересовать меня, теперь делал стойку, едва речь заходила о садах, и вечерами после обеда мы вместе с ней просматривали итальянские книги, сравнивали гравюры и оживленно обсуждали, какую из них скопировать.

Думаю, если бы она предложила построить на Бартонских землях копию самого римского Форума, я бы согласился. Я говорил «да», «нет», «право, это прекрасно», но никогда не слушал по-настоящему. Мне доставляло удовольствие видеть ее увлеченность любимым делом; видеть, как, нахмутив брови, с карандашом в руке она сосредоточенно размышляет над тем, какую из двух картинок выбрать; наконец, видеть, как ее руки тянутся то к одной книге, то к другой...

Мы не всегда сидели в библиотеке. Иногда она просила меня подняться с ней в будуар тетушки Фебы, и мы раскладывали на полу книги и планы садов.

Внизу, в библиотеке, хозяином был я. В будуаре хозяйкой была она. Пожалуй, это нравилось мне гораздо больше. Мы забывали об условностях. Сиком не докучал нам; очень тактично она убедила его отказаться от торжественного ритуала с серебряным чайником и подносом и сама готовила для нас одну из tisana — ячменный отвар, объяснив, что так принято на континенте и что это очень полезно для печени и для кожи.

Вечер пролетал слишком быстро. Я всегда надеялся, что она забудет спросить меня про время, но злополучные башенные часы, расположенные слишком близко над нами, чтобы мы не заметили, как они бьют десять раз, неотвратимо нарушали наш покой.

— Я и не представляла, что так поздно, — обычно говорила она, вставая и закрывая книги. Это был сигнал к расставанию. Даже такая уловка, как задержка в дверях, якобы для того, чтобы закончить начатый разговор, ни к чему не приводила. Пробило десять — я должен уходить. Иногда она давала мне поцеловать руку. Иногда подставляла щеку. Иногда, как щенка, трепала по плечу. Никогда больше не подходила она ко мне вплотную, не брала мое лицо в руки, как в тот вечер у нее в спальне. Я не стремился к этому, не надеялся на это; но, когда пожелав ей доброй ночи и войдя в свою комнату, я открывал ставни, вглядывался в безмолвный парк и слышал приглушенное дыхание морского прилива в маленькой бухте за лесом, я чувствовал себя одиноким и брошенным, как ребенок, у которого кончились каникулы.

Вечер, что целый день час за часом выстраивался в моем лихорадочном воображении, прошел. Казалось, он не скоро наступит вновь. Но ни душой, ни телом я не был готов к отдыху. Прежде, до того как она приехала к нам, зимой после обеда я обычно дремал у камина, затем, зевая и потягиваясь, тяжело поднимался по лестнице, довольный тем, что можно наконец лечь в постель и проспять до семи утра. Теперь все было иначе. Я мог бы бродить целую ночь.

Мог бы проговорить до рассвета. Первое было глупо, второе — невозможно.

Поэтому я бросался в кресло у открытого окна и курил, устремив взгляд в дальний конец лужайки. Прежде чем раздеться и лечь, я, бывало, просиживал в кресле до часу, а то и до двух ночи, ни о чем не думая, забывая о времени.

Первые декабрьские морозы наступили с полнолунием, и мои ночные бдения окрасились в несколько иные тона. В них вошла своеобразная красота — холодная, чистая; она трогала сердце, вызывала изумление. Лужайка под моим окном сбегала к лугам, луга — к морю; все было бело от инея, бело от лунного сияния. Деревья, окаймлявшие лужайку, стояли темные, неподвижные.

Пробегавшие кролики оставляли на траве следы и рассеивались по своим норкам.

Неожиданно тишину и спокойствие нарушал высокий, резкий лай лисы, сопровождаемый коротким рыданием, внушающим суеверный ужас, — его не спутаешь ни с каким другим кличем, звучащим в ночи, — и я видел, как тощее приземистое существо крадетя из леса, выбегает на поляну и вновь скрывается за деревьями. Чуть позднее я опять слышал этот зов, но уже издалека, из парка; и вот полная луна встает над верхушками деревьев и заливает все небо серебристым сиянием... и на лужайке под моим окном — ни движения, ни звука...

Я спрашивал себя: уснула ли Рейчел в своей голубой спальне или, как я, оставила портьеры незадернутыми? Часы на башне, которые раньше, уже в десять вечера, гнали меня в постель, били час, два часа ночи, а я все думал о том, что распахнувшуюся предо мною красоту мы могли бы делить вдвоем.

Пусть те, до кого мне нет дела, владеют суетным миром.

Но то был не мир, то было волшебное царство; оно всецело принадлежало мне, и я не хотел владеть им один.

Однако стоило мне вспомнить ее обещание остаться у меня лишь ненадолго, мое настроение, словно столбик барометра, от радостного возбуждения, почти ликования падало до нижней отметки вялости и тоски, и я принимался гадать, сколько еще времени она пробудет под моей крышей. Что, если после Рождества она скажет: «Ну вот, Филипп, на следующей неделе я уезжаю в Лондон»? Холода прервали посадки до весны, в саду было нечего делать. Террасу лучше прокладывать при сухой погоде, но, имея план, рабочие справились

бы с этим и сами. В любой день Рейчел могла собраться в дорогу, и я не сумел бы ее удержать.

В былые времена, когда Эмброз проводил Рождество дома, он всегда устраивал в сочельник обед для арендаторов. Последние зимы, которые он проводил за границей, я пренебрегал этой традицией, поскольку по возвращении он устраивал такой обед в Иванов день. Теперь же я решил восстановить давний обычай и дать обед хотя бы ради того, чтобы на нем присутствовала Рейчел.

В детстве обед в сочельник был для меня главным событием рождественских праздников. Примерно за неделю до сочельника в длинную комнату над каретным сараем приносили высокую елку. Предполагалось, что я об этом не знаю. Но когда поблизости никого не было, как правило в полдень, пока слуги обедали, я заходил в каретный сарай и поднимался по лестнице к боковой двери в длинную комнату. В ее дальнем конце стояло огромное дерево в кадке, а вдоль стен выстроились козлы, заменявшие во время обеда столы. Я не помогал украшать елку до своего первого приезда из Харроу на каникулы. Никогда не испытывал я такой гордости, как в тот день. Маленьким мальчиком я сидел рядом с Эмброзом за верхним столом, но, поднявшись в звании, возглавил свой собственный стол.

Теперь я снова отдал соответствующие распоряжения лесничим; более того, сам отправился в лес выбирать елку. Рейчел была в полном восторге. Никакой другой праздник не доставил бы ей большего удовольствия. Она провела обстоятельное совещание с Сикомом и поваром, наведальась в кладовую, в птичник и даже уговорила сугубо мужское население моего дома позволить двум девушкам с Бартонской фермы подняться к нам и приготовить пирожные под ее руководством. Все было волнение и тайна: я не хотел, чтобы Рейчел увидела елку раньше положенного срока, а она настаивала на том, чтобы я пребывал в неведении относительно блюд, которые нам подадут к обеду.

Ей привозили какие-то пакеты и тут же уносили наверх. Постучав в дверь будуара, я всегда слышал шорох бумаги, и через несколько секунд, казавшихся вечностью, ее голос отвечал: «Войдите». Она стояла на коленях на полу, глаза сияли, на щеках горел румянец. Разбросанные по ковру предметы были прикрыты бумагой, и она всякий раз просила меня не смотреть туда.

Я снова вернулся в детство, вновь переживал лихорадочное возбуждение тех далеких дней, когда в одной ночной рубашке стоял босиком на лестнице и прислушивался к долетавшим снизу голосам, пока Эмброз неожиданно не выходил из библиотеки и не говорил мне, смеясь: «Марш в постель, негодник, не то я спущу с тебя шкуру!»

Только одно доставляло мне беспокойство. Что подарить Рейчел? Целый день я посвятил тому, что обшарил все лавки Труро в поисках какой-нибудь книги о садах, но ничего не нашел. Более того, книги, привезенные ею из Италии, были гораздо лучше любой, которую я мог бы ей подарить. Я не имел ни малейшего представления, какие подарки нравятся женщинам. Крестный в подарок Луизе обычно покупал ткань на платье. Но Рейчел носила траур, и для нее это не годилось. Я вспомнил, что однажды Луиза пришла в восторг от медальона, который отец привез ей из Лондона. Она надевала его, когда принимала участие в наших воскресных обедах. И тут я понял, что выход найден.

В подарок Рейчел можно было выбрать одну из наших фамильных драгоценностей. Они хранились не в домашнем сейфе вместе с документами и бумагами Эмброза, а в банке. Эмброз считал, что так надежнее на случай пожара. Я не знал, что там есть. У меня сохранилось смутное воспоминание о том, как однажды в детстве я ездил с Эмброзом в банк и как он, взяв в руки кольцо и улыбаясь, сказал мне, что оно принадлежало нашей бабушке, и что моя мать надевала его в день свадьбы — правда, ей одолжили его только на один день, потому что мой отец не был прямым наследником, — и что, если я буду хорошо вести себя, он позволит мне подарить это кольцо моей жене. Я понимал: все, что находится в банке, принадлежит мне. Или будет принадлежать через три месяца, но это уже буквоедство.

Крестный, конечно, знал, какие драгоценности лежат в банке, но он уехал по делам в Эксетер и собирался вернуться не раньше сочельника. Я решил сам поехать в банк и попросить показать мне драгоценности.

Мистер Куч принял меня с обычной любезностью и, проведив в свой кабинет с окнами на причал, выслушал мою просьбу.

— Полагаю, мистер Кендалл не возражал? — спросил он.

— Разумеется, нет, — нетерпеливо ответил я, — с ним все согласовано, — что было не правдой, но в двадцать четыре года, за

несколько месяцев до дня рождения, нелепо спрашивать разрешения крестного отца на каждую мелочь.

Это раздражало меня.

Мистер Куч послал за драгоценностями в хранилище. Их принесли в опечатанных коробках. Он сломал печать и, разостлав на столе кусок ткани, вынул их одну за другой.

Я не представлял, что коллекция так великолепна. Там были кольца, браслеты, серьги, гарнитуры — например, рубиновая диадема и серьги или сапфировый браслет, кулон и кольцо. У меня не возникло желания притронуться к ним хотя бы пальцем, но, глядя на эти вещи, я с разочарованием вспомнил, что Рейчел в трауре и не носит цветных камней. Дарить ей любую из этих драгоценностей было бесполезно: она не стала бы ее надевать.

Но вот мистер Куч открыл последнюю коробку и вынул из нее жемчужное кольцо: четыре нити и фермуар с крупным солитером. Я сразу узнал его. Это было то самое кольцо, которое Эмброс показывал мне в детстве.

— Оно мне нравится, — сказал я, — это самая замечательная вещь во всей коллекции. Мой кузен Эмброс как-то мне его показывал.

— Право, здесь могут быть различные мнения, — заметил мистер Куч, — я, со своей стороны, рубины оценил бы выше. Но с этим кольцом связаны семейные воспоминания. Ваша бабушка, миссис Эмброс Эшли, впервые надела его невестой, отправляясь на прием в Сент-Джеймский дворец. Затем его, естественно, получила ваша тетушка, миссис Филипп, когда имение перешло по наследству к вашему дядюшке. Многие женщины вашего семейства надевали его в день свадьбы.

В том числе и ваша матушка. В сущности, она, если не ошибаюсь, последняя, кто надевал это кольцо. Ваш кузен, мистер Эмброс Эшли, не позволял вывозить его за пределы нашего графства, когда свадьбы игрались в других местах.

Он взял кольцо в руку, и свет из окна упал на ровные, круглые жемчужины.

— Да, — продолжал он, — прекрасная вещь. И уже двадцать пять лет его не надевала ни одна женщина. Я присутствовал на свадьбе вашей матушки. Она была прелестным созданием. Кольцо очень шло ей.

Я протянул руку и взял у него кольцо:

— Ну а теперь я хочу оставить его у себя.

И я положил кольцо в коробку. Мистер Куч несколько опешил.

— Не знаю, разумно ли это, мистер Эшли, — сказал он. — Будет ужасно, если оно пропадет или просто потеряется.

— Оно не потеряется, — коротко ответил я.

Мистер Куч казался расстроенным, и я решил поскорее уйти, чтобы не дать ему возможности придумать более веский аргумент.

— Если вас беспокоит, что скажет мой крестный, то не волнуйтесь. Как только он вернется из Эксетера, я все с ним улажу.

— Надеюсь, — проговорил мистер Куч, — но я бы предпочел, чтобы наш разговор состоялся в его присутствии. Конечно, в апреле, когда вы по закону вступите во владение собственностью, вы сможете забрать всю коллекцию и поступить с нею по своему усмотрению. Я не советовал бы вам так поступать, но такой шаг был бы абсолютно законен.

Я протянул ему руку, пожелал счастливого Рождества и в приподнятом настроении отправился домой. Лучшего подарка для Рейчел я бы не нашел, даже если бы обыскал все графство. Жемчуг, слава Богу, белый... Последней женщиной, которая его надевала, была моя мать, — в том мне виделась глубокая внутренняя связь между прошлым и настоящим. Я решил обязательно сказать об этом Рейчел. Теперь я мог со спокойным сердцем ждать сочельника.

Целых два дня... Погода стояла отличная, с легким морозцем, и все предвещало ясный, сухой рождественский вечер. Слуги заметно волновались, и утром перед Рождеством, когда в комнате над каретным сараем расставили столы и скамейки, приготовили ножи, вилки и тарелки, а к потолочным балкам подвесили хвойные ветки, я попросил Сикома с молодыми слугами пойти со мной и украсить елку. Сиком принял на себя руководство этой церемонией. Чтобы иметь большой обзор, он стоял несколько поодаль от нас и, пока мы поворачивали елку в разные стороны, поднимали то одну, то другую ветку, чтобы сбалансировать заиндевевшие шишки и святые ягоды, махал нам руками, совсем как дирижер струнного секстета.

— Мне не совсем нравится такой угол, мистер Филипп, — командовал он.

— Она будет выглядеть куда лучше, если ее сдвинуть немного левее. Нет!

Слишком далеко. Да, вот так лучше. Джон, четвертая ветка справа слишком наклонилась. Как-нибудь подними ее. Ш-ш-ш... ш-ш-ш... не с такой силой...

Расправь ветки, Артур, расправь ветки, говорю! Дерево должно стоять так, будто его поставила здесь сама Природа. Не наступай на ягоды, Джим! Мистер Филипп, оставьте, как сейчас, вот так... Еще одно движение, и вы все испортите.

Я и не предполагал, что Сиком наделен таким художественным чутьем.

Держа руки под фалдами сюртука и почти закрыв глаза, Сиком отступил на пару шагов.

— Мистер Филипп, — сказал он мне, — мы добились совершенства.

Я заметил, как молодой Джон подтолкнул локтем Артура и отвернулся.

Обед был назначен на пять часов. Из «экипажников» — по местному выражению — ожидалось только Кендаллы и Паско. Остальные прибывали в линейках, двуколках, а те, кто жил недалеко, — просто пешком. Я заранее написал имена всех приглашенных на карточках и разложил карточки рядом с приборами. Тем, кто плохо знал грамоту, могли помочь соседи. В комнате стояли три стола. Я должен был сидеть во главе одного из них, Рейчел — на противоположном конце. Второй стол возглавлял Билли Роу из Бартона, третий — Питер Джонс из Кумбе.

Согласно обычаю, все общество собиралось в длинной комнате в начале шестого, и, когда приглашенные занимали места, входили мы. После обеда Эмброз и я раздавали подарки с елки: мужчинам — всегда деньги, женщинам — новые шали и каждому — по большой корзине с едой. Подарки всегда были одинаковые. Любое отклонение от заведенного порядка шокировало бы каждого приглашенного. В то Рождество я попросил Рейчел раздавать подарки вместе со мной.

Прежде чем одеться к обеду, я послал жемчужное кольцо в комнату Рейчел, приложив к нему записку. В записке я написал такие слова: «Последней его надевала моя мать. Теперь оно принадлежит Вам. Я хочу, чтобы оно было на Вас сегодня и всегда. Филипп».

Я принял ванну, оделся и был готов к четверти пятого.

Кендаллы и Паско не заходили за нами в дом, а шли прямо в длинную комнату над каретным сараем, непринужденно беседовали с арендаторами, помогая разбить лед. Эмброз считал такой план наиболее разумным. Слуги тоже были там. Мы с Эмброзом проходили по каменным переходам в заднем крыле дома, пересекали двор и поднимались по лестничному пролету в длинную комнату. В этот вечер мне предстояло проделать тот же путь вдвоем с Рейчел.

Я спустился вниз и ждал ее в гостиной с некоторым трепетом — ведь я еще ни разу в жизни не делал подарка женщине. Быть может, я нарушил этикет, быть может, дарить принято только цветы, книги и картины? Что, если она рассердится, как рассердилась из-за выплаты содержания, и невесть с чего вообразит, будто я хотел оскорбить ее? Это была ужасная мысль, минуты ожидания превратились в медленную пытку. Наконец я услышал на лестнице ее шаги. Собаки ее не сопровождали. Их рано заперли в будки.

Она шла не спеша; знакомый шорох ее платья приближался. Дверь открылась, она вошла в комнату и остановилась передо мной. Как я и ожидал, она была в черном, но платье этого я прежде не видел: с облегающим лифом и талией, широкой юбкой, сшитое из ткани, которая искрилась, словно на нее падали незримые лучи. Ее плечи были обнажены. Волосы зачесаны выше обычного, уложены высоким валиком и забраны назад, открывая уши. Шею охватывало жемчужное кольцо — единственная драгоценность, которую она надела. Оно мерцало на коже матовым блеском. Я никогда не видел ее такой ослепительной и такой счастливой. В конце концов, Луиза и девицы Паско не ошибались. Рейчел была красива.

Мгновение она смотрела на меня, затем протянула ко мне руки и позвала:

«Филипп...» Я сделал несколько шагов. Я остановился перед ней. Она обняла меня и привлекла к себе. В ее глазах стояли слезы, но на этот раз они не вызвали во мне досады. Она сняла руки с моих плеч, подняла их к моему затылку и коснулась волос.

Она поцеловала меня. Но не так, как раньше. И, обнимая ее, я подумал про себя: нет, не от тоски по дому, не от болезни крови, не от воспаления мозга — вот от чего умер Эмброз.

Я ответил на ее поцелуй.

На башенных часах пробило пять. Но ни она, ни я не проронили ни слова.

Она подала мне руку. По темным кухонным переходам, через двор мы вместе шли к ярко освещенным окнам над каретным сараем. К взрывам смеха, к горящим от нетерпения глазам.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда мы вошли, гости встали. Скрип отодвигаемых стульев, шарканье ног, приглушенный шепот — все головы поворачиваются в нашу сторону. Рейчел на мгновение задержалась у порога; думаю, она не ожидала встретить такое море лиц. Затем она увидела елку в дальнем конце комнаты и вскрикнула от неожиданности. Легкое замешательство, вызванное нашим появлением, прошло, и глухой гул голосов пронесся по комнате.

Мы подошли к своим местам на противоположных концах верхнего стола.

Рейчел села. Я и все остальные последовали ее примеру. Все оживились; звон ножей и вилок, стук тарелок поднялся к потолку. Шум, смех, извинения...

Моей соседкой справа была миссис Билли Роу из Бартон, нарядившаяся в свое лучшее муслиновое платье с явным намерением всех перещеголять, и я заметил, что миссис Джонс из Кумбе, сидевшая слева от меня, смотрит на нее крайне неодобрительно. Желая соблюсти все тонкости протокола, я начисто забыл, что они не разговаривают друг с другом. Разрыв длился уже пятнадцать лет, с тех самых пор, как в один базарный день они не сумели договориться о цене на яйца. Однако я решил проявить галантность в отношении обеих и загладить причиненное им огорчение. Графины с сидром пришли мне на помощь, и, взяв тот, что поближе, я щедро налил им и себе, после чего обратился к съестному. Я не помнил ни одного рождественского обеда, на котором нам подавали бы такое количество блюд. Жареные гусь и индейка, говяжий и бараний бок, огромные копченые окорока, украшенные фестонами, торты, пирожные всевозможных форм и размеров, пудинги с сушеными фруктами и среди прочего — те самые нежные, рассыпчатые пирожные, легкие, как пух, которые приготовила Рейчел с девушками из Бартон.

На лицах проголодавшихся гостей, да и на моем тоже, заиграли нетерпеливые улыбки. Взрывы громкого смеха уже доносились из-за других столов, где наиболее языкастые из моих арендаторов, не уstraшенные непосредственной близостью «хозяина», позволили себе

распустить пояса и воротнички. Я слышал, как Джек Лобби с коровьими глазами прохрипел своему соседу (думаю, он уже успел пропустить пару стаканов сидра по дороге):

«Клянусь, Гор... после такой прорвы еды нас можно будет скормить воронам, да так, что мы и не заметим». Слева от меня маленькая, тонкогубая миссис Джонс тыкала вилкой, которую держала двумя пальцами, как перо, в гусиное крылышко на своей тарелке, а ее охмелевший сосед шептал ей, подмигивая в мою сторону:

«Орудуй пальцами, д-огая. Разорви его в клочья».

Только здесь я заметил, что у каждого рядом с тарелкой лежит небольшой пакетик, надписанный рукой Рейчел. Казалось, все осознали это одновременно; о еде ненадолго забыли, и каждый принялся торопливо разрывать бумагу. Я наблюдал за ними и не спешил открывать свой пакетик. У меня вдруг защемило сердце — я догадался, что она сделала. Она приготовила подарки всем приглашенным на обед мужчинам и женщинам. Сама завернула их и к каждому приложила записку. Ничего особенного — небольшая безделушка, которую им будет приятно получить. Так вот что означал таинственный шорох за дверьми будуара!..

Когда мои соседи вновь принялись за еду, я развернул свой подарок. Я открыл его под столом, на коленях: никто, кроме меня, не должен видеть, что именно она подарила мне. Это оказалась золотая цепочка для часов с небольшим брелоком, на котором были выгравированы наши инициалы: «Ф. Э., Р. Э.» — и дата. Несколько мгновений я держал цепочку в руке, затем украдкой положил в карман жилета. Я посмотрел на Рейчел и улыбнулся. Она внимательно наблюдала за мной. Не сводя с нее глаз, я поднял свой бокал, она ответила тем же.

Господи! Я был счастлив.

Обед шел своим чередом, шумный, веселый. Я не заметил, как опустели блюда с горами снеди. Вновь и вновь наполнялись бокалы. Кто-то, почти съехав под стол, запел. Песню подхватили за другими столами. Сапоги отбивали такт, ножи и вилки отстукивали ритм, тела беззаботно раскачивались из стороны в сторону. Тонкогубая миссис Джонс из Кумбе сообщила мне, что у меня слишком длинные для мужчины ресницы. Я налил ей еще сидра.

Наконец, помня, с какой безошибочной точностью Эмброз выбирал нужный момент, я несколько раз громко ударил по столу. Голоса смолкли.

— Кто хочет, — сказал я, — может выйти, а потом вернуться. Через пять минут миссис Эшли и я начнем раздавать подарки. Благодарю вас, леди и джентльмены.

Как я и ожидал, изрядное число гостей устремилось к двери. Я с улыбкой наблюдал за Сикомом, который замыкал шествие, вышагивая очень прямо и ровно и все же так, как будто земля вот-вот уйдет у него из-под ног. Оставшиеся придвинули столы и скамейки к стенам. После того как мы раздадим подарки и уйдем, те, кто еще не утратил способность двигаться, пригласят своих дам на танец. Шумное веселье будет длиться до полуночи. Мальчиком я всегда прислушивался к топоту ног, долетавшему в детскую из комнаты над каретным сараем. Я проложил себе путь к небольшой группе у елки. Там стояли викарий с миссис Паско и дочерьми, помощник викария и крестный с Луизой. Луиза выглядела хорошо, но была немного бледна. Я пожал им руки. Миссис Паско не стала терять времени и, сверкая всеми зубами, излилась в бурном восторге:

— Вы превзошли себя! Мы никогда так не веселились! Девочки просто в экстазе!

Вид трех дочерей миссис Паско, деливших общество одного помощника викария, подтверждал это.

— Я рад, что, по-вашему мнению, все прошло хорошо, — сказал я и обратился к Рейчел:

— Вы довольны?

Ее глаза встретились с моими, и в них засветилась улыбка.

— И вы еще спрашиваете... Так довольна, что чуть не плачу.

Я поздоровался с крестным:

— Добрый вечер, сэр, и счастливого Рождества. Как вы нашли Эксетер?

— Слишком холодным, — отрывисто проговорил он, — холодным и мрачным.

В манерах крестного появилась непривычная резкость. Он стоял, заложив одну руку за спину, другой пощипывая усы. Наверное, подумал я, он недоволен тем, как прошел вечер. Не слишком ли вольно, на его взгляд, лился сидр? Но вот я увидел, что он устался

на Рейчел. Его глаза впились в жемчужное кольцо. Заметив, что я смотрю на него, он отвернулся. На миг я вновь почувствовал себя учеником четвертого класса Харроу, которого учитель поймал на том, что он прячет шпаргалку в латинской книге. Я пожал плечами. Я — Филипп Эшли, мне двадцать четыре года. Никто на свете не имеет права диктовать мне, кому делать рождественские подарки, а кому нет. Интересно, не отпустила ли миссис Паско какое-нибудь желчное замечание? Хотя, возможно, хорошие манеры удержали ее. Так или иначе, она не могла узнать это кольцо.

Моя мать умерла до того, как мистер Паско получил здесь приход. Луиза заметила кольцо раньше. Теперь это было ясно. Я видел, как она в явном замешательстве время от времени поднимает свои голубые глаза на Рейчел и тут же опускает их.

Тяжело ступая, люди возвращались в комнату. Смеясь, перешептываясь, тесня друг друга, они подошли к елке, перед которой Рейчел и я уже заняли свои места. Я склонился над подарками и, читая вслух имена, передавал пакеты Рейчел. Один за другим гости подходили за ними. Рейчел стояла перед елкой раскрасневшаяся, радостная, улыбающаяся. Но я не мог смотреть на нее, мне приходилось выкликать имена. «Благодарю вас, благослови вас Господь, сэр, — говорили мне и, подойдя к ней:

— Благодарю вас, мэ. Да благословит и вас Господь!»

На то, чтобы раздать подарки и каждому сказать несколько слов, у нас ушло около получаса. Когда с этим было покончено и последний подарок принят с реверансом, наступила неожиданная тишина. Люди, собравшись вместе, стояли у стены и ждали моих слов.

— Счастливого Рождества вам всем и каждому, — сказал я.

В ответ все в один голос прокричали: «Счастливого Рождества вам, сэр, и миссис Эшли!» — после чего Билли Роу, который по случаю праздника прилепил ко лбу свой единственный клочок волос, спустив его до самых бровей, запел высоким, пронзительным голосом:

— *Воскликнем же громко тройное «ура!»
В честь пары, что всем нам желает добра!*

От здравицы, громким эхом прокатившейся под потолком длинной комнаты, пол затрясся, и мы все едва не обрушились на стоящие внизу экипажи. Я взглянул на Рейчел. В ее глазах блестели слезы. Я покачал головой. Она улыбнулась, смахнула их и подала мне руку. Я заметил, что крестный с застывшим лицом смотрит на нас, и — совершенно непростительно с моей стороны — подумал о дерзком ответе на молчаливый укор, которому школьники испокон века учат друг друга: «Если вам не нравится, можете уйти». Уместнее всего было бы взорваться, но я только улыбнулся и, продев руку Рейчел в свою, повел ее в дом.

Кто-то, скорее всего молодой Джон, поскольку Сиком передвигал ноги, как под ритуальный барабан, перед раздачей подарков сбегал в гостиную и поставил на стол печенье и вино. Но мы слишком плотно заправились; то и другое осталось нетронутым, хотя я заметил, как помощник викария сжевал сдобную булочку. Вероятно, в тот вечер он ел за четверых. Вдруг миссис Паско, которая — да простит мне Господь! — явилась в этот мир, чтобы своим болтливым языком разрушить его гармонию, повернулась к Рейчел и проговорила:

— Извините меня, миссис Эшли, но я непременно должна высказаться.

Какое на вас красивое жемчужное кольцо! Я весь вечер не сводила с него глаз.

Рейчел улыбнулась и прикоснулась к колье пальцами.

— Да, — сказала она. — Оно великолепно.

— Еще бы не великолепно, — сухо заметил крестный, — оно стоит целого состояния.

Кажется, только Рейчел и я обратили внимание на его тон. Она в недоумении взглянула на крестного, затем на меня и уже собиралась что-то сказать, но я выступил вперед.

— По-моему, экипажи поданы, — сказал я.

Я подошел к двери гостиной и остановился. Даже миссис Паско, обычно глухая к намекам на то, что пора откланяться, поняла, что для нее вечер подошел к концу.

— Пойдемте, девочки, — сказала она, — вы, должно быть, устали, а впереди у нас трудный день. В Рождество, миссис Эшли, семья священника не знает ни минуты покоя.

Я проводил семейство Паско до дверей. К счастью, я не ошибся — их экипаж стоял у подъезда. Помощника викария они забрали с собой, и он, как птенец, съезжился на сиденье между двумя полностью оперившимися дочерьми своего патрона. Когда они укатили, к дому подъехал экипаж Кендаллов. Я возвратился в гостиную и застал в ней только крестного.

— А где остальные? — спросил я.

— Луиза и миссис Эшли поднялись наверх, — сказал он. — Они вернутся через минуту-другую. Я рад, что могу поговорить с тобой наедине, Филипп.

Я подошел к камину и остановился, заложив руки за спину.

— Да? — сказал я. — О чем же?

Крестный медлил с ответом. Его явно что-то беспокоило.

— У меня не было возможности повидаться с тобой перед отъездом в Эксетер, — сказал он, — иначе я завел бы этот разговор раньше. Дело в том, Филипп, что я получил из банка сообщение, которое расцениваю как весьма тревожное.

Разумеется, колье, подумал я. Ну что ж, в конце концов, это мое личное дело.

— Полагаю, от мистера Куча? — спросил я.

— Да, — ответил крестный. — Он уведомил меня, каковой шаг с его стороны вполне оправдан и правомерен, о том, что миссис Эшли сняла со счета сумму, на несколько сотен фунтов превышающую выделенное ей ежеквартальное содержание.

Я похолодел и уставился на крестного, но замешательство быстро прошло, и мое лицо залилось краской.

— Ах! — вырвалось у меня.

— Я этого не понимаю, — продолжал он, меря шагами гостиную. — Ее расходы здесь весьма ограничены. Она живет в качестве твоей гостьи и если в чем и нуждается, то отнюдь не во многом. Единственное объяснение, которое приходит мне на ум, — это то, что она отсылает деньги за границу.

Я по-прежнему стоял у камина, и сердце бешено колотилось у меня в груди.

— Она очень щедра, — сказал я. — Сегодня вечером вы, наверное, это заметили. Всем по подарку. Здесь не уложишься в несколько шиллингов.

— На несколько сотен фунтов можно купить в десятки раз больше, — возразил крестный. — Я не ставлю под сомнение ее щедрость, но одними подарками превышение кредита нельзя объяснить.

— Она взяла на себя расходы по дому, — сказал я. — Купила драпировки для голубой спальни. Все это необходимо принимать во внимание.

— Возможно. Но тем не менее факт остается фактом: она сняла со счета в два, а то и в три раза больше той суммы, которую мы договорились выплачивать ей каждые три месяца. Что мы решим на будущее?

— Удвоим, утроим сумму, которую она получает сейчас, — сказал я. — Видимо, мы определили ей недостаточно.

— Но это абсурд! — воскликнул крестный. — Ни одна женщина, живущая так, как она живет здесь, не стала бы тратить такие деньги. Светской даме в Лондоне и той было бы трудно растратить так много.

— Может быть, есть долги, о которых мы ничего не знаем, — сказал я.

— Может быть, кредиторы во Флоренции требуют от нее денег. Я хочу, чтобы вы увеличили содержание и покрыли превышение кредита.

Крестный остановился передо мной, поджав губы. Я хотел поскорее покончить с этим делом. Мой слух уловил звук шагов на лестнице.

— Еще одно, — сказал крестный, — Филипп. Ты не имел права брать кольцо из банка. Ведь ты понимаешь, не так ли, что оно является частью коллекции, частью недвижимости, и ты не имеешь права изымать его.

— Оно мое, — сказал я, — и я могу распоряжаться своей собственностью, как мне будет угодно.

— Собственность пока не твоя, — возразил он. — Твоей она станет через три месяца.

— Что из того? — Я махнул рукой. — Три месяца пройдут быстро. С кольцом ничего не случится, если оно будет у Рейчел.

Крестный поднял на меня глаза.

— Не уверен, — сказал он.

Скрытый смысл его слов привел меня в ярость.

— Боже мой! — воскликнул я. — На что вы намекаете?! На то, что она возьмет и продаст его?

Крестный молча пощипывал усы.

— В Эксетере, — наконец сказал он, — я кое-что узнал о твоей кухне Рейчел.

— Что вы имеете в виду, черт возьми? — спросил я.

Он перевел взгляд на дверь, затем снова на меня.

— Я случайно встретил старых друзей, ты этих людей не знаешь — они заядлые путешественники и несколько зим провели в Италии и во Франции.

Кажется, они встречались с твоей кухней, когда она была замужем за Сангаллетти.

— Ну и что же?

— Оба пользовались дурной славой за безудержное мотовство и беспутный образ жизни. Дуэль, на которой убили Сангаллетти, произошла из-за нее. Мои друзья сказали, что были в ужасе, узнав о женитьбе Эмброза на графине Сангаллетти. Они предрекали, что за несколько месяцев она спустит все его состояние. К счастью, этого не случилось. Эмброс умер раньше, чем ей это удалось. Мне очень жаль, Филипп, но такая новость крайне встревожила меня.

И он опять стал ходить взад и вперед по комнате.

— Никак не думал, что вы опуститесь до рассказней каких-то там путешественников, — сказал я ему. — Да кто они такие? Как смеют повторять злобные сплетни десятилетней давности? Они бы не осмелились повторить их перед кухней Рейчел.

— Сейчас важно не это, — ответил крестный. — Сейчас меня заботят жемчуга. Извини, но, как твой опекун, каковым и останусь еще три месяца, я требую, чтобы ты попросил ее вернуть колье. Я верну его в банк к другим драгоценностям.

Пришел мой черед мерить шагами гостиную.

— Вернуть колье? — спросил я. — Но как, как я могу просить ее об этом? Сегодня вечером я подарил колье ей на Рождество. Все что угодно, только не это.

— В таком случае я должен сделать это за тебя, — сказал он.

Я вдруг почувствовал, что мне ненавистны его застывшее лицо, его упрямая поза, его бесчувственность.

— Будь я проклят, если позволю вам! — сказал я.

В душе я пожелал крестному очутиться за тысячу миль от меня, пожалел, что он не умер.

— Послушай, Филипп, — сказал крестный, — ты слишком молод, слишком впечатлителен; я понимаю, тебе хотелось что-нибудь подарить своей кузине в знак уважения. Но фамильные драгоценности — нечто большее.

— Она имеет на них все права, — возразил я. — Если кто-нибудь и имеет право носить наши фамильные драгоценности, то, видит Бог, это она.

— Да, если бы Эмброз был жив, — сказал крестный, — но не теперь.

Драгоценности хранятся для твоей будущей жены, Филипп, и, когда ты женишься, перейдут к ней. Кроме того, это кольцо не просто драгоценность. Когда мужчина из семейства Эшли женится, он позволяет своей невесте в день свадьбы надеть только это кольцо. Эта своего рода семейная традиция очень по душе окрестным жителям, и, как я уже говорил тебе, те, кто постарше, хорошо знают о нем.

Твой опрометчивый поступок может вызвать пересуды. Уверен, что миссис Эшли в ее теперешнем положении они нужны меньше, чем кому бы то ни было.

— Сегодня вечером, — нетерпеливо сказал я, — все подумали, если они вообще были в состоянии думать, что кольцо принадлежит моей кузине. Пересуды из-за того, что она надела его... В жизни не слышал подобного вздора!

— Не мне говорить об этом, — сказал крестный, — но если начнутся всякие толки, то я сразу про них узнаю. Но в одном я должен проявить твердость, Филипп. В том, чтобы кольцо вернулось в банк, где оно будет в безопасности. Оно еще не твое, чтобы ты дарил его, и ты не имел никакого права ездить в банк и забирать его без моего разрешения. Повторяю, если ты не попросишь миссис Эшли вернуть кольцо, то попрошу я.

В пылу спора мы не услышали шороха платьев на лестнице. Теперь было слишком поздно. Рейчел в сопровождении Луизы остановилась в дверях.

Она стояла, обратив лицо к крестному, который занимал позицию в центре гостиной.

— Извините, — сказала она, — но я невольно услышала ваши слова.

Право, я не хочу, чтобы вы оба беспокоились из-за меня. Со стороны Филиппа было очень мило позволить мне надеть сегодня фамильные жемчуга, а с вашей стороны, мистер Кендалл, вполне оправданно просить, чтобы их вернули. Вот они.

Она подняла руки и расстегнула фермуар.

— Нет! — воскликнул я. — За каким дьяволом?!

— Филипп, прошу вас, — сказала она.

Она сняла кольцо и отдала его крестному. Он был не настолько бестактен, чтобы не смутиться, но облегчения тоже не сумел скрыть. Я увидел, что Луиза смотрит на меня с сочувствием. Я отвернулся.

— Благодарю вас, миссис Эшли, — сказал крестный с присущей ему теперь резкостью. — Вы понимаете, что это кольцо действительно часть имущества, находящегося под опекой, и Филипп не имел права брать его из банка. Это был глупый, необдуманый поступок. Но молодые люди упрямы.

— Я вас отлично понимаю, — сказала Рейчел, — и не будем больше говорить об этом. Вам нужна для него обертка?

— Нет, благодарю вас, — ответил крестный. — Моего платка будет достаточно.

Он вынул из нагрудного кармана платок и очень осторожно завернул в него кольцо.

— А теперь, — сказал он, — Луиза и я пожелаем вам доброй ночи.

Благодарю за восхитительный и чрезвычайно удачный обед, Филипп, и желаю вам обоим счастливого Рождества.

Я промолчал. Не говоря ни слова, я вышел в холл, пропустил их в дверь и помог Луизе сесть в экипаж. Она в знак сочувствия пожала мне руку, но я был слишком взволнован, чтобы ответить. Крестный уселся рядом с ней, и они уехали.

Я медленно возвратился в гостиную. Рейчел стояла и пристально смотрела в огонь. Без кольца ее шея казалась голой. Я остановился и молча глядел на нее, рассерженный, жалкий. Увидев меня, она протянула руки, и я подошел к ней. Я чувствовал себя десятилетним мальчиком, еще немного — — и я бы заплакал.

— Нет, — сказала она со столь свойственной ей теплотой в голосе, — не надо расстраиваться. Прошу вас, Филипп, пожалуйста. Я так горда, что однажды надела его, пусть ненадолго.

— Я хотел, чтобы вы носили его, — сказал я, — хотел, чтобы оно навсегда осталось у вас. Будь проклят этот старик!

— Ш-ш... Не говорите так, дорогой.

Я был настолько раздосадован и зол, что мог бы немедленно поехать в банк, пройти в кладовые, и привезти с собой все драгоценности до единой, все камни, все самоцветы, и отдать ей со всем золотом и серебром в придачу. Я отдал бы ей весь мир.

— Теперь все испорчено, — сказал я, — весь вечер, все Рождество. Все пошло прахом.

Она привлекла меня к себе и рассмеялась.

— Вы совсем как ребенок, — сказала она, — который прибежал ко мне с пустыми руками. Бедный Филипп!

Я отступил на шаг и взглянул на нее сверху вниз.

— Я не ребенок, — возразил я. — Мне двадцать пять лет без этих проклятых трех месяцев. Моя мать надевала эти жемчуга в день своей свадьбы, до нее — моя тетка, а еще раньше — моя бабушка. Неужели вы не понимаете, почему я хотел, чтобы и вы тоже носили их?

Она положила руки мне на плечи и еще раз поцеловала меня:

— Конечно понимаю. Потому-то я и была так счастлива и так горда. Вы хотели, чтобы я носила их, потому что знаете, что, если бы я венчалась здесь, а не во Флоренции, Эмброз подарил бы их мне в день свадьбы.

Я не ответил. Как-то она сказала, что мне недостает проницательности.

Теперь я то же самое мог бы сказать о ней. Несколько мгновений спустя она потрепала меня по плечу и ушла спать.

Я нащупал в кармане цепочку, которую Рейчел мне подарила. Уж она-то была моей, только моей.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Рождество прошло для нас как нельзя лучше. Рейчел позаботилась об этом.

Мы объездили все фермы, дома работников и лесничих и раздали вещи, которые когда-то принадлежали Эмброзу. Под каждой крышей нам пришлось отведать пирога или попробовать пудинга, так что, когда наступил вечер, мы были слишком сыты, чтобы обедать, и предоставили слугам покончить с оставшимися после праздничного застолья гусем и индейкой, а сами тем временем жарили каштаны в камине гостиной.

Затем, словно я вернулся лет на двадцать назад, в прошлое, она попросила меня закрыть глаза, смеясь, поднялась в будуар и, вернувшись, вложила мне в руку маленькую елочку. Она заранее украсила ее самым причудливым образом; подарки были обернуты в ярко раскрашенную бумагу и каждый представлял собой какую-нибудь уморительную нелепость. Я понимал, что тем самым она хотела заставить меня забыть драму сочельника и фиаско с жемчугами. Но я не мог забыть. Не мог и простить. После Рождества в моих отношениях с крестным наступило заметное охлаждение. То, что он прислушивался к ничтожным, лживым сплетням, было само по себе плохо, но еще больше возмущало меня настойчивое упрямство, с каким он следовал букве завещания, оставившего меня еще на три месяца под его опекой. Ну и что, если Рейчел истратила больше, чем мы предполагали? Мы не знали ее потребностей. Ни Эмброс, ни крестный не понимали образа жизни, принятого во Флоренции. Возможно, она и была расточительна, но разве это преступление?

Что же касается флорентийского общества, то не нам его судить. Крестный всю жизнь был скуповат и прижимист, а поскольку Эмброс никогда много на себя не тратил, то и решил, что подобное положение вещей сохранится и после того, как имущество перейдет ко мне. Потребности мои были довольно скромными, и к личным тратам я питал не большую склонность, чем некогда Эмброс. Но мелочность крестного приводила меня в бешенство и утвердила в намерении настоять на своем и пользоваться принадлежащими мне деньгами.

Он обвинил Рейчел в том, что она пускает на ветер назначенное ей содержание. Что ж, пусть обвиняет меня в чрезмерных тратах на дом. После Нового года я решил, что хочу заняться усовершенствованием владений, которые скоро станут моими. И не только садом. Возобновилась прокладка дорожки с террасами над Бартонскими полями, а рядом — подготовка площадки для нижнего сада, скопированной с одной из гравюр в книге Рейчел. Кроме того, я принял решение отремонтировать дом. Я счел, что мы слишком долго довольствовались ежемесячными посещениями Ната Данна, каменщика имения, который по приставной лестнице взбирался на крышу, заменял плитки шифера, сорванные ветром, и в перерыве между работой курил трубку, прислонясь спиной к печной трубе. Пора было привести в порядок всю крышу, настелить новую черепицу, новый шифер, заменить водосточные трубы, а также укрепить стены, поврежденные долгими годами ветров и дождей. Имением почти не занимались с тех давних пор, когда двести лет назад сторонники парламента учинили смуту и моим предкам с великим трудом удалось спасти дом от разрушения. Я искуплю бывшее небрежение, и если крестный состроит гримасу и примется подсчитывать расходы, то пусть убирается ко всем чертям.

Итак, я принялся за дело, и еще до конца января человек пятнадцать или двадцать работали на крыше дома, вокруг него и в самом здании, отделявая потолки и стены по моим указаниям. Мне доставляло огромное удовольствие представлять себе выражение лица крестного в ту минуту, когда ему представят счета.

Я воспользовался ремонтом в доме как предлогом, чтобы не принимать гостей, и таким образом на время положил конец воскресным обедам. Тем самым я избавился от регулярных визитов Паско и Кендаллов и не виделся с крестным, что также входило в мои намерения. Кроме того, я попросил Сикома распустил среди прислуги слух — а он мастер на такие дела, — что миссис Эшли затруднительно принимать посетителей, потому что в гостиной ведутся работы.

Благодаря этому в ту зиму и в первые недели весны мы жили отшельниками, что как нельзя лучше отвечало моим привычкам. Будуар тетушки Фебы — Рейчел по-прежнему настаивала на этом названии — стал местом нашего обитания. Там на склоне дня Рейчел

любила сидеть с рукоделием или книгой в руках, а я, забыв обо всем, смотрел на нее. После досадного недоразумения с жемчужным колье в канун Рождества в ее обращении со мной появилась особая нежность, сладко согревавшая душу, но порой трудновыносимая.

Думаю, она и не подозревала, что делает со мною ее нежность. Когда, говоря о саде или обсуждая какой-нибудь практический вопрос, она проходила мимо кресла, в котором я сидел, эти руки, на миг легшие мне на плечо или ласково коснувшиеся моей головы, заставляли сердце мое усиленно биться, и оно не скоро успокаивалось. Наблюдать за ее движениями было для меня ни с чем не сравнимым наслаждением; иногда я спрашивал себя: не потому ли она встает с кресла, подходит к окну, поднимает руку к портюере и, не опуская ее, замирает, глядя на лужайку, что знает, как жадно и неотступно следят за ней мои глаза? Она совершенно по-особому произносила мое имя — Филипп. Для других оно всегда было коротким, сокращенным словом с легким нажимом на последней букве; она же нарочито медленно тянула « — л-л-», отчего мое собственное имя приобретало, по крайней мере для меня, новое звучание, которое мне очень нравилось. Мальчиком я всегда хотел, чтобы меня звали Эмброз, и, думаю, желание это сохранялось до самого недавнего времени.

Теперь же я был рад, что имя мое было более древним, чем Эмброз.

Когда привезли новые свинцовые водосточные трубы и приладили к ним воронки, я с чувством странной гордости рассматривал прикрепленные к ним металлические пластинки с моими инициалами «Ф. Э.», датой и львом — геральдическим знаком фамилии моей матери. Казалось, я передаю будущему частичку самого себя. Стоявшая рядом Рейчел взяла меня за руку и сказала:

«До сих пор я думала, что вам неведомо чувство гордости. Теперь я люблю вас еще больше».

Да, я был горд... но гордость пришла на смену пустоте.

Итак, работы продолжались — в доме, в саду. Наступили первые весенние дни, наполненные смесью мучительной пытки и восторга. С первыми лучами под нашими окнами заводили песню дрозд и зяблик, пробуждая Рейчел и меня ото сна. Встречаясь в поддень, мы говорили об этом. Сперва солнце приходило к ней, на восточную сторону дома,

и роняло косой луч на ее подушку. Меня оно посещало позднее, когда я одевался. Высунувшись из окна и глядя поверх лугов на море, я видел, как лошади, впряженные в плуг, взбираются по склону дальнего холма; над ними кружат чайки, а на пастбищах пасутся овцы и ягнята прижимаются друг к другу, чтобы согреться. Возвращавшиеся с юга чибисы налетали облаком трепещущих крыльев. Скоро они образуют пары, и самцы в восторженном полете будут взмывать высоко в небо и камнем падать вниз. На берегу свистели кроншнепы и черно-белые, похожие на пасторов сороки в поисках завтрака важно тыкали клювами в морские водоросли.

Однажды в такое утро ко мне пришел Сиком и сказал, что Сэм Бейт из Ист-Лоджа, который по причине нездоровья слег в постель, желает, чтобы я пришел повидаться с ним, поскольку ему надо передать мне нечто очень важное.

Сэм намекал, что это «нечто» слишком ценно и он не может прислать его с сыном или дочерью. Я не придавал большого значения доводам Сикома. Сельские жители любят делать тайну из пустяков. Тем не менее днем я пешком поднялся по аллее, вышел за ворота и, дойдя до перепутья Четырех Дорог, свернул к домику Сэма Бейта.

Он сидел на кровати, а рядом с ним на одеяле лежал сюртук Эмброза, полученный на Рождество. Я узнал тот самый сюртук, который Эмброс купил на континенте для теплой погоды.

— Право, Сэм, мне жаль, что я застал вас в постели, — сказал я. — В чем дело?

— Все тот же кашель, мистер Филипп, сэр, который одолевает меня каждую весну, — ответил он. — До меня он мучил моего отца, и однажды весной он сведет меня в могилу, как свел его.

— Чепуха, Сэм, — сказал я, — все это рассказы, будто сын умрет от того же, от чего отец.

Сэм покачал головой.

— В них есть доля истины, сэр, — возразил он. — Вам это тоже известно. А как же мистер Эмброс и его отец, старый джентльмен, ваш дядя?

Болезнь мозга обоих свела в могилу. Супротив природы не пойдешь. И у скота я замечал то же самое.

Я промолчал, недоумевая, откуда Сэму известно, какая болезнь свела Эмброза в могилу. Я никому не говорил об этом. Невероятно, с

какой скоростью распространяются слухи в наших краях.

— Вам надо послать дочь к миссис Эшли и попросить настоя от кашля. Она хорошо разбирается в таких делах. Эвкалиптовое масло — одно из ее лекарств.

— Пошлю, мистер Филипп, обязательно пошлю, — сказал он, — но мне сдается, я правильно сделал, попросив, чтобы сперва вы сами пришли по делу касательно письма.

Он понизил голос, и на его лице отразились соответствующие случаю важность и озабоченность.

— Какого письма, Сэм? — спросил я.

— Мистер Филипп, на Рождество вы и миссис Эшли подарили некоторым из нас одежду и прочие вещи покойного господина. И как же все мы гордимся, что получили поровну! Так вот, сюртук, который вы видите на кровати, достался мне.

Он сделал паузу и прикоснулся к сюртуку с выражением такого же благоговения на лице, с каким получил его.

— Так вот, — продолжал Сэм, — я и говорю дочке, что если бы у нас был стеклянный сундук, мы положили бы его туда, но она ответила, чтобы я не болтал глупостей, что сюртук для того и придуман, чтобы его носили. Ну уж носить-то я его не буду, мистер Филипп. Это выглядело бы слишком самонадеянно с моей стороны, если вы понимаете меня, сэр. Так что я убрал сюртук вон в тот шкаф и время от времени вынимал, чтобы поглядеть на него.

Потом, когда меня прихватил этот чертов кашель и я слег, не знаю, как оно вышло, но мне пришла фантазия надеть его. Прямо так, сидя на кровати, как вы сейчас меня видите. Сюртук почти ничего не весит, и в нем покойно спине.

Вчера, мистер Филипп, я так и сделал. Тогда-то я и нашел письмо.

Он замолчал и, порывшись под подушкой, вытащил небольшой пакет.

— А случилось вот что, мистер Филипп, — продолжал он. — Должно быть, письмо провалилось за подкладку. Тот, кто складывал или заворачивал сюртук, ни за что бы не заметил письма. Заметил бы только тот, кто стал бы, как я, разплаживать его руками, с трудом веря, что он на моих плечах. Я почувствовал хруст под пальцами и отважился вспороть подкладку ножом. И вот те на, сэр. Письмо, ясно

как день, письмо. Запечатанное и адресованное вам самим мистером Эмброзом. Я издавна знаю его руку. Я так и обомлел, наткнувшись на него. Понимаете, сэр, мне почудилось, будто я получил весточку от покойника.

Сэм протянул мне письмо. Оно было надписано самим Эмброзом. Я смотрел на знакомый почерк, и у меня щемило сердце.

— Вы правильно поступили, Сэм, — сказал я, — правильно, что послали за мной. Благодарю вас.

— Какие там благодарности, мистер Филипп, — ответил он. — Вам не за что меня благодарить. Но я вот подумал: может быть, письмо не просто так пролежало там все эти месяцы и попало к вам с таким опозданием. И бедный господин уже мертвый пожелал, чтобы оно нашлось. Может быть, читая его, вы подумаете о том же. Поэтому я и решил, что лучше мне самому сказать вам о нем, чем посылать в замок дочку.

Я положил письмо в карман, еще раз поблагодарил Сэма и, прежде чем уйти, поговорил с ним минут пять. Не знаю, что именно, возможно, интуиция заставила меня попросить его никому ни о чем не рассказывать, даже дочери.

Свою просьбу я объяснил так, как он сам подсказал, — уважением к памяти покойного. Он пообещал, и я вышел.

Домой я вернулся не сразу; лесом поднялся к тропе, которая бежит над именем по границе с Тренантскими акрами и лесной аллеей. Эту тропу Эмброз любил больше других. Не считая маяка, расположенного южнее, она являлась самым высоким пунктом наших земель, и с нее открывается прекрасный вид на море за сбегующим вниз лесом и долиной. Деревья, посаженные Эмброзом и еще раньше его отцом, не мешали любоваться панорамой, а в мае землю устилал ковер колокольчиков. Там, где тропа взлетает над лесом, прежде чем нырнуть к спуску в долину и к дому лесничего, Эмброз поставил гранитную плиту. «Когда я умру, — полушутя-полусерьезно сказал он, — она сможет послужить мне надгробным камнем. Размышляй обо мне лучше здесь, а не в семейном склепе, рядом с другими Эшли».

Велев установить ее, он и помыслить не мог, что будет лежать не в семейном склепе, а на протестантском кладбище во Флоренции. На плите он витиеватыми буквами процарапал названия стран, по

которым путешествовал, а в самом низу — довольно нескладное стихотворение, которое всякий раз, когда мы вместе смотрели на него, вызывало у нас смех. Возможно, это и глупо, но я верю, что в глубине души Эмброс хотел покоиться здесь; в последнюю зиму, проведенную им за границей, я часто поднимался сюда через лес, чтобы постоять перед глыбой гранита и полюбоваться видом, который он так любил.

Я подошел к гранитной плите и немного постоял, положив на нее руки. Я не мог решиться. Внизу, над трубой дома лесничего, вился легкий дымок, и собака, в отсутствие хозяина сидевшая на цепи, время от времени лаяла в пустоту, может быть, для того, чтобы звуками собственного голоса скрасить одиночество. Яркие краски дня померкли, повеяло холодом. Тучи заволокли небо. Вдали по склону Ланклийских холмов стада спускались на водопой к болотам под лесом; еще недавно искрящиеся в лучах солнца воды бухты потемнели и сделались иссиня-серыми. Легкий ветерок с моря шелестел в ветвях деревьев у меня под ногами. Я сел рядом с плитой и, вынув письмо, положил его на колено вниз адресом. Красная печать, оттиснутая перстнем Эмброза с изображением головы альпийской вороны, приковывала мой взгляд.

Пакет был нетолстый. В нем лежало только письмо. Ничего, кроме письма, которое я не хотел читать. Не могу сказать, какое дурное предчувствие удерживало меня, какой трусливый инстинкт подсказывал, чтобы я, как страус, спрятал голову в песок. Эмброс был мертв, и прошлое умерло вместе с ним. Мне предстояло строить собственную жизнь, следовать собственной воле. В письме могли быть более подробные упоминания о том, что я решил забыть. Эмброс уже называл Рейчел расточительной, он мог вновь употребить этот эпитет или даже привести более убедительные для меня доводы. Должно быть, я и сам за несколько месяцев истратил на дом больше, чем Эмброс за многие годы. И не считал это предательством.

Но не читать письмо... Что он сказал бы на это? Если бы я разорвал его на мелкие клочки, развеял их по ветру и так и не узнал бы его содержания, стал ли бы Эмброс осуждать меня? Я вертел письмо в руках, взвешивал на ладони. Читать или не читать? Боже, как я хотел, чтобы передо мной не стоял такой выбор... Там, дома, моя преданность ей не подлежала сомнению. В будуаре, где я не сводил глаз с ее лица, ловил каждое движение ее рук, ее улыбку, внимал ее

голосу, никакое письмо не нарушило бы моего покоя. Но здесь, в лесу, возле гранитной плиты, где мы так часто стояли вместе, я и Эмброз, с той самой тростью в руке, с которой теперь ходил я, в той самой куртке, которую я почти не снимал с плеч, — здесь его власть была гораздо сильнее. Как маленький мальчик молится, чтобы на его день рождения выдалась хорошая погода, так и я обратил к Богу молитву, чтобы в письме не оказалось ничего, способного нарушить мой душевный покой, и... вскрыл его. Оно было датировано апрелем прошлого года и, следовательно, написано за три месяца до смерти Эмброза.

«Мой дорогой мальчик!

Если ты нечасто получаешь от меня письма, то отнюдь не потому, что я не думаю о тебе. Последние три месяца мысли о тебе не покидали меня, и, пожалуй, я вспоминал тебя чаще, чем когда бы то ни было. Но письмо может затеряться или быть прочитано другими; по этой причине я не писал тебе, а когда писал — то, поверь, мне известно, сколь мало ты мог понять из моих слов. Я был нездоров, меня мучила лихорадка, мучили головные боли. Сейчас мне лучше. Не знаю, надолго ли. Лихорадка может возобновиться, головные боли тоже, а когда я оказываюсь в их власти, то не отвечаю ни за свои слова, ни за поступки. Уж это я знаю наверняка.

Но я не уверен в причине. Филипп, дорогой мальчик, я очень встревожен.

И это мягко сказано. Моя душа переживает агонию. Я писал тебе, кажется, зимой, но вскоре заболел и не помню, что случилось с тем письмом. Вполне возможно, я уничтожил его, поддавшись настроению. Кажется, я писал тебе о ее недостатке, который очень беспокоит меня. Не могу сказать, наследственный он или нет, но полагаю, что да, а также думаю, что неудачная беременность причинила ей непоправимый вред.

Кстати, в своих письмах я скрыл это от тебя — тогда мы были слишком потрясены. Что касается меня, то у меня есть ты, и это приносит мне утешение. Но женщина чувствует глубже. Как ты можешь догадаться, она думала о будущем, строила планы, но когда через четыре с половиной месяца все рухнуло, да к тому же врач сказал ей, что у нее больше не будет детей, горе ее было безмерно,

гораздо глубже, чем мое. Могу поклясться, она изменилась именно с той поры. Ее расточительность возрастала, и она начала отдаляться от меня. Вскоре я почувствовал в ней склонность к различного рода уловкам, ко лжи. Все это было так не похоже на ее теплоту и сердечность в первое время после замужества! Шел месяц за месяцем, и я все чаще замечал, что за советами она предпочитает обращаться не ко мне, а к человеку, о котором я уже писал в своих письмах, к синьору Райнальди, другу и, как я полагаю, поверенному Сангаллетти. По-моему, этот человек оказывает на нее пагубное влияние. Я подозреваю, что он влюблен в нее еще с той поры, когда Сангаллетти был жив, и хоть я до самого последнего, недавнего времени ни на миг не допускал, что он ей интересен, сейчас я не так в этом уверен. При упоминании его имени на ее глаза набегают тени, в голосе появляется особая интонация, что пробуждает во мне самые ужасные подозрения.

Я часто замечал, что воспитание, данное ей незадачливыми родителями, образ жизни, который она вела до и во время своего первого замужества и который мы оба обходили молчанием, привили ей манеру поведения, весьма отличную от той, что принята у нас дома. Узы брака не обязательно святы.

Кажется, у меня даже есть доказательства того, что он дает ей деньги.

Деньги, да простит мне Господь такие слова, в настоящее время — единственный путь к ее сердцу. Я уверен: если бы она не потеряла ребенка, ничего подобного не было бы, и всем сердцем сожалею, что послушал врача, когда он отговаривал нас от путешествия, и не привез ее домой. Мы были бы теперь с тобой и жили бы в полном согласии.

Иногда она снова становится собою прежней, и тогда все хорошо, настолько хорошо, что у меня такое ощущение, будто после кошмарного сна я вновь пробудился к счастью первых месяцев нашей совместной жизни. Затем слово, поступок — и вновь все потеряно. Я спускаюсь на террасу и застаю там Райнальди. При виде меня они замолкают, и мне остается лишь догадываться, о чем они беседовали. Однажды, когда она ушла в дом и я остался наедине с Райнальди, он неожиданно резко спросил меня про завещание. Как-то раз он случайно видел его перед нашей свадьбой. Он сказал мне, что

при теперешнем положении вещей, если я умру, то оставлю жену без наследства. Я знал об этом и даже сам составил завещание, исправляющее ошибку; я поставил бы под ним свою подпись и засвидетельствовал бы ее, если бы мог быть уверен в том, что ее расточительность — явление временное и не пустило глубоких корней.

Между прочим, по новому завещанию она получила бы дом и имение в пожизненное пользование с условием, что управление ими полностью поручается тебе, а после ее смерти они переходят в твое владение. Оно еще не подписано по причине, о которой я уже сказал тебе.

Заметь, именно Райнальди спросил меня про завещание. Райнальди обратил мое внимание на упущение в том варианте, который сейчас имеет законную силу.

Она не заговаривает со мной на эту тему. Может быть, они обсуждали ее вдвоем? О чем они разговаривают, когда меня нет поблизости?

Вопрос о завещании встал в марте. Признаться, я был тогда нездоров, почти ослеп от головной боли, и, быть может, Райнальди, со свойственной ему холодной расчетливостью, заговорил о нем, полагая, что я могу умереть.

Возможно, так оно и есть. Возможно, они не обсуждали его между собой. Я не могу это проверить. Я часто ловлю на себе ее взгляд, настороженный, странный. А когда я обнимаю ее, у меня возникает чувство, будто она чего-то боится. Но чего... кого?

Два дня назад, что, собственно, и побудило меня непременно написать тебе об этом, со мной случился приступ той же лихорадки, что свалила меня в марте. Совершенно неожиданный приступ. Начинаются резкие боли, тошнота, которые вскоре сменяются таким возбуждением, что я впадаю в неистовство и едва держусь на ногах от слабости и головокружения. Это, в свою очередь, проходит, на меня нападает неодолимая сонливость, и я падаю на пол или на кровать, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Не припомню, чтобы такое бывало с моим отцом. Головные боли — да, некоторая неуравновешенность — да, но не остальные симптомы.

Филипп, мальчик мой, единственное существо в мире, которому я могу довериться, скажи, что это значит, и, если можешь,

приезжай ко мне. Ничего не говори Нику Кендаллу. Ни слова не говори ни одной живой душе. Но главное — ничего не пиши в ответ, просто приезжай. Одна мысль преследует меня и не дает мне покоя. Неужели они пытаются отравить меня?

Эмброз».

Я сложил письмо. Собака внизу перестала лаять. Я слышал, как лесничий отворил калитку и пес заскулил, приветствуя хозяина; услышал голоса в доме, стук ведра, шум закрывшейся двери. С деревьев на противоположном холме поднялись галки. Громко крича, они покружили в воздухе, темной тучей перелетели к деревьям у болота и уселись на их верхушках.

Я не разорвал письмо. Под гранитной плитой я выкопал ямку, вложил письмо в записную книжку и похоронил ее глубоко в темной земле. Я разровнял землю руками, спустился с холма, миновал лес и вышел на нижнюю аллею.

Окольным путем поднимаясь к дому, я слышал смех и болтовню людей, возвращавшихся после работы домой. Я немного постоял, наблюдая, как они устало бредут через парк. Леса на стене дома, где они работали весь день, выглядели безжизненными и голыми. Я вошел в дом через черный ход со двора, и, как только мои шаги застучали по каменным плитам, из комнаты дворецкого мне навстречу вышел Сиком. У него было испуганное лицо.

— Как я рад, что вы наконец вернулись, сэр, — сказал он. — Госпожа давно спрашивает вас. С беднягой Доном беда. Госпожа очень встревожена.

— Беда? — спросил я. — Что случилось?

— С крыши на него упала большая плита шифера. Вы ведь знаете, в последнее время он почти оглох и все лежал на солнышке под окнами библиотеки. Шифер, должно быть, упал ему на спину. Он не может двигаться.

Я пошел в библиотеку. Рейчел сидела на полу, держа на коленях голову Дона. Когда я вошел, она подняла глаза.

— Они убили его, — сказала она. — Он умирает. Почему вы так задержались? Если бы вы были здесь, этого не случилось бы.

Ее слова отозвались в моей душе эхом чего-то давно забытого. Но чего именно, я не мог вспомнить.

Сиком вышел, и мы остались одни. По ее лицу текли слезы.

— Дон принадлежал вам, и только вам, — проговорила она. — Вы выросли вместе. Мне невыносимо видеть, как он умирает.

Я подошел и опустился рядом с ней на колени. Я признавал, что думаю не о письме, погребенном глубоко под гранитной плитой, не о бедном умирающем Доне, чье обмякшее, вытянувшееся тело неподвижно лежало между нами. Думал я только об одном. О том, что впервые с тех пор, как Рейчел приехала в мой дом, она скорбит не об Эмброзе, а обо мне.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Мы просидели с Доном весь вечер. Я пообедал, Рейчел кусок не шел в горло. Дон умер незадолго до полуночи. Я вынес его и накрыл труп: мы решили вместе похоронить его на следующий день в саду. Когда я возвратился, библиотека была пуста — Рейчел поднялась наверх. Я прошел по коридору в будуар. Она сидела, устремив взгляд в огонь, глаза ее были влажны. Я сел рядом с ней и взял ее руки в свои.

— Я думаю, он не страдал, — сказал я. — Думаю, он не чувствовал боли.

— Пятнадцать долгих лет... — сказала она. — Маленький десятилетний мальчик в свой день рождения открывает праздничный пирог, и он лежит в нем, положив голову на лапы. Эта сцена часто стоит у меня перед глазами.

— Через три недели, — проговорил я, — снова день рождения. Мне исполнится двадцать пять лет. Знаете, что произойдет в этот день?

— Сбудутся все желания, — ответила она. — Во всяком случае, так говорила мне мать, когда я была молода. А чего желаете вы, Филипп?

Я ответил не сразу. Как и она, я уставился в огонь.

— Придет время — узнаете.

Ее рука, в кольцах, белая, неподвижная, лежала в моей.

— Когда мне исполнится двадцать пять лет, — заговорил я, — имение и имущество семейства Эшли выйдут из-под опеки Ника Кендалла. Они станут моими, и я буду волен распоряжаться ими по своему усмотрению. Жемчужное кольцо, другие драгоценности, которые сейчас лежат в банке, — — все это я смогу отдать вам.

— Нет, Филипп, — сказала она, — я не приму их. Вы должны сохранить их для своей жены. Я знаю, пока у вас нет желания жениться, но, возможно, вы передумаете.

Я отлично знал, что именно мне не терпится сказать ей, но не осмеливался. Вместо этого я наклонился, поцеловал ей руку и отошел.

— Лишь по недоразумению, — сказал я, — драгоценности сегодня не ваши. И не только драгоценности, а все. Дом, деньги,

имение. Вы это прекрасно знаете.

По ее лицу пробежала тень. Она отвернулась от огня и откинулась на спинку кресла. Ее пальцы начали нервно тереть кольца.

— Не будем об этом говорить. Если произошло недоразумение, то я с ним свыклась.

— Вы, может быть, и свыклись, но я не свыкся.

Я встал и, повернувшись спиной к камину, посмотрел на нее; теперь я знал, что делать.

— Что вы имеете ввиду? — спросила она, подняв на меня глаза, затуманенные горькими воспоминаниями.

— Не важно, — ответил я, — узнаете через три недели.

— Через три недели, — сказала она, — сразу же после вашего дня рождения, я должна буду вас покинуть.

Вот она и произнесла слова, которых я давно ждал и боялся. Но теперь, когда у меня в голове созрел план, слова эти почти не имели значения.

— Почему? — спросил я.

— Я и так слишком надолго задержалась, — ответила она.

— Скажите, как бы вы поступили, — спросил я, — если бы Эмброс оставил завещание, по которому все имущество переходило бы к вам в пожизненное владение при условии, что, пока вы живы, я буду присматривать за имением и управлять им для вас?

Ее глаза вспыхнули, и она поспешно отвела их к огню.

— Как бы я поступила? — спросила она. — Что вы хотите этим сказать?

— Вы бы стали здесь жить? Вы бы выставили меня?

— Выставила вас? — воскликнула она. — Из вашего собственного дома?

О, Филипп, как вы можете задавать такие вопросы?

— Вы бы тогда остались? Вы жили бы здесь, в этом доме, и, в известном смысле, держали бы меня у себя на службе? Мы жили бы здесь вместе, как живем сейчас?

— Да, — сказала она. — Да, пожалуй. Я об этом никогда не думала. Но тогда все было бы иначе. Не надо сравнивать.

— В чем иначе?

Она всплеснула руками:

— Как мне вам объяснить? Неужели вы не понимаете, что при нынешних обстоятельствах мое пребывание в вашем доме выпадит весьма двусмысленно просто потому, что я женщина. Ваш крестный первый согласился бы со мной. Он ничего не говорил, но я уверена: он считает, что мне пора уезжать. Если бы дом был моим, а вы, по вашему выражению, состояли бы у меня на службе, все выглядело бы совершенно иначе. Я была бы миссис Эшли, а вы — моим наследником. Но вышло так, что теперь вы — Филипп Эшли, а я — родственница, живущая вашими щедротами. Между тем и другим огромная разница, дорогой.

— Совершенно верно, — согласился я.

— И значит, — сказала она, — не будем больше говорить об этом.

— Нет, будем говорить, — сказал я, — поскольку это дело чрезвычайной важности. Что случилось с завещанием?

— Каким завещанием?

— Завещанием, которое Эмброз составил, но не подписал, в котором он оставляет все имущество вам?

Я заметил в ее взгляде еще большую тревогу.

— Как вы узнали про это завещание? Я вам о нем не рассказывала.

Порою ложь бывает во спасение, и я прибег к ней.

— Я всегда знал, что оно должно существовать, — ответил я, — но, видимо, осталось неподписанным и, следовательно, с точки зрения закона, лишено юридической силы. Зайду еще дальше в своих предположениях и скажу, что завещание находится здесь, при вас.

То был выстрел наугад, но он попал в цель. Она инстинктивно бросила взгляд на небольшое бюро, затем на стену и снова на меня.

— Чего вы добиваетесь? — спросила она.

— Ничего, кроме подтверждения, что оно существует.

После некоторого колебания она пожала плечами.

— Хорошо. Да, существует, — ответила она. — Но оно ничего не меняет.

Завещание не было подписано.

— Могу я его увидеть? — спросил я.

Она долго молча смотрела на меня. Было ясно, что она смущена и, пожалуй, встревожена. Она встала с кресла, подошла к бюро и, помедлив в нерешительности, снова взглянула на меня.

— С чего вдруг все это? — спросила она. — Почему мы никак не можем оставить прошлое в покое? В тот вечер в библиотеке вы обещали, что мы так и сделаем.

— Вы обещали тогда, что останетесь, — ответил я.

Давать мне завещание или нет — выбор был за ней. Я подумал о выборе, сделанном мною днем у гранитной плиты. К добру или к беде, но я решил прочесть письмо Эмброза. Теперь ей предстояло принять решение. Она достала ключ и открыла выдвижной ящик бюро. Из ящика она вынула лист бумаги и протянула его мне.

— Если вам так хочется — читайте, — сказала она.

Бумага была исписана почерком Эмброза, более четким и разборчивым, чем письмо, которое я прочел днем. На месте даты значился ноябрь позапрошлого года — к тому времени они были женаты семь месяцев. Заголовок гласил:

«Завещание Эмброза Эшли». Содержание было именно таким, как он описал в письме ко мне. Имение и все имущество отходило к Рейчел в пожизненное владение с условием, что я буду управлять ими при ее жизни, и после ее смерти переходило к старшему из детей от их брака, а в случае отсутствия таковых — ко мне.

— Могу я снять с него копию? — спросил я.

— Делайте что хотите, — ответила Рейчел. Она была бледна, и по ее равнодушному тону могло показаться, будто ей это совершенно безразлично. — С прошлым покончено, Филипп, и нет смысла говорить о нем.

— Я пока оставляю завещание у себя и заодно сниму с него копию.

Я сел к бюро и, взяв перо и бумагу, принялся за дело. Она полулежала в кресле, подперев голову рукой.

Я знал, что должен иметь подтверждение всему, о чем писал Эмброз, и хотя каждое слово, которое мне пришлось произнести, вызывало у меня отвращение, я все-таки заставил себя обратиться к ней с вопросом. Перо скрипело по бумаге; снятие копии с завещания было не более чем предлог: я мог не смотреть на нее.

— Я вижу, что оно датировано ноябрем, — сказал я. — У вас есть какие-нибудь соображения, почему Эмброз именно в этом месяце составил завещание? Ведь вы обвенчались в апреле.

Она не спешила с ответом, и я вдруг подумал о том, что, должно быть, испытывает хирург, зондируя едва затянувшуюся рану.

— Не знаю, почему он написал его в ноябре, — наконец проговорила Рейчел. — В то время ни он, ни я не думали о смерти. Скорее, наоборот. Это было самое счастливое время из всех полутора лет, что мы провели вместе.

— Да, — сказал я, беря чистый лист бумаги, — он писал мне.

— Эмброз писал вам? Но я просила его не делать этого. Я боялась, что вы не правильно его поймете и почувствуете себя в некотором смысле ущемленным. С вашей стороны это было бы вполне естественно. Он обещал сохранить завещание в тайне. Ну а потом случилось так, что оно утратило всякое значение.

Ее голос звучал глухо, монотонно. В конце концов, когда хирург зондирует рану, то страдалец, возможно, вяло говорит ему, что не чувствует боли. «Но женщина чувствует глубже», — написал Эмброз в письме, которое теперь погребено под гранитной плитой. Царапая пером на бумаге, я увидел, что вывожу слова: «Утратило значение... утратило значение...»

— В результате, — сказал я, — завещание так и не было подписано.

— Да. Эмброз оставил его таким, каким вы его видите.

Я кончил писать. Сложил завещание и снятую с него копию и положил их в нагрудный карман, где днем лежало письмо Эмброза. Затем я подошел к Рейчел и, обняв ее, крепко прижал к себе, не как женщину, а как ребенка.

— Рейчел, почему Эмброз не подписал завещание? — спросил я.

Она не шелохнулась, не попыталась отстраниться. Только рука, лежавшая на моем плече, вдруг напряглась.

— Скажите, скажите мне, Рейчел...

В ответ, словно издавека, прозвучал слабый голос, едва уловимым шепотом коснувшийся моего слуха:

— Не знаю и никогда не знала. Мы больше не говорили о нем. Наверное, поняв, что я не смогу иметь детей, он разуверился во мне. В его душе угасла какая-то вера, хотя сам он и не сознавал этого.

Стоя на коленях перед креслом Рейчел и обнимая ее, я думал о письме в записной книжке под гранитной плитой, письме с теми же обвинениями, хоть и выраженными другими словами, и задавал себе

мучительный вопрос: как могли два любящих человека настолько не понимать друг друга, что даже общее горе не помешало их взаимному отчуждению? Видимо, в самой природе любви между мужчиной и женщиной есть нечто такое, что ввергает их в душевные муки и подозрительность.

— Это вас огорчило? — спросил я.

— Огорчило? А как вы думаете? Я просто голову потеряла.

Я представил себе, как они сидят на террасе перед виллой, разделенные странной тенью, сотканной из их собственных сомнений и страхов, и мне казалось, что эта тень вырастает из такого далекого прошлого, которое разглядеть невозможно. Быть может, не сознавая своего недовольства и размышляя о ее жизни с Сангаллетти и еще раньше, Эмброз обвинял ее за то, что все эти годы она провела не с ним; а Рейчел с такой же обидой и негодованием думала, что утрата ребенка неизбежно повлечет за собой утрату любви мужа. Как же плохо понимала она Эмброза! Как мало знал он ее! Я мог рассказать Рейчел о содержании письма, лежащего под плитой, но мой рассказ к добру бы не привел. Отсутствие взаимопонимания между ними коренилось слишком глубоко.

— Так что завещание не было подписано всего лишь по оплошности?

— Если угодно, называйте это оплошностью, — ответила она, — теперь это не имеет значения. Но вскоре его поведение изменилось, и сам он изменился. Начались эти ужасные головные боли, от которых он почти слепнул.

Несколько раз они доводили его до неистовства. Я спрашивала себя, нет ли тут моей вины. Я боялась.

— И у вас совсем не было друзей?

— Только Райнальди. Но он не знал того, о чем я рассказала вам.

Это холодное, строгое лицо, узкие пронизывающие глаза... я не винил Эмброза за недоверие к этому человеку. Но как Эмброз, будучи ее мужем, мог так сомневаться в себе? Конечно же, мужчина знает, когда женщина любит его.

Хотя, возможно, это и не всегда удастся определить.

— А когда Эмброз заболел, вы перестали приглашать Райнальди к себе?

— Я не смела, — ответила она. — Вам никогда не понять, каким стал Эмброз, и я не хочу об этом рассказывать. Прошу вас, Филипп, не спрашивайте меня больше ни о чем.

— Эмброз подозревал вас... но в чем?

— Во всем. В неверности и даже в худшем.

— Что может быть хуже неверности?

Она вдруг оттолкнула меня, встала с кресла и, подойдя к двери, распахнула ее.

— Ничего, — сказала Рейчел, — ничего на свете. А теперь уйдите и оставьте меня одну.

Я медленно поднялся и подошел к ней:

— Простите меня. Я вовсе не хотел рассердить вас.

— Я не сержусь, — сказала она.

— Никогда, — сказал я, — никогда больше я не буду задавать вам вопросов. Те, что я задал сегодня, были последними. Даю вам торжественное обещание.

— Благодарю вас, — сказала она.

Лицо ее было утомленным, бледным; голос звучал бесстрастно.

— У меня была причина задать их, — сказал я. — Через три недели вы ее узнаете.

— Я не спрашиваю вас о причине, Филипп. Уйдите. Вот все, о чем я вас прошу.

Она не поцеловала меня, не пожала руки. Я поклонился и вышел. Но миг, когда она позволила мне опуститься перед ней на колени и обнять... Почему она вдруг так переменилась? Если Эмброз мало знал о женщинах, то я и того меньше. Эта неожиданная пылкость, что заставляет мужчину забыть обо всем, застает его врасплох и возносит на вершины блаженства, и тут же — беспричинная смена настроения, возвращающая его с небес на землю, о которой ему на мгновение позволили забыть. Какой запутанный и сбивчивый ход мысли вынуждает их забывать о здравом смысле? Какие порывы пробуждают в них то гнев и отчужденность, то неожиданную щедрость? Да, мы совсем другие, с нашим более неповоротливым мышлением; мы медленно движемся по стрелке компаса, тогда как их, мятущихся и заблуждающихся, несут куда глаза глядят ветры воображения.

Когда на следующее утро Рейчел спустилась вниз, она была, как обычно, мила, приветлива и ни словом не обмолвилась о нашем вечернем разговоре. Мы похоронили бедного Дона в саду, там, где начинается обсаженная камелиями дорожка, и я отметил его могилу небольшим кругом из мелких камней. О том, десятом, дне рождения, когда Эмброс подарил мне его, мы больше не говорили, не говорили и о двадцать пятом дне рождения, до которого оставалось совсем немного времени. Но на следующий день я велел оседлать Цыганку и верхом отправился в Бодмин. Там я зашел к адвокату по имени Уилфред Треуин, который оказывал юридические услуги многим жителям графства, но до сих пор не занимался делами нашего семейства — крестный вел их со своими знакомыми в Сент-Остеле. Я объяснил ему, что пришел по сугубо личному и к тому же не терпящему отлагательств делу и желаю, чтобы он составил по всей форме документ, который позволит мне передать моей кузине Рейчел всю собственность, принадлежащую нашей семье, первого апреля, то есть в день, когда я по закону вступаю во владение наследством. Я показал ему завещание и объяснил, что единственно по причине внезапной болезни и последовавшей за нею смерти Эмброс не успел его подписать. Я попросил включить в документ большинство пунктов из завещания Эмброза, в том числе и тот, на основании которого по смерти Рейчел имущество возвращается ко мне и мне же поручается управлять им при ее жизни. В том случае, если я умру раньше, имущество в порядке наследования переходит к моим троюродным братьям из Кента, но лишь после ее смерти. Треуин сразу понял, что от него требуется, и, как мне кажется, будучи не слишком расположен к моему крестному — отчасти поэтому я и обратился к нему, — был рад столь важному поручению.

— Вы не желаете внести в документ клаузулу, гарантирующую неприкосновенность земли? — спросил он. — По настоящему варианту миссис Эшли могла бы продать столько акров земли, сколько ей заблагорассудится, что представляется мне неразумным, коль скоро вы намерены передать своим наследникам земельные владения в их целостности.

— Да, — не спеша проговорил я, — пожалуй, действительно стоит включить пункт, запрещающий продажу земли. Это, естественно, относится и к дому.

— Имеются фамильные драгоценности, не так ли? — спросил он. — И прочая личная собственность? Как вы распорядитесь ими?

— Они ее, — ответил я, — и она вольна распоряжаться ими, как ей будет угодно.

Мистер Треуин прочел черновой вариант документа, и мне показалось, что в нем не к чему придраться.

— Одна деталь, — заметил он. — Мы не оговорили возможность нового замужества миссис Эшли.

— Едва ли это произойдет, — сказал я.

— Возможно, и нет, и тем не менее этот пункт надо предусмотреть.

Держа перо в воздухе, Треуин вопросительно взглянул на меня.

— Ваша кузина еще довольно молодая женщина, не так ли? — сказал он.

— Такую возможность необходимо принимать в расчет.

И вдруг я с неожиданной свирепостью подумал о старике Сент-Айвзе из дальнего конца графства и о нескольких фразах, которые Рейчел в шутку обронила при мне.

— В случае ее замужества имущество возвращается ко мне. Это совершенно ясно.

Он сделал пометку на листе бумаги и еще раз прочел мне черновик.

— Вам угодно, чтобы документ был составлен с соблюдением всех юридических тонкостей и готов к первому апреля, мистер Эшли?

— Да, прошу вас. Первое апреля — мой день рождения. В этот день я вступаю в права наследства. Ни с какой стороны не может возникнуть никаких возражений.

Треуин сложил бумагу и улыбнулся.

— Вы поступаете весьма великодушно, — сказал он, — отказываясь от состояния в тот самый день, когда оно становится вашим.

— Начнем с того, что оно никогда не было бы моим, — ответил я, — если бы мой кузен Эмброз поставил под завещанием свою подпись.

— И тем не менее, — заметил он, — сомневаюсь, что подобные вещи случались прежде. Во всяком случае, мне не доводилось о них слышать.

Насколько я понимаю, вы бы не хотели, чтобы об этом деле стало известно до назначенного вами дня?

— Ни в коем случае! Все должно остаться в тайне.

— Хорошо, мистер Эшли. Благодарю вас за то, что вы оказали мне честь своим доверием. Если в будущем вы пожелаете навестить меня по любому вопросу, я в вашем распоряжении.

Он проводил меня до входной двери и пообещал, что полный текст документа будет доставлен мне тридцать первого марта.

Я весело скакал к дому, раздумывая над тем, не хватит ли крестного удар, когда он узнает о моем поступке. Мне было все равно. Я наконец избавился от его опеки, почти избавился, и не желал ему зла, но при всем том я отлично побил старика его же оружием. Что касается Рейчел, то теперь ей незачем уезжать в Лондон и покидать свое имение. Доводы, выдвинутые ею накануне вечером, утрачивают всякий смысл. Если она станет возражать против того, чтобы я жил в одном с нею доме, что ж, я переберусь в сторожку, буду каждый день приходить к ней за распоряжениями и, держа шапку в руке, выслушивать их вместе с Веллингтоном, Тамлином и остальными. Жизнь казалась мне прекрасной, и будь я мальчишкой, то, наверное, принялся бы выделывать самые невероятные антраша. Теперь же я ограничился тем, что пустил Цыганку через земляной вал и едва не свалился с нее, когда мы с грохотом приземлились на противоположной стороне.

Мартовский день совсем лишил меня головы, и я запел бы во все горло, но, как на грех, не мог припомнить ни одной мелодии. Зеленели живые изгороди, на них набухали почки, пестрел цветами медоносный ковер золотого можжевельника. День, казалось, был создан для веселых забав и безумных выходок.

Я вернулся во второй половине дня и, подъезжая к дому, увидел у дверей почтовую карету — весьма необычное зрелище, поскольку соседи, посещавшие Рейчел, всегда приезжали в собственных экипажах. Колеса и сама карета, как после долгого путешествия, были покрыты толстым слоем пыли, и я мог поручиться, что ни экипаж, ни кучер мне не знакомы. Я повернул лошадь и, обогнув двор, подъехал к конюшне, но грум, который вышел принять у меня Цыганку, знал о посетителях не больше моего, а Веллингтона поблизости не было.

В холле я никого не встретил, но, бесшумно подойдя к гостиной, за закрытыми дверьми услышал голоса. Я решил не подниматься по главной лестнице и пройти в свою комнату по лестнице в заднем крыле дома, которой обычно пользовались слуги. Но не успел я повернуться, как дверь гостиной распахнулась и в холл вышла Рейчел, кому-то улыбаясь через плечо. У нее был счастливый, радостный вид, как всегда в минуты, когда она была в веселом расположении духа.

— Филипп, вы дома? — сказала она. — Войдите в гостиную. Уж от этого гостя вам не улизнуть. Он проделал очень длинный путь, чтобы увидеть нас обоих.

Она, улыбаясь, взяла меня за руку и почти против моей воли втащила в гостиную. Заметив меня, сидевший там человек встал со стула и с протянутой рукой подошел ко мне.

— Вы не ждали меня, — сказал он. — Приношу свои извинения. Впрочем, и я не ждал вас, когда увидел впервые.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Не знаю, выдало ли мое лицо охватившие меня чувства. Должно быть, выдало, потому что Рейчел тут же принялась рассказывать Райнальди, как я постоянно отлучаюсь из дома в седле или пешком — она никогда не знает куда, к тому же я не предупреждаю, когда вернусь.

— Филипп занят гораздо больше своих собственных работников, — сказала она, — и знает каждый дюйм имения куда лучше их.

Она все еще держала меня за руку, словно выставляя напоказ, совсем как учитель — строптивого ученика.

— У вас прекрасное имение. Поздравляю, — сказал Райнальди. — Неудивительно, что ваша кузина Рейчел так привязалась к нему. Я никогда не видел, чтобы она так чудесно выглядела.

Его глаза, глаза, которые я отчетливо помнил, глубоко посаженные, лишенные выражения, на мгновение задержались на Рейчел, затем обратились ко мне.

— Вероятно, — сказал он, — здешний воздух более благоприятствует отдохновению души и тела, чем резкий воздух нашей Флоренции.

— Моя кузина, — сказал я, — происходит из нашей западной страны. Она всего лишь вернулась туда, откуда вышла.

Он улыбнулся, если легкое движение мускулов лица можно назвать улыбкой, и обратился к Рейчел:

— Это зависит от того, какая кровь сильнее, не так ли? Ваш молодой родственник забывает, что ваша мать — уроженка Рима. И могу добавить, что вы с каждым днем становитесь все более похожей на нее.

— Надеюсь, только лицом, — сказала Рейчел, — но не фигурой и не характером. Филипп, синьор Райнальди заявляет, что остановится на постоялом дворе — любом, какой мы ему порекомендуем, — он не привередлив. Но я сказала, что он говорит вздор. Мы, конечно же, можем найти для него комнату в доме.

При этом предложении у меня упало сердце, но отказать я не мог.
— Разумеется, — сказал я. — Я сейчас распоряджусь и отошлю почтовую карету, поскольку она больше не понадобится.

— Она привезла меня из Эксетера, — сказал Райнальди. — Я расплачусь с кучером, а когда буду возвращаться в Лондон, снова найму ее.

— У нас достаточно времени подумать об этом, — сказала Рейчел. — И коли вы здесь, то должны остаться по крайней мере на несколько дней и все осмотреть. Кроме того, нам надо многое обсудить.

Я вышел из гостиной, распорядился относительно комнаты; в западном крыле дома имелась одна просторная пустая комната, которая вполне годилась для него; медленно поднялся к себе принять ванну и переодеться к обеду. В окно я видел, как Райнальди вышел из дома, расплатился с кучером почтовой кареты и немного постоял на подъездной аллее, с оценивающим видом оглядываясь по сторонам. У меня было такое чувство, что он с одного взгляда оценил строевой лес, подсчитал стоимость кустов и деревьев. Я заметил, как он рассматривает резьбу на двери дома и проводит рукой по затейливым фигуркам. Наверное, за этим занятием его и застала Рейчел — я услышал их смех, и вскоре они заговорили по-итальянски. Дверь закрылась. Они вошли в дом.

Я был не прочь остаться в своей комнате и передать молодому Джону, чтобы он принес мне обед. Если им надо о многом поговорить, то пусть бы разговаривали в мое отсутствие. Но я был хозяином и не мог выказывать невежливость. Я не спеша принял ванну, с неохотой оделся и спустился вниз.

Сиком и молодой Джон суетились в столовой, которой мы еще ни разу не пользовались с тех пор, как рабочие почистили деревянную обшивку и отремонтировали потолок. Стол был сервирован лучшим серебром и самой дорогой посудой, которую вынимали из шкафов только для приема гостей.

— К чему вся эта суматоха? — спросил я Сикома. — Мы прекрасно могли бы пообедать в библиотеке.

— Госпожа так распорядилась, сэр, — с сознанием собственного величия объяснил Сиком, и вскоре я услышал, как он приказывает

молодому Джону принести из буфетной кружевные салфетки, которыми мы не пользовались даже во время воскресных обедов.

Я раскурил трубку и вышел из дома. Весенний вечер еще не угас, до сумерек оставалось больше часа. Однако в гостиной уже зажгли свечи, хотя портьеры пока не задернули. В голубой спальне также горели свечи, и я видел, как Рейчел, одеваясь, движется за окнами. Этот вечер мы провели бы вдвоем в будуаре — я в душе поздравлял бы себя с тем, что сделал в Бодмине, она, в благостном расположении духа, рассказывала бы мне, чем занималась днем.

Теперь же не будет ни того, ни другого. Яркий свет в гостиной, оживление в столовой, разговоры о вещах, которые не имеют ко мне ни малейшего отношения, и вдобавок ко всему — инстинктивное отвращение к этому человеку, приехавшему отнюдь не ради развлечения и не из праздного любопытства, а явно с какой-то целью. Знала ли Рейчел заранее, что он прибыл в Англию и собирается навестить нас? Удовольствие от поездки в Бодмин растаяло.

Школярская проказа закончилась. Я вошел в дом подавленный, полный дурных предчувствий. В гостиной у камина стоял Райнальди. Он был один. Итальянец сменил дорожную одежду на вечерний костюм и рассматривал портрет моей бабушки, висевший на одной из панелей.

— Очаровательное лицо, — прокомментировал он, — прекрасные глаза, прекрасная кожа... Вы происходите из красивой семьи. Ну а сам по себе портрет не представляет особой ценности.

— Вероятно, нет, — сказал я. — Лели^{[note 5](#)} и Неллер^{[note 6](#)} висят на лестнице, если вам интересно взглянуть на них.

— Я заметил, когда спускался, — ответил он. — Для Лели место выбрано удачно, но не для Неллера. Последний, я бы сказал, не в лучшем стиле, но выполнен в минуту вдохновения. Возможно, закончен учеником.

Я промолчал, прислушиваясь, не донесутся ли с лестницы шаги Рейчел.

— Во Флоренции перед самым отъездом мне удалось продать для вашей кухни раннего Фурини^{[note 7](#)} из коллекции Сангаллетти, которая теперь, к несчастью, рассеялась. Изысканная вещь.

Картина висела в вилле на лестнице, где свет как нельзя лучше выявлял все ее достоинства. Вы, наверное, не заметили ее, когда были

там.

— Наверное, нет, — ответил я.

В гостиную вошла Рейчел. На ней было то же самое платье, что в сочельник, но плечи покрывала шаль. Меня это обрадовало. Она бросила быстрый взгляд на каждого из нас, словно желая прочесть по нашим лицам, как ладится беседа.

— А я как раз говорил вашему кузену Филиппу, — сказал Райнальди, — насколько выгодно мне удалось продать «Мадонну» Фурини из коллекции Сангаллетти, которая так украшала вашу виллу. И право, трагично, что с ней пришлось расстаться.

— Мы привыкли к таким расставаниям, не правда ли? — ответила она. — Сколько сокровищ нельзя было спасти...

Я обнаружил, что меня возмущает это «мы».

— Вы преуспели в продаже виллы? — без обиняков спросил я.

— Пока нет, — ответил Райнальди. — Еще и поэтому я приехал повидаться с вашей кухней Рейчел. Мы склонны сдать ее внаем года на три или четыре. Это выгоднее, и, кроме того, «сдать» выйдет не так безнадежно, как «продать». Возможно, ваша кухня вскоре пожелает вернуться во Флоренцию.

— Пока у меня нет такого намерения, — сказала Рейчел.

— Очевидно, нет, — заметил он, — но мы посмотрим.

Его глаза неотступно следили за ее движениями по комнате, и я молил небеса, чтобы она села. Кресло, в котором она обычно сидела, стояло несколько поодаль от зажженных свечей, и ее лицо оставалось бы в тени. Ей вовсе незачем было ходить по комнате, разве что из желания показать платье.

Я пододвинул кресло к свету, но она так и не села.

— Представьте себе, Филипп, синьор Райнальди провел в Лондоне целую неделю и не написал мне, — сказала она. — Я в жизни так не удивлялась, как в ту минуту, когда Сиком доложил, что он здесь.

Она улыбнулась ему, он пожал плечами.

— Я надеялся, что удивление, вызванное внезапностью моего появления, усилит вашу радость, — сказал он. — Неожиданное может быть восхитительным и наоборот — все зависит от обстоятельств. Помните, как в Риме мы с Козимо заявили к вам, когда вы одевались, чтобы отправиться на бал к Каstellуччи?

Вы были немало раздосадованы на нас.

— Ах, у меня была на то причина! — рассмеялась она. — Если вы забыли, я не стану напоминать.

— Я ничего не забыл, — возразил он. — Я помню даже цвет вашего платья. С янтарным отливом. И еще: Бенито Кастеллуччи прислал вам цветы. Я заметил его визитную карточку, а Козимо нет.

Войдя в гостиную, Сиком объявил, что обед подан, и Рейчел, все еще смеясь и напоминая Райнальди разные забавные римские случаи, повела нас через холл в столовую. Никогда не чувствовал я себя таким лишним. Они продолжали разговаривать о разных местах, людях; Рейчел время от времени протягивала ко мне руку через стол, как делала бы это, будь на моем месте ребенок, и говорила: «Филипп, дорогой, вы должны простить нас. Я так давно не видела синьора Райнальди», а он тем временем смотрел на меня своими темными, глубоко посаженными глазами.

Несколько раз они переходили на итальянский. Он о чем-то рассказывал ей и вдруг, не находя слова, с извиняющимся видом отвешивал мне поклон и продолжал фразу на своем родном языке. Она отвечала ему по-итальянски, и, пока она говорила, а я слышал незнакомые слова, которые лились с ее губ быстрее, чем английские, мне казалось, что лицо ее преображается и вся она становится более оживленной, более пылкой, но вместе с тем более жесткой и ослепительной, что мне вовсе не нравилось.

Мне казалось, что эта пара чужая за моим столом, в моей обитой деревянными панелями столовой; их место в Риме, во Флоренции, в окружении прислуживающей им льстивой смуглолицей челяди, среди блестящего, чуждого мне общества, болтающего на непонятном мне языке. Не следует им быть там, где Сиком шаркает по полу кожаными подошвами, а одна из молодых собак чешется под столом. Я, сгорбившись, сидел на стуле — полная противоположность увлеченным собеседникам, призрак смерти на обеде в собственном доме, и, дотягиваясь до грецких орехов, колол их в руках, чтобы отвести душу. Рейчел осталась сидеть за столом, когда после трапезы мы принялись за портвейн и коньяк. Точнее, принялся Райнальди, поскольку я не притронулся ни к тому ни к другому, а он воздал должное обоим.

Из портсигара, который, оказалось, был при нем, он достал сигару, закурил и, пока я раскуривал трубку, рассматривал меня с выражением снисходительности на лице.

— По-моему, все молодые англичане курят трубку, — заметил он. — Причина, видно, в том, что это способствует хорошему пищеварению, но, как мне говорили, вредит дыханию.

— Как и коньяк, — ответил я, — который к тому же вредит еще и голове.

Я неожиданно вспомнил бедного Дона, теперь лежащего в земле; когда он был помоложе, то при встрече с собакой, которая ему почему-либо особенно не нравилась, он ощетинивался, поднимал хвост, подпрыгивал и вцеплялся ей в плотку. Теперь я понимал, что он должен был чувствовать в такие моменты.

— Извините нас, Филипп, — поднимаясь со стула, сказала Рейчел. — Синьору Райнальди и мне надо многое обсудить. Он привез бумаги, которые я должна подписать. Лучше всего это сделать в моем будуаре. Вы к нам присоединитесь?

— Думаю, нет, — ответил я. — Я целый день не был дома, и в конторе меня ждут письма. Желаю вам обоим доброй ночи.

Она вышла из столовой, он последовал за ней. Я слышал, как она и он поднимались по лестнице. Когда молодой Джон пришел убирать со стола, я все еще сидел в столовой.

Затем я вышел из дома и направился к парку. Я видел свет в будуаре, но портьеры были задернуты. Оставшись одни, они, конечно же, говорят по-итальянски. Она, разумеется, сидит в низком кресле у камина, он — рядом с ней. Интересно, думал я, расскажет ли она ему про наш разговор прошлым вечером? Что я взял у нее завещание и снял с него копию? Интересно, что он ей советует? Какие бумаги, требующие ее подписи, привез показать? Покончив с делами, вернутся ли они к воспоминаниям, к обсуждению общих знакомых мест, где они бывали? Приготовит ли она tisana, как готовила мне, будет ли ходить по комнате, чтобы он мог любоваться ее движениями? Когда он уйдет от нее, чтобы лечь спать, и даст ли она ему на прощание руку? Помедлит ли он перед дверью, под разными предложениями оттягивая уход, как делал я сам? Или, так хорошо зная его, она позволит ему задержаться допоздна?

Я бродил по парку: вверх — по дорожке с террасами, вниз — по тропинке до самого взморья и обратно; снова вверх по дорожке, обсаженной молодыми кедрами. Так я кружил до тех пор, пока не услышал, что часы на башне пробили десять. В этот час меня выставляли из будуара; а его? Я подошел к краю лужайки, остановился и посмотрел на ее окно. В будуаре еще горел свет. Я ждал, не сводя с него глаз. Свет продолжал гореть. От долгой ходьбы я согрелся, но под деревьями воздух был холодный. У меня замерзли руки и ноги.

Ночь была темной, ни один звук не нарушал глубокой тишины. Морозная луна не стояла над вершинами деревьев. Часы пробили одиннадцать. С последним ударом свет в будуаре погас и зажегся в голубой спальне. Я немного подождал, затем быстро обогнул задний фасад дома, прошел мимо кухни и, остановившись перед западным фасадом, посмотрел вверх, на окно комнаты Райнальди. У меня вырвался вздох облегчения. В ней тоже горел свет. Он оставил ставни закрытыми, но я разглядел в них слабые просветы. Окно тоже было плотно закрыто. Я был уверен — и эта уверенность доставляла мне, как истинному жителю Британских островов, немалое удовлетворение, — что ночью он не откроет ни то, ни другое.

Я вошел в дом и поднялся к себе. Только я снял сюртук и галстук и бросил их на стул, как в коридоре послышалось шуршание платья и в дверь осторожно постучали. Я подошел и открыл ее. У порога стояла Рейчел. Она еще не переделась, и на ее плечах по-прежнему лежала шаль.

— Я пришла пожелать вам спокойной ночи, — сказала она.

— Благодарю вас, — ответил я. — И я желаю вам того же.

Она опустила глаза и увидела на моих сапогах грязь.

— Где вы были весь вечер? — спросила она.

— Гулял в парке, — ответил я.

— Почему вы не пришли ко мне в будуар выпить tisana? — спросила она.

— Не хотелось, — ответил я.

— Какой вы смешной, — сказала она. — За обедом вы вели себя, как надутый школьник, по которому плачут розги.

— Прошу прощения, — сказал я.

— Райнальди — мой старинный друг, вам это отлично известно, — сказала она. — Нам надо было о многом поговорить, неужели вы не понимаете?

— Не потому ли, что он вам более старинный друг, чем я, вы и позволили ему засидеться в будуаре до одиннадцати часов? — спросил я.

— Неужели до одиннадцати? Я и не знала, что так поздно.

— Он долго здесь пробудет? — спросил я.

— Это зависит от вас. Если вы проявите учтивость и пригласите его, то, возможно, он останется дня на три. Никак не дольше. Ему надо вернуться в Лондон.

— Раз вы просите меня пригласить его, я должен это сделать.

— Благодарю вас, Филипп. — Она посмотрела на меня снизу вверх, глаза ее смягчились, а в уголках губ заиграла улыбка. — В чем дело? Почему вы такой неразумный? О чем вы думали, бродя по парку?

Я мог бы предложить ей сотню ответов. Как не доверяю я Райнальди, как ненавистно мне его присутствие в моем доме, как хочу, чтобы все было, как прежде, — она, и никого больше. Но вместо этого я без всякой на то причины, кроме отвращения ко всему, о чем говорилось вечером, спросил ее:

— Кто такой этот Бенито Кастеллуччи? Почему он считал себя вправе дарить вам цветы?

Она залилась своим жемчужным смехом, привстала на цыпочки и обняла меня.

— Он был старым, очень толстым, и от него пахло сигарами. А вас я очень-очень люблю.

И она вышла.

Не сомневаюсь, что минут через двадцать она уже спала, я же до четырех ночи слышал бой часов на башне и, наконец забывшись беспокойным сном, который к семи утра становится особенно крепок, спал, пока молодой Джон безжалостно не разбудил меня в обычное время.

Райнальди пробыл у нас не три, а семь дней, и за все это время у меня ни разу не было повода изменить о нем мнение. Думаю, что больше всего меня раздражала снисходительность, которую он проявлял по отношению ко мне. Когда он смотрел на меня, на его

губах змеилась улыбка, словно я был ребенком, которого надо ублажать, и, чем бы я ни занимался днем, он осведомлялся о моих делах с таким видом, будто говорил о школьных проказах. Я положил себе за правило не возвращаться к ленчу, и когда в начале пятого приходил домой, то, открывая дверь гостиной, всегда заставал их вдвоем за оживленным разговором, непременно по-итальянски. При моем появлении разговор обрывался.

— О, труженик возвращается! — однажды сказал Райнальди, сидевший — будь он проклят! — на стуле, на котором всегда сидел я, когда мы были вдвоем с Рейчел. — И пока он обходил свои земли, разумеется, с тем, чтобы проверить, достаточно ли глубоко его плуги вспахивают почву, мы с вами, Рейчел, перенеслись за сотни миль отсюда на крыльях мысли и воображения. За весь день мы не пошевелились, если не считать прогулки по дорожке с террасами. Средний возраст имеет свои преимущества.

— Вы дурно на меня влияете, Райнальди, — ответила она. — С тех пор как вы здесь, я пренебрегаю всеми своими обязанностями. Не выезжаю с визитами, не слежу за посадками. Филипп будет бранить меня за праздность.

— Вы не были праздны интеллектуально, — последовал его ответ. — В этом смысле мы покрыли не меньшие просторы, чем вышагал ваш молодой кузен.

Или сегодня он был не на ногах, а в седле? Верховой ездой молодые англичане вечно доводят свои тела до изнеможения.

Я понял, что он насмехается надо мной, пустоголовым молодым жеребцом, а способ, каким Рейчел пришла мне на выручку — опять воспитатель и воспитанник, — еще сильнее разозлил меня.

— Сегодня среда, — сказала она, — а по средам Филипп никуда не выходит и не выезжает, а просматривает счета в конторе. У него хорошая голова на цифры, и он точно знает, сколько тратит, не так ли, Филипп?

— Не всегда, — ответил я. — Например, сегодня я присутствовал на заседании мировых судей нашей округи и принимал участие в разбирательстве дела одного малого, обвиненного в воровстве. Его приговорили к штрафу и отпустили.

Райнальди наблюдал за мной все с той же снисходительностью.

— Молодой Соломон и молодой фермер в одном лице, — сказал он. — Я постоянно слышу о новых талантах. Рейчел, вы не находите, что ваш молодой кузен очень напоминает портрет Иоанна Крестителя кисти дель Сарто^{[note 8](#)}? Та же очаровательная смесь высокомерия и невинности.

— Может быть, — ответила Рейчел. — Я об этом не думала. По моему, он похож только на одного человека.

— О да, разумеется, — согласился Райнальди. — Но помимо этого в нем определенно есть что-то дель-сартовское. Как-нибудь вам обязательно надо отлучить его от здешних угодий и показать ему нашу страну. Путешествия расширяют кругозор, обогащают душу, и мне очень хотелось бы увидеть, как он бродит по картинной галерее или по собору.

— На Эмброза и то и другое наводило скуку, — заметила Рейчел. — Сомневаюсь, чтобы на Филиппа они произвели большее впечатление. Кстати, вы видели вашего крестного на заседании мировых судей? Я хотела бы навестить его в Пелине вместе с синьором Райнальди.

— Да, он был там, — сказал я, — и передавал вам поклон.

— У мистера Кендалла очаровательная дочь, — сказала Рейчел, обращаясь к Райнальди, — немного младше Филиппа.

— Дочь? Хм, однако... — заметил Райнальди. — Значит, ваш молодой кузен не совсем отрезан от общества молодых женщин?

— Вовсе нет, — рассмеялась Рейчел. — Все матери в округе имеют на него виды.

Помню, какой яростный взгляд я бросил на нее; она перестала смеяться и, выходя из гостиной, чтобы переодеться к обеду, потрепала меня по плечу. Эта привычка всегда бесила меня; я окрестил ее жестом тетушки Фебы, чем привел Рейчел в такой восторг, будто сделал ей комплимент.

Именно тогда, как только она ушла наверх, Райнальди сказал мне:

— С вашей стороны, равно как и со стороны вашего крестного, было весьма великодушно выделить вашей кузине Рейчел содержание. Она сообщила мне об этом в письме. Она была глубоко тронута.

— Это самое меньшее, к чему обязывал нас долг по отношению к ней, — ответил я, надеясь, что мой тон не располагает к продолжению

беседы. Я не сказал ему, что должно произойти через три недели.

— Вам, вероятно, известно, — продолжал Райнальди, — что, помимо этого содержания, у нее нет абсолютно никаких средств, за исключением тех, которые я могу время от времени выручать от продажи ее вещей. Смена обстановки благотворно подействовала на нее, но, полагаю, скоро она станет испытывать потребность в обществе, к которому привыкла во Флоренции. Это истинная причина, почему я не избавляюсь от виллы. Ваша кухня связана с ней слишком прочными узами.

Я не ответил. Если узы и прочны, то лишь потому, что он сам сделал их таковыми. Пока он не приехал, она не говорила ни о каких узах.

Сколько велико может быть его собственное состояние, подумал я, не дает ли он ей из своих собственных средств деньги помимо тех, что получает от продажи вещей с виллы Сангаллетти? Прав был Эмброз, не доверяя ему! Но какая слабость заставляет Рейчел дорожить им как советником и другом?

— Возможно, — снова заговорил Райнальди, — было бы разумнее в конце концов продать виллу, а для Рейчел найти квартиру во Флоренции или построить небольшой дом во Фьезоле. У нее много друзей, которые совсем не хотят терять ее, я — в их числе.

— При нашей первой встрече, — сказал я, — вы говорили, что кухня Рейчел — женщина импульсивная. Без сомнения, она такой и останется и, следовательно, будет жить там, где пожелает.

— Без сомнения, — подтвердил Райнальди, — но природа ее импульсов такова, что они не всегда ведут ее к счастью.

Думаю, он хотел сказать, что брак с Эмброзом, за которого она вышла под влиянием порыва, не принес ей счастья и что ее приезд в Англию объясняется таким же порывом, и он отнюдь не уверен в его исходе. Он вел ее дела, а потому обладал над ней определенной властью, которая могла вернуть ее во Флоренцию. Я был уверен, что именно в этом и состоит цель его визита — убедить ее в непререкаемости своей власти, а возможно, и сказать, что выплачиваемое содержание недостаточно для того, чтобы обеспечить ее и в будущем. Но у меня на руках была козырная карта, и он не знал этого. Через три недели Рейчел перестанет зависеть от Райнальди до конца дней своих. Я не улыбнулся лишь потому, что не мог позволить

себе этого в присутствии человека, к которому питал неодолимую неприязнь.

— Человек вашего воспитания, вынужденный в течение нескольких месяцев принимать в своем доме женщину, наверное, чувствует себя довольно странно, — проговорил Райнальди, не сводя с меня глаз. — Должно быть, это выбивает вас из привычной колеи?

— Напротив, — сказал я. — Я нахожу это весьма приятным.

— И тем не менее для такого молодого и неопытного человека, как вы, это сильное лекарство, — заметил он. — Будучи принято в столь большой дозе, оно способно причинить вред.

— Полагаю, что почти в двадцать пять лет я достаточно хорошо знаю, какое лекарство мне подходит, а какое нет.

— Так думал и ваш кузен в сорок три года, — сказал Райнальди, — но, как выяснилось, он ошибался.

— Это предупреждение или совет? — спросил я.

— И то и другое, — ответил он, — если вы их правильно поймете. А теперь прошу извинить меня, но я должен переодеться к обеду.

Скорее всего, его план заключался в следующем: вбить клин между мной и Рейчел, обронив слово, едва ли ядовитое, но жальщее весьма больно. Если мне он давал понять, чтобы я остерегался ее, то какие намеки отпускал он по моему адресу? Однажды, не успел я появиться в гостиной, где они сидели, как он заявил, что у всех молодых англичан длинные ноги и короткие мозги... Чем объяснить эти слова? Желанием одним движением плеча избавиться от меня или чрезмерной легкостью в общении? Он располагал обширным арсеналом критических замечаний, всегда готовых сорваться с языка и кого-нибудь очернить.

— Беда всех очень высоких людей в том, — как-то сказал он, — что они роковым образом расположены к сутулости (когда он говорил это, я, нагнув голову, стоял под притолокой в дверях, отдавая распоряжения Сикому). К тому же более мускулистые из них со временем очень толстеют.

— Эмброз никогда не был толстым, — поспешно сказала Рейчел.

— Он не увлекался упражнениями, какими увлекается этот юноша.

Неумеренная ходьба, езда верхом и плавание развивают не те части тела, которые нуждаются в развитии. Я очень часто это замечал. Особенно у англичан. Видите ли, в Италии мы не так костисты и ведем менее подвижный образ жизни. Поэтому мы и сохраняем фигуру. К тому же наша пища легче для печени и крови. Не так много тяжелой для желудка говядины, баранины. А что до пирожных, тортов... — Он сделал протестующий жест. — Этот мальчик постоянно ест пирожные. Я видел, как вчера за обедом он уничтожил целый пирог.

— Вы слышите, Филипп? — спросила Рейчел. — Синьор Райнальди уверяет, что вы слишком много едите. Сиком, нам придется поменьше кормить мистера Филиппа.

— Ни в коем случае, мадам, — ответил потрясенный Сиком. — Если он будет меньше есть, то повредит своему здоровью. Мы должны помнить, мадам, что мистер Филипп еще растет.

— Боже праведный! — пробормотал Райнальди. — Если в двадцать четыре года он еще растет, следует опасаться серьезного заболевания желез.

С задумчивым видом потягивая коньяк, который Рейчел позволила ему принести в гостиную, Райнальди пристально разглядывал меня, пока мне и впрямь не стало казаться, будто во мне семь футов роста, как в бедном слабоумном Джеке Тревозе, которого мать таскала по бодминской ярмарке, чтобы люди глазели на него и подавали мелкие монеты.

— Надеюсь, — сказал Райнальди, — вы действительно не жалуетесь на здоровье? И не перенесли в детстве серьезной болезни, которая могла бы способствовать возникновению опухоли?

— Не помню, чтобы я вообще когда-нибудь болел, — ответил я.

— Что само по себе уже плохо, — сказал он. — Тот, кто не перенес никаких заболеваний, становится жертвой первого же удара, который наносит ему Природа. Разве я не прав, Сиком?

— Очень возможно, что и правы, сэр. Откуда мне знать? — ответил Сиком, но я заметил, что, выходя из комнаты, он взглянул на меня с некоторым сомнением, как будто я уже заболел оспой.

— Этот коньяк, — сказал Райнальди, — надо выдерживать по крайней мере еще лет тридцать. Он будет годен к употреблению не раньше, чем дети Филиппа достигнут совершеннолетия. Рейчел, вы

помните тот вечер на вилле, когда Козимо принимал всю Флоренцию — во всяком случае, у многих создалось именно такое впечатление — и настоял, чтобы мы надели домино и маски, как на венецианском карнавале? А ваша матушка, да будет ей земля пухом, дурно обошлась с князем... как его там... ах, кажется, вспомнил — с Лоренцо Амманати, не так ли?

— Я не могла быть повсюду одновременно, — ответила Рейчел, — но это был не Лоренцо, он слишком усердно ухаживал за мной.

— О, эти ночи безумств... — мечтательно проговорил Райнальди. — Все мы были до смешного молоды и крайне легкомысленны. Куда лучше быть степенным и спокойным, как сейчас. Думаю, в Англии никогда не дают таких балов.

Конечно, виною тому климат. Если бы не он, возможно, юный Филипп и считал бы забавным, облачившись в домино и надев маску, обшаривать кусты в поисках мисс Луизы.

— Уверена, что Луиза лучшего не могла бы и желать, — сказала Рейчел.

Я поймал на себе ее взгляд и заметил, что губы ее подрагивают.

Я вышел из гостиной и почти сразу услышал, что они перешли на итальянский; в его голосе звучал вопрос, она ответила и весело рассмеялась.

Я догадался, что они обсуждают меня, может быть, Луизу и, уж конечно, эти проклятые сплетни о нашей будущей помолвке, которые, по словам Рейчел, ходят по всей округе. Господи! Сколько еще он намерен здесь пробыть? Сколько дней и ночей предстоит мне терпеть все это?!

В конце концов в последний вечер визита Райнальди крестный и Луиза приехали к нам на обед. Вечер прошел гладко, во всяком случае внешне.

Райнальди проявил по отношению к крестному редкостную учтивость, что стоило ему немалого труда, и эта троица — он, крестный и Рейчел, — увлекшись общим разговором, предоставили нам с Луизой занимать друг друга. Иногда я замечал, что Райнальди смотрит в нашу сторону с улыбкой снисходительной благожелательности, и даже услышал, как он сказал крестному sotto

vous^{note 9}: «Поздравляю вас с дочерью и крестником. Они прекрасная пара». Луиза тоже услышала эти слова.

Бедная девушка покраснела, и я тут же принялся расспрашивать ее о том, когда она снова собирается в Лондон. Я хотел успокоить ее, но, сам не знаю почему, сделал только хуже. После обеда разговор снова зашел о Лондоне, и Рейчел сказала:

— Я сама надеюсь очень скоро посетить Лондон. Если мы окажемся там в одно время (это Луизе), вы должны показать мне все, что заслуживает внимания, ведь я никогда не бывала там.

При этих словах крестный наострил уши.

— Вы в самом деле намереваетесь покинуть нас? — спросил он. — Ну что же, вы отлично перенесли все неудобства, связанные с посещением Корнуолла зимой. Лондон вы найдете более привлекательным.

Он обернулся к Райнальди:

— Вы еще будете там?

— Дела задержат меня всего на несколько недель, — ответил Райнальди.

— Но если Рейчел решит приехать, я, естественно, буду в ее распоряжении. Я не впервые приезжаю в вашу столицу и очень хорошо знаю ее. Надеюсь, вы и ваша дочь доставите нам удовольствие отобедать с нами, когда приедете в Лондон.

— Мы будем счастливы, — ответил крестный. — Весной Лондон прекрасен.

За одно то, что они спокойно обсуждают возможность подобной встречи, я был готов расшибить головы всей этой компании, но больше всего меня взбесило слово «мы» в устах Райнальди. Я разгадал его план. Заманить ее в Лондон, развлекать там, пока не закончит свои дела, а потом уговорить вернуться в Италию. А крестный, руководствуясь собственными соображениями, способствует этому плану.

Они не знали, что у меня есть козырь, способный побить все их карты.

Вечер прошел в многочисленных заверениях во взаимном расположении и закончился тем, что Райнальди отвел крестного в сторону минут на двадцать, а то и больше, с тем — как я легко мог

себе представить — чтобы подпустить какого-нибудь яда по моему адресу.

После отъезда Кендаллов я не вернулся в гостиную. Оставив дверь открытой, чтобы слышать, когда Рейчел и Райнальди поднимутся наверх, я лег в постель. Они не спешили. Пробыло полночь, а они все еще сидели внизу. Я встал, вышел на площадку лестницы и прислушался. Через приоткрытую дверь гостиной до меня долетали приглушенные голоса. Опираясь о перила, чтобы перенести на них часть своего веса, я босиком спустился до середины лестницы. Мальчиком я проделывал то же самое, если Эмброз засиживался с компанией за обедом. И теперь, как тогда, меня пронзило чувство вины. Голоса не смолкали. Но слушать Рейчел и Райнальди было бесполезно — они говорили по-итальянски. То и дело до меня долетало мое собственное имя — «Филипп», несколько раз имя крестного — «Кендалл». Они разговаривали обо мне или о нем, может быть — о нас обоих. В голосе Рейчел звучала непривычная настойчивость, а он, Райнальди, говорил таким тоном, будто о чем-то расспрашивал ее. Я вдруг с отвращением подумал, не рассказал ли крестный Райнальди о своих друзьях-путешественниках из Флоренции, а тот, в свою очередь, поведал об этом Рейчел. Насколько бесполезно сейчас образование, полученное мною в Харроу и в Оксфорде, изучение латыни, греческого! Здесь, в моем доме, два человека разговаривают по-итальянски, возможно, обсуждают вопросы, которые имеют для меня огромное значение, а я не могу разобрать ничего, кроме собственного имени.

Вдруг наступила тишина. Они замолкли. До меня не доносилось ни шороха.

Что, если он подошел к ней, обнял и она поцеловала его, как поцеловала меня в канун Рождества? При этой мысли меня захлестнула волна такой ненависти к Райнальди, что я едва не забыл об осторожности, чуть было не бросился вниз по лестнице и не распахнул дверь гостиной. Затем я вновь услышал ее голос и шуршание платья, приближающееся к двери. Я увидел колеблющийся свет ее свечи. Долгое совещание наконец закончилось. Они шли спать. Совсем как ребенок в те далекие годы, я крадучись вернулся в свою комнату. Я слышал, как Рейчел по коридору прошла в свои комнаты, а он повернул в другую сторону и направился к себе. Вероятно, я

никогда не узнаю, что они так долго обсуждали вдвоем, но, подумал я, это его последняя ночь под моей крышей и завтра я лягу спать с легким сердцем.

На следующее утро я с трудом пролотил завтрак — так не терпелось мне поскорее выпроводить незваного гостя. Под окнами застучали колеса почтовой кареты, и Рейчел, которая, как мне казалось, простилась с ним еще ночью, спустилась проводить его, одетая для работы в саду.

Он взял ее руку и поцеловал. На этот раз из простой вежливости по отношению ко мне, хозяину дома, он произнес слова прощания по-английски.

— Так вы напишете мне о своих планах? — спросил он Рейчел. — Помните, когда соберетесь приехать, я буду ждать вас в Лондоне.

— До первого апреля, — отозвалась она, — я не буду строить никаких планов.

И, взглянув на меня из-за его плеча, улыбнулась.

— Не день ли это рождения вашего кузена? — осведомился Райнальди, сядя в почтовую карету. — Надеюсь, он хорошо проведет его и съест не слишком большой пирог.

И, выглянув из окна, сделал прощальный выстрел в мою сторону:

— Должно быть, не очень приятно, когда день рождения приходится на такую своеобразную дату. День всех дураков, кажется? Но, вероятно, в двадцать пять лет вы сочтете себя слишком старым, чтобы вам напоминали о ней?

Почтовая карета покатила его к воротам парка. Я взглянул на Рейчел.

— Может быть, — сказала она, — мне следовало попросить его вернуться к этому дню и принять участие в празднике?

И с неожиданной улыбкой, тронувшей мое сердце, она взяла веточку остролиста, которую носила на платье, и продела мне в петлицу.

— Вы были молодцом, — шепнула она, — все семь дней. А я невнимательна к своим обязанностям. Вы рады, что мы опять вдвоем?

И, не дождавшись ответа, она вслед за Тамлином ушла в сад.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Последние недели марта прошли быстро. С каждым днем я чувствовал все большую уверенность в будущем, и на сердце у меня становилось легче и легче.

Казалось, мое настроение передалось и Рейчел.

— Никогда не видела, чтобы кто-нибудь так терял голову из-за дня рождения. Неужели для вас так много значит освободиться от бедного мистера Кендалла и его опеки? Уверена, у вас не могло бы быть более покладистого опекуна. Между прочим, какие у вас планы на этот день?

— Никаких планов, — ответил я, — кроме того, что вам необходимо помнить про обещание, которое вы дали мне на днях. Виновник торжества имеет право на исполнение любого желания.

— Только до десяти лет, — сказала она, — и никак не позже.

— Это несправедливо, — сказал я, — вы не делали оговорок относительно возраста.

— Если нас ждет пикник или прогулка под парусом, — заявила она, — я с вами не поеду. Еще слишком рано, чтобы сидеть у воды или забираться в лодку. В парусах я разбираюсь даже меньше, чем в лошадях. Вам придется взять вместо меня Луизу.

— Луизу я не возьму, — сказал я, — и нас не ждет ничего, что было бы ниже вашего достоинства.

В сущности, я не думал о том, как провести этот день. У меня созрел лишь один план: она получит документ на подносе за завтраком, остальное я отдавал на волю случая. Однако, когда наступило тридцать первое марта, я понял, что хочу сделать еще кое-что. Я вспомнил про драгоценности в банке и подумал, что был глупцом, не вспомнив о них раньше. Итак, в этот день мне предстояло выдержать две схватки. Одну — с мистером Кучем, другую — с крестным.

Начать я решил с мистера Куча. Пакеты могли оказаться слишком громоздкими для того, чтобы везти их на Цыганке, но и закладывать экипаж мне не хотелось: услышав об этом Рейчел, пожалуй, решит

поехать в город по своим делам. Кроме того, я вообще не привык выезжать куда бы то ни было в экипаже.

Поэтому я отправился в город пешком, велел груму встретить меня на обратном пути с догкартом. Казалось, в то утро вся округа, как назло, высыпала за покупками, и, как человек, который, желая избежать встречи с соседями на пристани, вынужден прятаться в дверях зданий или спускаться к причалу, так и я прятался за углами домов, чтобы не столкнуться с миссис Паско и ее выводком. Должно быть, само стремление остаться незамеченным привлекло ко мне всеобщее внимание, и по городку пополз слух, что мистер Эшли ведет себя весьма странно, необычно: вбегает на рыбный базар в одни двери, выбегает в другие и еще до одиннадцати утра ворвался в «Розу и Корону» как раз в ту минуту, когда супруга викария из соседнего прихода шла мимо. Я не сомневался: все дружно сойдутся на том, что мистер Эшли был пьян.

Наконец я обрел безопасное убежище в стенах банка. Мистер Куч принял меня со своей всегдашней любезностью.

— На сей раз я пришел забрать все, — сказал я.

Мистер Куч испуганно взглянул на меня.

— Вы, разумеется, не намереваетесь, мистер Эшли, переводить свой банковский счет в другое заведение? — неуверенно проговорил он.

— Нет, — сказал я. — Я говорю о фамильных драгоценностях. Завтра мне исполняется двадцать пять лет, и они станут моей законной собственностью. Я желаю видеть их у себя, когда проснусь утром в день своего рождения.

Наверное, он счел меня в лучшем случае странным, а то и вовсе чудаком.

— Вы имеете в виду, что желаете позволить себе эту прихоть на один день? Мистер Кендалл, ваш опекун, не замедлил вернуть кольцо в банк.

— Не прихоть, мистер Куч, — возразил я. — Я хочу, чтобы драгоценности постоянно находились в моем доме. Не знаю, могу ли я лучше объяснить мое намерение.

— Понимаю, — сказал он. — Ну что же, полагаю, в вашем доме есть сейф или другое надежное место, где вы могли бы их хранить.

— Это, мистер Куч, — сказал я, — право же, мое личное дело. Буду вам весьма признателен, если вы немедленно принесете их. И на сей раз не только колье. Всю коллекцию.

Могло показаться, будто я отнимаю его собственное достояние.

— Очень хорошо, — с явной неохотой согласился он. — На то, чтобы принести драгоценности из хранилища и упаковать со всей необходимой тщательностью, потребуется немного времени. Если у вас есть еще какиенибудь дела в городе...

— Никаких дел, — перебил я. — Я подожду здесь и заберу их с собой.

Он понял, что тянуть время бесполезно, и, послав за клерком, распорядился принести драгоценности. Я захватил с собой плетеную корзину, которая, к счастью, оказалась довольно вместительной — дома мы возили в таких капусту, — и мистер Куч усиленно моргал, складывая в нее коробки с драгоценностями.

— Было бы гораздо лучше, — сказал он, — если бы я прислал их вам надлежащим образом. Видите ли, у нас есть карета, она куда больше подходит для таких целей.

Да, подумал я, легко представить, какую пищу даст это досужим языкам.

Банковская карета с управляющим в цилиндре катит в резиденцию мистера Эшли.

Уж лучше овощная корзина и догкарт.

— Все в порядке, мистер Куч, — сказал я, — я и сам отлично справлюсь.

Слегка покачиваясь, держа корзину на плече, я с триумфом вышел из банка и на полном ходу столкнулся с миссис Паско и двумя ее дочерьми.

— Боже мой, мистер Эшли! — воскликнула она. — Как вы нагружены!

Придерживая корзину одной рукой, другой я широким жестом сорвал с головы шляпу.

— Мы встретились в черные для меня дни, — сказал я. — Я пал настолько низко, что вынужден продавать капусту мистеру Кучу и его клеркам.

Ремонт крыши почти разорил меня, и мне приходится на улицах города торговать плодами своих полей.

Миссис Паско с отвисшей челюстью уставилась на меня, обе девушки широко раскрыли глаза от удивления.

— К несчастью, — продолжал я, — корзина, которая сейчас при мне, целиком предназначена для другого покупателя. В противном случае я с удовольствием продал бы вам немного моркови. Но в будущем, когда вам понадобятся овощи, вспомните обо мне.

Я успел найти поджидавший меня догкарт, сгрузить поклажу, забраться в него — грум сел рядом со мной — и взять в руки вожжи, а миссис Паско все еще стояла на углу улицы, огорошенно взирая на меня круглыми, как плошки, глазами. Теперь слухи пополнятся новой подробностью: мало того что мистер Эшли странно вел себя, был пьян и невменяем, но он еще и нищий.

Длинной аллеей, отходившей от перепутья Четырех Дорог, мы подъехали к дому, и, пока грум ставил догкарт в сарай, я через черный вход вошел в дом — слуги сидели за обедом, — поднялся по их лестнице и на цыпочках прошел в свою комнату. Я запер овощную корзину в шкаф и спустился в столовую к ленчу.

Я умял целый голубиный пирог и запил его огромной кружкой эля.

Райнальди закрыл бы глаза и содрогнулся.

Рейчел не дождалась меня, о чем сообщила в оставленной для меня записке, и, думая, что я вернусь не скоро, ушла в свою комнату. Пожалуй, я впервые не пожалел о ее отсутствии. Едва ли мне удалось бы скрыть свою радость, смешанную с чувством вины. Проплотив последний кусок, я снова вышел из дома и отправился в Пелин, теперь уже верхом. В кармане у меня лежал документ, который мистер Треуин, как и обещал, прислал с нарочным. Завещание Эмброза я тоже взял с собой. Мне предстоял разговор куда более трудный, чем утром, но тем не менее я был полон отваги.

Крестного я застал в кабинете.

— Ну, Филипп, — сказал он, — хоть я и опережаю события на несколько часов, но не важно. Позволь мне поздравить тебя с днем рождения.

— Благодарю вас, — ответил я. — Со своей стороны, я хочу поблагодарить вас за вашу любовь ко мне и к Эмброзу и за опеку надо мной в течение последних лет...

— ...Которая, — улыбнулся он, — завтра заканчивается.

— Да, — сказал я, — или, точнее, сегодня в полночь. И поскольку я не решусь нарушить ваш сон в столь поздний час, то хочу, чтобы вы засвидетельствовали мою подпись на документе, который я желаю подписать и который вступит в силу именно в полночь.

— Хм! — Он протянул руку за очками. — Документ... какой документ?

Я вынул из нагрудного кармана завещание Эмброза.

— Мне бы хотелось, — сказал я, — чтобы вы сперва прочли это. Мне отдали его по доброй воле, но после долгих споров и препирательств. Я давно подозревал о существовании этой бумаги. Вот она.

Я передал крестному завещание. Он водрузил на нос очки и прочел его от начала до конца.

— Здесь есть дата, — сказал он, — но нет подписи.

— Совершенно верно, — подтвердил я. — Но это рука Эмброза, не так ли?

— О да, — согласился он, — несомненно. Но я не понимаю, почему... почему он не подписал его и не прислал мне? Я ожидал именно такого завещания с первых дней его женитьбы и говорил тебе об этом.

— Эмброс подписал бы его, — сказал я, — если бы не болезнь и надежда вскоре вернуться домой и отдать его вам лично. Это я знаю точно.

Крестный положил завещание на стол.

— Так-так, — сказал он. — Подобное случалось и в других семьях. Как это ни прискорбно для вдовы, но мы не можем сделать для нее больше того, что уже сделали. Без подписи завещание не имеет юридической силы.

— Знаю, — сказал я, — она и не ждала ничего другого. Как я только что сказал, лишь после долгих уговоров мне удалось получить от нее эту бумагу. Я должен вернуть ее, но вот копия.

Я положил завещание в карман и подал крестному снятую мною копию.

— В чем дело? — спросил он. — Обнаружилось еще что-нибудь?

— Нет, — ответил я, — но совесть говорит мне, что я пользуюсь тем, что мне не принадлежит. Вот и все. Эмброс намеревался

подписать завещание, но смерть, вернее, болезнь помешала ему. Я хочу, чтобы вы прочли документ, который я подготовил.

И я протянул ему бумагу, составленную Треуином в Бодмине. Крестный читал медленно, внимательно; лицо его делалось все серьезнее. Прошло некоторое время, прежде чем он снял очки и посмотрел на меня.

— Твоей кузине Рейчел известно про этот документ? — спросил он.

— Ровным счетом ничего, — ответил я. — Никогда ни словом, ни намеком она не обмолвилась о том, что я написал здесь и что намерен выполнить. Она и не подозревает о моем плане. Ей неизвестно даже то, что я у вас и что я показал вам завещание Эмброза. Как несколько недель назад вы слышали от нее самой, она намерена вскоре уехать в Лондон.

Не сводя с меня глаз, крестный сел за стол.

— Ты твердо решил поступить именно так? — спросил он.

— Я решил твердо, — ответил я.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что подобный шаг может привести к злоупотреблениям с ее стороны? У тебя нет никакой гарантии, что имущество, которое со временем должно перейти к тебе и твоим наследникам, не будет растрчено.

— Да, я готов пойти на риск, — сказал я.

Он покачал головой и вздохнул. Затем встал со стула, выпянул в окно и снова сел.

— Ее советчик, синьор Райнальди, знает про этот документ? — спросил он.

— Разумеется, нет, — ответил я.

— Жаль, что ты не сказал мне о нем раньше, Филипп. Я мог бы обсудить его с Райнальди. Он показался мне здравомыслящим человеком. В тот вечер я имел с ним продолжительную беседу и даже поделился беспокойством по поводу превышения твоей кузиной кредита. Он признал, что она всегда отличалась таким недостатком, как расточительность. Из-за этого у нее были недоразумения не только с Эмброзом, но и с первым мужем. Он дал мне понять, что он, синьор Райнальди, — единственный, кто знает, как с ней обходиться.

— Мне наплевать на то, что он считает правильным. Этот человек меня раздражает, и я уверен, что он использовал приведенный

вами аргумент в собственных целях. Он надеется заманить ее обратно во Флоренцию.

Крестный все так же пристально смотрел на меня.

— Филипп, — сказал он, — извини, что я задаю тебе этот вопрос, он, конечно, очень личный, но я знаю тебя с рождения. Ты совсем потерял голову из-за своей кузины Рейчел?

Я чувствовал, что у меня горят щеки, но взгляд не отвел.

— Не понимаю, что вы хотите сказать. «Потерял голову» — несерьезное и крайне некрасивое выражение. Я уважаю и чтю мою кузину Рейчел более, чем кого-либо другого.

— Я хотел поговорить с тобой раньше, — сказал крестный. — Видишь ли, ходит много разговоров о том, что она слишком долго гостит в твоём доме.

Скажу больше: во всем графстве поговаривают еще кое о чем.

— Пусть поговаривают, — сказал я. — Послезавтра у них появится новая пища для разговоров. Передача имения и состояния едва ли останется незамеченной.

— Если у твоей кузины Рейчел есть хоть капля здравого смысла, — сказал он, — и она не желает утратить уважения к самой себе, то либо она уедет в Лондон, либо попросит тебя переехать жить в другое место. Нынешнее положение более чем двусмысленно и не на пользу ни ей, ни тебе.

Я промолчал. Для меня имело значение только одно: чтобы он заверил документ.

— В конце концов, — продолжал крестный, — есть только один способ избежать сплетен. А заодно, согласно этому документу, и передачи собственности. Ей надо снова выйти замуж.

— Думаю, что это исключено, — сказал я.

— Полагаю, — сказал он, — ты не подумываешь о том, чтобы самому сделать ей предложение?

Краска снова бросилась мне в лицо.

— Я не осмелился бы, — сказал я, — да и она не приняла бы моего предложения.

— Не нравится мне все это, Филипп, — сказал крестный. — Лучше бы ей было вовсе не приезжать в Англию. Впрочем, жалеть поздно. Что ж, подписывай.

И бери на себя последствия своих действий.

Я схватил перо и поставил под документом свое имя.

— Есть женщины, Филипп, — сказал крестный, — возможно, вполне достойные, хорошие женщины, которые не по своей воле творят беду. Чего бы они ни коснулись, все оборачивается трагедией. Не знаю, зачем я тебе говорю это, но чувствую, что должен сказать.

И он засвидетельствовал мою подпись под длинным бумажным свитком.

— Полагаю, ты не станешь дожидаться Луизы? — спросил он.

— Думаю, что нет, — ответил я и, смягчившись, добавил:

— Если завтра вы оба свободны, почему бы вам не приехать к обеду и не выпить за мое здоровье по случаю дня рождения?

Немного помолчав, он сказал:

— Не уверен, что мы будем свободны. Во всяком случае, к полудню я тебя извещу.

Я понял, что он не хочет приезжать к нам, но ему неудобно сразу отказать от моего приглашения. К передаче наследства он отнесся спокойнее, чем я ожидал. Не было упреков, бесконечных лекций, увещеваний; наверное, он слишком хорошо знал меня, чтобы вообразить, будто они возымеют хоть какое-нибудь действие. По сдержанности и серьезному виду крестного я понял, насколько он огорчен и взволнован. Я был рад, что ни один из нас не упомянул про драгоценности. Известие о том, что они спрятаны в овощной корзине у меня в шкафу, могло бы послужить последней каплей.

Я возвращался домой, вспоминая, в каком отличном настроении я проделал этот же путь после посещения стряпчего Треуина в Бодмине, чтобы по прибытии обнаружить в собственном доме свалившегося мне на голову Райнальди. Теперь такая встреча мне не грозит.

За три последние недели в наши края пришла настоящая весна, и было тепло, как в конце мая. Подобно всем предсказателям погоды, мои арендаторы покачивали головой и предрекали беду: поздние заморозки побьют почки в цвету, погубят зерновые под поверхностью сохнувшей почвы. Но в тот последний мартовский день меня не потревожили бы ни голод, ни потоп, ни землетрясение.

Солнце садилось за западной бухтой, зажигая пламенем безмятежное небо, погружая во тьму водную гладь, и округлый лик почти полной луны вставал над восточными холмами. Должно быть,

подумал я, именно так сильно охмелевший человек ощущает свое абсолютное слияние с быстротекущим временем. Я видел все не сквозь дымку, а предельно четко, как видят все вокруг одурманенные люди. Парк встретил меня очарованием волшебной сказки; и даже коровы, которые брели вниз по склону холма, чтобы напиться из своих корыт у пруда, казались зачарованными зверьми и одушевляли окружающую меня красоту. Я видел голубоватый дым, вьющийся из труб дома и конюшни, слышал стук ведер на дворе, смех людей, собачий лай; но эти картины и звуки, давно знакомые и любимые, близкие с детства, обрели теперь новое очарование.

В полдень я слишком плотно поел, чтобы проголодаться, но чувствовал сильную жажду и напился холодной, прозрачной воды из колодца на заднем дворе дома. Я шутил с молодыми слугами, пока они запирали дверь на засовы и закрывали ставни. Они знали, что завтра у меня день рождения, и вполголоса сообщили мне, что Сиком в глубокой тайне заказал для меня свой портрет, который, по его словам, я повешу в холле среди портретов моих предков. Я дал им торжественное обещание, что так и сделаю. Все трое о чем-то пошептались в углу, скрылись в людской и вскоре вернулись с небольшим пакетом. Молодой Джон подал его мне и сказал:

— Вот это, мистер Филипп, сэр, вам от нас. До завтра нам не утерпеть.

Это был ящичек с трубками. Наверное, он стоил месячного заработка всех троих. Я пожал им руки, похлопал по спине и самым серьезным тоном заявил, что собирался купить именно такой в Бодмине или в Труро. В их глазах зажегся восторг, и, глядя на них, я едва не расплакался, как последний идиот. Я не курил никаких трубок, кроме той, что Эмброз подарил мне на семнадцатилетие, но, чтобы не разочаровывать славных малых, решил в будущем обязательно курить их трубки.

Я принял ванну и переоделся. Рейчел ждала меня в столовой.

— По-моему, вы что-то затеваете. Я предчувствую недоброе, — сразу сказала она. — Вас целый день не было дома. Чем вы занимались?

— А вот это, миссис Эшли, вас не касается, — ответил я.

— Вас не видели с самого утра, — настаивала она. — Я пришла домой к ленчу и осталась без компаньона.

— Надо было пойти к Тамлину, — заметил я. — Его жена отлично готовит и угостила бы вас на славу.

— Вы ездили в город?

— О да, я ездил в город.

— Встретили кого-нибудь из наших знакомых?

— О да! — Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. — Я встретил миссис Паско и ее девиц. Они были потрясены моим видом.

— Почему же?

— Потому что я нес на плече корзину и сказал им, что торгую овощами.

— Вы говорили правду или перед тем заглянули в «Розу и Корону» выпить сидра?

— И правду не говорил, и в «Розу и Корону» не заглядывал.

— Тогда в чем же дело?

Я не ответил. Просто сидел на стуле и улыбался.

— После обеда, — наконец сказал я, — когда взойдет луна, я, пожалуй, схожу искупаться. Нынче вечером я ощущаю в себе всю энергию мира, все его безумие.

Она серьезно посмотрела на меня поверх бокала с вином:

— Если вы желаете провести свой день рождения в постели с припарками на груди, через каждый час пить черносмородиновый отвар и иметь при себе сиделку, предупреждаю: ею буду не я, а Сиком. Идите и купайтесь. Я не стану вас останавливать.

Я вытянул руки над головой и, блаженно вздохнув, попросил разрешения закурить трубку, какое и получил.

— Взгляните, — сказал я, доставая ящичек с трубками, — что подарили мне наши молодцы. Они не могли дождаться утра.

— Вы такой же большой ребенок, как они, — сказала Рейчел и добавила полусшепотом:

— Вы еще не знаете, что припас для вас Сиком!

— А вот и знаю! — прошептал я в ответ. — И польщен сверх меры. Вы его видели?

Она кивнула:

— Он великолепен! Лучший сюртук, зеленый, нижняя губа и все прочее.

Писал зять Сикома из Бата.

Отобедав, мы перешли в библиотеку. Я не преувеличивал, говоря, что ощущаю всю энергию мира. Я не мог спокойно сидеть на стуле, все во мне ликовало, и я мечтал лишь об одном: чтобы ночь поскорее прошла и наступил день.

— Филипп, — не выдержала Рейчел, — умоляю вас, пойдите прогуляйтесь.

Пробегитесь до маяка и обратно. Может быть, хоть это приведет вас в чувство.

По-моему, вы просто спятили.

— Если я спятил, — сказал я, — то мне бы хотелось остаться безумным навсегда. Я и не подозревал, что помешательство способно доставлять такое наслаждение.

Я поцеловал ей руку и вышел из дома. Ночь, тихая, ясная, как нельзя более располагала к прогулке. Я не побежал, как советовала мне Рейчел, и тем не менее вскоре добрался до маячного холма. Над бухтой висела луна с опухшей щекой, ее лик был похож на лицо чародея, который знал о моей тайне. Волы, на ночь укрывшиеся под каменной стеной, огораживающей пастбище во впадине долины, при моем приближении тяжело поднялись и разошлись в разные стороны.

Я видел свет на Бартонской ферме над лугом, а когда дошел до кромки мыса, на котором стоял маяк, и по обеим сторонам от меня раскинулась темная гладь воды, различил вдали мерцающие огни небольших городков, растянувшихся вдоль побережья, и огни нашего причала на востоке. Но вскоре и они, и свечи за окнами Бартонской фермы померкли, и лишь свет луны заливал все вокруг, прорезая на воде серебристую дорожку. Если эта ночь так и манила прогуляться, то она манила и поплавать. Ни припарки, ни настойки не удержали меня. Я спустился к своему излюбленному месту на выступающих в море скалах и, смеясь над своим поистине возвышенным безумием, бросился в воду. Господи!

Она была ледяной. Я, как собака, встряхнулся и, стуча зубами от холода, отчаянно заработал руками и ногами и поплыл через бухту. Не пробыв в воде и четырех минут, я вернулся на скалы, чтобы одеться.

Безумие. Хуже, чем безумие. Но мне было все нипочем.

Я, как мог, вытерся рубашкой, оделся и стал через лес подниматься к дому. Луна роняла призрачный свет на тропу, за каждым деревом прятались мрачные фантастические тени. Там, где

тропа делилась на две — одна вела к кедровой дорожке, вторая — к новой террасе немного выше по склону холма, — в густых зарослях деревьев я услышал шорох и в воздухе разлился зловонный лисий запах; казалось, его источают даже листья под моими ногами. Но я никого не увидел. Желтые нарциссы, усеявшие невысокие земляные насыпи с обеих сторон от меня, замерли в сонном покое.

Наконец я подошел к дому и взглянул на окно Рейчел. Оно было распахнуто, но я не мог определить, горит ли в спальне свеча или она уже задула ее. Я посмотрел на часы. До полуночи оставалось всего пять минут. И вдруг я понял, что как наши молодцы не утерпели и раньше времени вручили мне свой подарок, так и я не могу больше ждать и должен немедленно поднести Рейчел свой. Я вспомнил про миссис Паско, про капусту, и ретивое взыграло во мне с новой силой. Я подошел к дому, встал под окном голубой спальни и окликнул Рейчел.

Я три раза произнес ее имя, прежде чем услышал ответ. Она подошла к открытому окну в своей белой монашеской рясе с длинными рукавами и кружевным воротником.

— Что вам надо? — спросила она. — Я уже на три четверти заснула, а вы разбудили меня.

— Прошу вас, постоит минутку у окна. Я хочу вам что-то дать. То, с чем меня встретила миссис Паско.

— Я не так любопытна, как миссис Паско, — ответила она. — Подождите до утра.

— До утра никак нельзя. Это должно произойти сейчас.

Я вбежал в дом, поднялся в свою комнату и снова спустился с корзиной для овощей. К ее ручкам я привязал длинную веревку. В кармане моей куртки лежал документ, составленный мистером Треуином.

Она ждала у окна.

— Боже мой, — тихо проговорила она, — что вы принесли в этой корзине? Послушайте, Филипп, если вы затеваете очередную мистификацию, то я в ней не участвую. Вы спрятали там раков или омаров?

— Миссис Паско считает, что там капуста. Во всяком случае, в корзине нет ничего, что кусалось бы. Даю вам слово. А теперь — ловите веревку.

И я бросил в окно конец веревки.

— Тяните, — сказал я. — Только обеими руками. Корзина кое-что весит.

Она стала тянуть веревку, как ей было сказано, и корзина поползла вверх, с сухим треском ударяясь о стену, цепляясь за проволочную сетку, по которой вился плющ; я стоял под окном и, глядя на Рейчел, трясся от беззвучного смеха.

Она втянула корзину на подоконник, и наступила тишина.

Мгновение, и она снова выплянула из окна.

— Филипп, я вам не верю, — сказала она. — У свертков очень странная форма. Они кусаются. Я знаю.

Вместо ответа я стал взбираться по проволочной сетке, подтягиваясь на руках, пока не добрался до окна.

— Осторожно! — крикнула она. — Вы упадете и свернете себе шею.

Через мгновение я был уже в ее комнате — одна нога на полу, другая на подоконнике.

— Почему у вас мокрые волосы? — спросила она. — Дождя ведь не было.

— Я купался, — ответил я. — Я же сказал вам, что искупаюсь. А теперь разворачивайте свертки. Или мне самому это сделать?

В комнате горела одна свеча. Рейчел стояла босиком на полу и дрожала.

— Ради Бога, — сказал я, — накиньте что-нибудь на себя.

Я схватил покрывало, набросил на нее, поднял и усадил на кровати среди одеял и подушек.

— По-моему, — сказала она, — вы все-таки спятили.

— Совсе не спятил, — возразил я, — просто в эту минуту мне исполнилось двадцать пять лет. Слушайте!

Я поднял руку. Часы били полночь. Я сунул руку в карман.

— Вот это вы прочтете на досуге, — сказал я и положил документ на столик рядом с подсвечником, — но остальное я хочу отдать вам сейчас.

Я высыпал свертки на кровать и, бросив корзину на пол, принялся разрывать упаковки, швыряя в разные стороны мягкую оберточную бумагу и рассыпая по постели небольшие коробочки. Рубиновые

диадема и кольцо, сапфиры и изумруды, жемчужное кольцо и браслеты рассыпались в хаотическом беспорядке...

— Это ваше... и это... и это... — повторял я, в иступлении осыпая ее сверкающим дождем, прижимая драгоценности к ее пальцам, рукам, к ее телу.

— Филипп, — крикнула она, — вы не в своем уме! Что вы наделали?

Я не ответил. Я взял кольцо и надел на нее.

— Мне двадцать пять лет, — сказал я, — вы слышали, как часы пробили двенадцать? Остальное теперь не имеет значения. Все это ваше. Будь у меня целый мир, я и его отдал бы вам.

Я никогда не видел более смущенных и более удивленных глаз. Она взглянула вверх — на меня, вниз — на разбросанные повсюду ожерелья и браслеты, затем снова на меня, и, наверное, потому, что я смеялся, она вдруг обняла меня и тоже рассмеялась. Мы держали друг друга в объятиях; казалось, она заразилась моим безрассудством, поделила мой иступленный порыв, и мы оба вкушали восторг, даруемый безумием.

— Этот план вы и вынашивали последние недели? — спросила она.

— Да, — ответил я. — Их должны были принести вам вместе с завтраком.

Но, как и наши молодцы с их трубками, я не вытерпел.

— А у меня для вас ничего нет, кроме золотой булавки для галстука, — сказала она. — В свой день рождения вы заставляете меня сгореть со стыда.

Может быть, вы хотите чего-нибудь еще? Скажите мне, и вы это получите. Все, чего ни пожелаете.

Я посмотрел на нее, усыпанную рубинами и изумрудами, с жемчужным кольцом на шее, и, вдруг вспомнив, что означало это кольцо, сразу сделался серьезным.

— Да, одного, — сказал я. — Но об этом бесполезно просить.

— Почему?

— Потому, — ответил я, — что вы дадите мне пощечину и прогоните спать.

Она внимательно посмотрела на меня и дотронулась рукой до моей щеки.

— Просите, — сказала она. И голос ее звучал ласково.

Я не знал, как мужчина просит женщину стать его женой. Как правило, прежде всего необходимо получить согласие родителей. Если родителей нет, существуют ухаживание, обмен любезностями, прощупывание почвы. Все это не относилось ни к ней, ни ко мне. Между нами никогда не заходило разговоров о любви и супружестве. Была полночь. Я мог бы просто и откровенно сказать ей:

«Рейчел, я люблю вас, будьте моей женой». Я вспомнил утро в саду, когда мы острили по поводу моей неприязни к таким делам и я сказал ей, что для счастья и душевного покоя мне вполне достаточно собственного дома.

Интересно, подумал я, поймет ли она меня, вспомнит ли то утро?

— Однажды я сказал вам, что нахожу необходимое мне тепло и уют в стенах моего дома. Вы не забыли?

— Нет, — сказала она, — я не забыла.

— Я заблуждался, — сказал я. — Теперь я знаю, чего мне не хватает.

Она коснулась пальцами моей головы, кончика уха, подбородка.

— Неужели? — спросила она. — Вы уверены?

— Больше, чем в чем бы то ни было, — ответил я.

Она взглянула на меня. При свечах ее глаза казались еще темнее.

— В то утро вы были очень уверены в себе, — сказала она, — и упрямы.

Тепло домов...

Она протянула руку и, не переставая смеяться, потушила свечу.

На рассвете, до того как слуги проснулись и спустились вниз, чтобы открыть ставни и впустить в дом свет дня, я стоял на траве и в недоумении спрашивал себя, существовал ли до меня хоть один мужчина, чью любовь приняли бы так естественно и просто. Если бы так было всегда, сколь многие были бы избавлены от утомительного ухаживания. Любовь со всеми ее ухищрениями до сих пор не занимала меня; мужчинам и женщинам вольно развлекаться в свое удовольствие — меня же это не волновало. Я был слеп и глух; я спал; но так было прежде.

То, что произошло в первые часы моего дня рождения, будет живо всегда.

Если в них была страсть, я забыл о ней. Если нежность — она по-прежнему со мной. Меня поразило — и мне не забыть этого чувства, — как беззащитна женщина, принимающая любовь. Возможно, женщины держат это в тайне, чтобы привязать нас к себе. И берегут свою тайну до последнего.

Этого я никогда не узнаю — мне не с кем сравнивать. Она была моей первой и последней.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я помню, как круглый шар солнца появился над верхушками деревьев, окаймляющих лужайку, и дом ожил. На серебристой, словно тронутой инеем траве лежали тяжелые капли росы. Запел дрозд, его песню подхватил зяблик, и вскоре в воздухе звенел весенний хор птичьих голосов. Флюгер на башне, первым поймав солнечный луч, блеснул золотом на фоне голубого неба, повернулся на северо-запад и застыл. Серые стены дома, совсем недавно темные и мрачные, в свете занимающегося утра теплели, радуя глаз новой красотой.

Я вошел в дом, поднялся в свою комнату, придвинул к открытому окну кресло, сел и стал смотреть в сторону моря. Голова моя была пуста, без единой мысли. Тело спокойно, неподвижно. Никакие проблемы не всплывали на поверхность, никакие тревоги не свербили в потаенных уголках души, нарушая блаженный покой. Как будто все в моей жизни было решено и предо мной лежала прямая, гладкая дорога. Годы, оставшиеся позади, не в счет. Годы, ждущие впереди, — не более чем продолжение всего, что я уже знал, чем владел, чем обладал; и так навсегда и неизменно, как «аминь» в литании. В будущем только одно: Рейчел и я. Муж и жена, которые живут друг другом в стенах своего дома, не обращая внимания на суетящийся за их порогом мир. Изо дня в день, из ночи в ночь, пока оба мы живы. Это было все, что я помнил из молитвенника.

Я закрыл глаза, но она по-прежнему была со мной. Затем я, должно быть, незаметно для себя уснул, а когда проснулся, солнце лилось в открытое окно и молодой Джон уже разложил на стуле мою одежду и принес горячую воду; я не слышал, как он вошел, как вышел. Я побрился, оделся и спустился к завтраку, который успел остыть и стоял на буфете — Сиком решил, что я давно спустился; но яйца вкрутую и ветчина — легкая пища. В тот день я бы съел что угодно. Покончив с едой, я свистнул собак, пошел в сад, и, не заботясь о Тамлине и его драгоценных цветах, сорвал все распустившиеся камелии, и, сложив их в ту самую корзину, которая послужила мне накануне для переноски драгоценностей, вернулся в дом, поднялся по лестнице и подошел к двери Рейчел.

Она завтракала, сидя в кровати, и, не дав ей времени возразить или задернуть полог, я высыпал на нее камелии.

— Еще раз с добрым утром, — сказал я, — и напоминаю, что сегодня все-таки мой день рождения.

— День рождения или нет, — сказала она, — но, прежде чем войти, принято стучать. Уйдите.

Трудно держаться с достоинством, когда камелии покрывают вашу голову, плечи, падают в чашку и на бутерброд, но я сделал серьезное лицо и отошел в конец спальни.

— Извините, — сказал я. — Однажды войдя через окно, я стал излишне вольно обращаться с дверьми. И то правда, манеры подвели меня.

— Вам лучше уйти, пока Сиком не пришел за подносом. Думаю, застав вас здесь, он был бы шокирован, несмотря ни на какой день рождения.

Холодный тон Рейчел обескуражил меня, но я подумал, что ее замечание не лишено логики. Пожалуй, с моей стороны было чересчур смело врваться к женщине и мешать ей завтракать, даже если эта женщина скоро станет моей женой, о чем Сиком пока не знал.

— Я уйду, — сказал я. — Простите меня. Я только хочу вам кое-что сказать. Я вас люблю.

Я повернулся к двери и вышел. Я заметил, что жемчужного кольца на ней уже не было. Наверное, она сняла его, как только я ушел от нее ранним утром.

И драгоценности не валялись на полу — все было убрано. Но на подносе с завтраком лежал документ, который я подписал накануне.

Внизу меня ждал Сиком, держа в руках пакет, завернутый в бумагу.

— Мистер Филипп, сэр, — сказал он, — это поистине великое событие.

Могу я позволить себе поздравить вас с днем рождения и пожелать вам долгих лет?

— Можете, Сиком, — ответил я. — Благодарю вас.

— Это сущий пустяк, сэр, — продолжал он, — небольшой сувенир на память о многолетней преданной службе вашему семейству. Надеюсь, вы не оскорбитесь и я не взял на себя слишком

большую смелость, предположив, что, может быть, вам будет приятно принять его в качестве подарка.

Я развернул бумагу и увидел портрет самого Сиком в профиль, возможно не польстивший оригиналу, но вполне узнаваемый.

— Он великолепен, — серьезно сказал я, — настолько великолепен, что он будет висеть на почетном месте рядом с лестницей. Принесите мне гвоздь и молоток.

Сиком с величественным видом дернул сонетку, чтобы передать молодому Джону мое поручение.

Мы вдвоем повесили портрет на панели около столовой.

— Как вы находите, сэр, портрет воздает мне должное? — спросил Сиком.

— Или художник придал излишнюю резкость чертам, особенно носу? Я не совсем доволен.

— В портрете невозможно добиться совершенства, Сиком, — ответил я. — Но ваш настолько к нему приближается, что лучшего нельзя и желать. Что касается меня, то я очень доволен.

— Значит, все остальное не имеет значения, — заявил он.

Я не чуял под собой ног от восторга и счастья и тотчас хотел сказать ему, что Рейчел и я собираемся обвенчаться, но сдержался; вопрос был слишком серьезным, слишком тонким, и, наверное, нам вместе следовало поговорить со стариком.

Под предлогом работы я направился в контору, однако все мои занятия свелись к тому, что я сидел за столом и с отсутствующим видом смотрел перед собой. Но в очах моей души я видел только ее: она завтракает, откинувшись на подушки, и поднос, что лежит перед ней, весь усыпан камелиями. Покой, сошедший на меня ранним утром, отлетел, его сменило лихорадочное возбуждение прошедшей ночи. Когда мы поженимся, размышлял я, раскачиваясь на стуле и покусывая кончик пера, ей не удастся так просто выставить меня из своей комнаты. Я буду завтракать вместе с ней. Хватит спускаться в столовую одному. Мы заведем новые порядки.

Часы пробили десять, я услышал движение на дворе и под окном конторы, посмотрел на стопку счетов, снова отложил их, начал письмо к коллеге-судье и тут же порвал его. Слова не приходили, написанное мною было полной бессмыслицей, а до полудня, когда Рейчел спустится вниз, оставалось целых два часа. Ко мне пришел Нат

Брей, фермер из Пенхейла, с длинной историей о каких-то коровах, которые забрели в Тренант, и о том, что сосед сам-де виноват, потому как не следит за собственным забором. Почти не слыша его доводов, я согласно кивал... Рейчел наверняка уже оделась и где-то в саду разговаривает с Тамлином.

Я прервал незадачливого малого, пожелал ему удачного дня и, увидев его расстроенное лицо, велел ему отыскать комнату дворецкого и выпить вместе с Сикомом кружку эля. «Сегодня я не занимаюсь делами, Нат, — сказал я, — у меня день рождения, и я счастливейший из людей». Я похлопал фермера по плечу, оставив его с широко раскрытым ртом размышлять над моим замечанием.

Затем я высунул голову из окна и крикнул через двор на кухню, чтобы ленч собрали в корзину для пикника; мне вдруг захотелось побыть с Рейчел наедине — на солнце, без формальностей дома, без столовой, без серебра на столе. Отдав такое распоряжение, я пошел в конюшню сказать Веллингтону, чтобы он оседлал для госпожи Соломона. Но его там не оказалось. Двери каретного сарая были распахнуты, экипажа в нем не было. Мальчик, подручный конюха, подметал выложенный булыжником пол. Услышав мой вопрос, он с озадаченным видом взглянул на меня.

— Госпожа приказала подать экипаж вскоре после десяти, — ответил он.

— Не могу сказать, куда она поехала. Может быть, в город.

Я возвратился в дом и позвонил, чтобы вызвать Сикома, но он ничего не мог мне сообщить, кроме того, что Веллингтон подал экипаж чуть позже десяти и что Рейчел уже ждала его в холле. Раньше она никогда не выезжала по утрам.

Мое восторженное настроение как рукой сняло. Впереди был целый день, и я вовсе не так надеялся провести его.

Я сел и стал ждать. Наступил полдень, и звон колокола созвал слуг к обеду. Корзина для пикника стояла рядом со мной. Соломон был оседлан. Но экипаж все не возвращался. Наконец в два часа я сам отвел Соломона в конюшню и велел расседлать его.

Я шел через лес к новой аллее; радостное возбуждение утра сменилось апатией. Даже если она сейчас и приедет, для пикника уже поздно. К четырем часам апрельское солнце перестает греть.

Я был почти в конце аллеи, на перепутье Четырех Дорог, когда увидел, что грум открыл ворота рядом со сторожкой и в них въехал экипаж. Я остановился посередине подъездной аллеи, ожидая, чтобы лошади приблизились; заметив меня, Веллингтон натянул вожжи. Стоило мне увидеть ее сидящей в экипаже, как разочарование, все последние часы тяжким грузом лежавшее у меня на сердце, мигом забылось; и я, велев Веллингтону трогать, вскочил на подножку и сел на узкую жесткую скамейку напротив нее.

Она сидела, укутавшись в накидку; вуаль была опущена, и я не мог видеть ее лица.

— Я ищу вас с одиннадцати часов, — сказал я. — Где вы были, черт возьми?

— В Пелине, — сказала она. — У вашего крестного.

Все тревоги, все подозрения, преданные забвению и, казалось, навсегда погребенные в глубинах сознания, мгновенно ожили в моем мозгу, и я, полный дурных предчувствий, подумал: что замышляют эти двое, чтобы нарушить мои планы?

— Зачем? — спросил я. — Что побудило вас отправиться к нему в такой спешке? Все давно улажено.

— Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, говоря обо «всем», — ответила она.

Экипаж подбросило на выбоине, и, чтобы удержаться, она ухватилась за ремень рукой, обтянутой темной перчаткой. Какой далекой казалась она, сидя рядом со мной в траурной одежде, скрытая вуалью! Какая бездна отделяла ее от той Рейчел, которая прижимала меня к своему сердцу!

— Документ, — сказал я. — Вы думаете о документе. Вы не можете оспорить его. Я совершеннолетний. Крестный ничего не может сделать. Документ подписан, скреплен печатью и засвидетельствован. Все принадлежит вам.

— Да, — сказала она, — теперь я это понимаю. Формулировки были немного туманны, вот и все. Я хотела уточнить, что они значат.

И опять этот отстраненный голос, холодный, безучастный, тогда как в моих ушах, в моей памяти звучал другой, тот, что шептал над моим ухом в полночь.

— Теперь вам все ясно? — спросил я.

— Все, — ответила она.

— Значит, не стоит больше и говорить об этом?

— Не стоит, — ответила она.

Непринужденности, радости и смеха, которые мы вместе делили, когда я подарил ей драгоценности, не было и в помине. Проклятие! Неужели крестный чем-нибудь обидел ее?

— Поднимите вуаль, — сказал я.

Мгновение она сидела неподвижно. Затем взглянула на широкую спину Веллингтона и на грума, примостившегося рядом с ним на козлах. Аллея перестала петлять, Веллингтон взмахнул кнутом, и лошади перешли на легкий аллюр.

Она подняла вуаль; в глазах, которые в упор смотрели на меня, не было улыбки, на что я надеялся, не было слез, чего я боялся. Они смотрели твердо, спокойно, невозмутимо, как глаза человека, который ездил по делам и уладил их, к своему полному удовлетворению. Не знаю почему, но я почувствовал себя опустошенным и в каком-то смысле обманутым. Я хотел, чтобы эти глаза были такими, какими я запомнил их на рассвете. Возможно, это и глупо, но я думал, что она прячет их под вуалью именно потому, что они такие же, какими были утром. Однако нет. Должно быть, пока я терзался ожиданием, сидя на ступеньке перед дверью дома, вот так она и сидела напротив крестного за столом в его кабинете, решительная, практичная, холодная, не чувствуя ни смятения, ни тревоги.

— Я бы вернулась раньше, — сказала она, — но они настояли, чтобы я осталась на ленч, и я не могла им отказать. Вы что-нибудь придумали?

Она отвернулась посмотреть на пейзаж, и я подумал: чем объяснить то, что она может сидеть вот так, словно мы не более чем двое случайных попутчиков, тогда как мне стоит немалых усилий сдержаться, не протянуть к ней руки и не обнять ее? Со вчерашнего дня все изменилось. Но она и вида не подает.

— Придумал, — сказал я, — но теперь это не имеет значения.

— Кендаллы сегодня вечером обедают в городе, — сказала она, — но потом заглянут к вам перед возвращением домой. Полагаю, я добилась некоторого успеха у Луизы. Сегодня она уже не держалась со мной так холодно.

— Я рад, — сказал я, — мне бы хотелось, чтобы вы стали друзьями.

— В сущности, я убедилась, что была права. Она и вы — прекрасная пара.

Она рассмеялась, но я не смеялся вместе с ней. Жестоко, подумал я, подшучивать над бедной Луизой. Видит Бог, я не держал на нее зла и всей душой желал ей найти мужа.

— Думаю, — сказала Рейчел, — ваш крестный осуждает меня, на что имеет полное право, но к концу ленча мы, по-моему, хорошо поняли друг друга.

Напряжение прошло, и беседа заладилась. Мы вспомнили о наших планах встретиться в Лондоне.

— В Лондоне? — спросил я. — Разве вы все еще намерены ехать в Лондон?

— Ну да! — сказала она. — Почему бы и нет?

Я не ответил. Безусловно, она имеет право съездить в Лондон, если ей так угодно. Возможно, она хочет походить по магазинам, сделать покупки, тем более теперь, когда деньги в ее распоряжении, и все же... конечно, она могла бы немного подождать, и мы бы поехали вместе. Нам надо обсудить столько вопросов... но я колебался. И вдруг меня неожиданно пронзила мысль, которая до сих пор не приходила мне в голову. Со смерти Эмброза прошло только девять месяцев. Нас все осудят, если мы обвенчаемся раньше июля. Так или иначе, день поставил передо мной вопросы, которых не было в полночь, но я не хотел думать о них.

— Давайте не поедem сразу домой, — сказал я. — Погуляйте со мной в лесу.

— Хорошо, — согласилась она.

Мы остановились у домика лесничего в долине, вышли из экипажа и, отпустив Веллингтона, пошли по тропинке, которая пролегала вдоль ручья, затем круто сворачивала и, петляя, взбегала по склону холма. Здесь и там под деревьями виднелись островки первоцвета, и она всякий раз наклонялась, срывала цветы и вдруг, словно ненароком вспомнив о Луизе, сказала, что эта девушка знает толк в садовом искусстве, а со временем и немного поучившись будет разбираться в нем еще лучше. По мне, так Луиза могла отправляться хоть на край света и всласть наслаждаться тамошними садами. Я привел Рейчел в лес совсем не для того, чтобы разговаривать с ней о Луизе.

Я взял цветы у нее из рук, положил их на землю и, разостлав куртку, попросил ее сесть.

— Я не устала, — сказала она. — Я час, а то и больше, просидела в экипаже.

— И я тоже, — сказал я, — четыре часа у двери, поджидая вас.

Я снял с нее перчатки и поцеловал ей руки, положил капор и вуаль на цветы и всю ее осыпал поцелуями. Я сделал то, о чем мечтал весь этот долгий, томительный день, и она вновь была беззащитна.

— Таков, — сказал я, — и был мой план, который вы разбили, оставшись на ленч у Кендаллов.

— Я так и думала, — сказала она. — Это одна из причин, почему я уехала.

— В мой день рождения вы обещали ни в чем мне не отказывать, Рейчел.

— Снисходительность тоже имеет пределы, — сказала она.

Я так не считал. Все мои тревоги рассеялись; я снова был счастлив.

— Если лесничий часто ходит по этой тропинке, мы будем выглядеть несколько глупо, — заметила она.

— А он — еще глупее, — возразил я, — когда в среду придет ко мне за жалованьем. Или это вы тоже возьмете в свои руки, как и все остальное? Ведь теперь я ваш слуга, второй Сиком, и жду ваших дальнейших приказаний.

Я лежал, положив голову ей на колени, и ее пальцы перебирали мои волосы. Я закрыл глаза. Как я желал, чтобы так было всегда! До скончания веков. Этот миг — и ничего больше...

— Вы недоумеваете, почему я не поблагодарила вас, — сказала она. — В экипаже я заметила ваш озадаченный взгляд. Я ничего не могу сказать. Я всегда считала себя импульсивной, но мне далеко до вас. Видите ли, мне понадобится время, чтобы в полной мере осознать ваше великодушие.

— Это не великодушие, — возразил я. — Я вернул вам то, что принадлежит вам по праву. Позвольте мне еще раз поцеловать вас. Я несколько часов просидел на ступеньках перед домом, и мне надо наверстать упущенное.

И тут она сказала:

— По крайней мере, одно я поняла. Больше нельзя ходить с вами гулять в лес. Разрешите мне встать, Филипп.

Я с поклоном помог ей подняться, подал перчатки и капор. Она пошарила в сумочке, вынула небольшой пакетик и развернула его.

— Вот, — сказала она, — мой подарок вам на день рождения, который мне следовало отдать раньше. Если бы я знала, что получу наследство, жемчужина была бы крупнее.

И она вдела булавку в мой галстук.

— А теперь разрешите мне пойти домой, — сказала она.

Рейчел подала мне руку; я вспомнил, что ничего не ел с самого утра, и сразу почувствовал изрядный аппетит. Поворачивая то вправо, то влево, мы шли по петляющей между деревьями тропе — меня не покидали мысли о вареной курице, беконе и приближающейся ночи — и вдруг оказались в нескольких шагах от возвышавшейся над долиной гранитной плиты, которая, о чем я совсем позабыл, ждала нас в конце тропы. Чтобы избежать встречи с ней, я поспешно свернул к деревьям, но было слишком поздно. Рейчел уже увидела прямоугольную массивную глыбу, темневшую впереди. Она выпустила мою руку и, устремив на нее взгляд, застыла на месте.

— Что там такое, Филипп? — спросила она. — По очертаниям похоже на надгробный камень, выросший из земли.

— Ничего, — быстро ответил я. — Просто кусок гранита. Нечто вроде межевого столба. Между деревьями здесь есть тропинка, она не такая крутая.

Вот сюда, налево. Нет-нет, не за камнем.

— Подождите немного, — сказала она, — я хочу взглянуть на него. Я никогда не ходила этой дорогой.

Рейчел поднялась к плите и остановилась. Я видел, как шевелились ее губы, пока она читала надпись на камне. Я с тревогой наблюдал за ней.

Возможно, это не более чем игра воображения, но мне показалось, что тело ее напряглось и она задержалась там дольше, чем было необходимо. Должно быть, она прочла надпись дважды. Затем она вернулась ко мне, но не взяла меня за руку, а пошла отдельно. Ни она, ни я не заговаривали о памятнике, но его зловещая тень преследовала нас. У меня перед глазами стояли нацарапанные на камне вирши, инициалы Эмброза и то, чего она не могла видеть, —

записная книжка и его письмо, похороненные в сырой земле под гранитной глыбой. С отвращением к самому себе я чувствовал, что предал их обоих — Эмброза и Рейчел. Само ее молчание говорило, как глубоко она взволнована. И я подумал, что, если сейчас же не заговорю, гранитная глыба грозным, неодолимым барьером встанет между нами.

— Я хотел сводить вас туда раньше. — После долгого молчания мой голос звучал громко и неестественно. — С того места открывается вид, который Эмброс любил больше всего в целом имени. Поэтому там и стоит этот камень.

— Но показывать его мне не входило в планы, намеченные вами на свой день рождения.

Жесткие, чеканные слова, слова постороннего.

— Нет, — спокойно ответил я, — не входило.

И, не возобновляя беседы, мы молча прошли подъездную аллею, и, как только переступили порог дома, она сразу поднялась в свои комнаты.

Я принял ванну и переоделся; от былой легкости не осталось и следа, ее сменили уныние и подавленность. Какой демон привел нас к гранитной плите, какой провал памяти?

Она не знала, но я ведь знал, как часто стоял там Эмброс, улыбаясь и опершись на трость; нелепый стишок способен привести лишь в то настроение, которое его подсказало, — полушутливое-полуностальгическое... доброе чувство за насмешливыми глазами Эмброза. В гранитной глыбе, высокой, горделивой, запечатлелась сущность человека, которому она по вине обстоятельств не позволила вернуться и умереть дома и который покоится за сотни миль от него на протестантском кладбище во Флоренции.

На вечер моего дня рождения легла тень.

По крайней мере, она не знала и никогда не узнает о письме; и, одеваясь к обеду, я мучительно спрашивал себя, кто тот, другой, демон, что подал мне мысль закопать его там, а не сжечь в огне, словно я инстинктивно чувствовал, что однажды вернусь и выкопаю его. Я забыл все, о чем в нем говорилось.

Эмброс был болен, когда писал это письмо. Одержимый болезненными фантазиями, подозрительный, видя, как смерть протягивает к нему руку, он не полагался на свои слова. И вдруг я

увидел, как на стене передо мною в ритме какого-то фантастического танца колыхается, извивается фраза из его письма: «Деньги, да простит мне Господь такие слова, в настоящее время — единственный путь к ее сердцу».

Слова метнулись на зеркало и кружили по его поверхности, пока я расчесывал перед ним волосы и вдевал в галстук подаренную ею булавку. Они последовали за мной вниз по лестнице и дальше, в гостиную, где из письменных знаков превратились в звуки, обретя его голос, глубокий, знакомый, любимый, незабываемый голос самого Эмброза: «...единственный путь к ее сердцу».

Когда Рейчел спустилась к обеду, на ее шее мерцало жемчужное кольцо — то ли как знак прощения, то ли как дань моему дню рождения, — однако то, что она надела его, не только не приблизило ее ко мне, но еще больше отдалило. В тот вечер — да и только ли в тот? — я предпочел бы видеть ее шею обнаженной.

Мы сели обедать. Молодой Джон и Сиком прислуживали за столом, в честь моего дня рождения покрытым кружевной скатертью, уставленным фамильным серебром и освещенным парадными серебряными канделябрами. По заведенной еще в мои школьные годы традиции подали вареную курицу и бекон, которые Сиком с гордым видом и не спуская с меня глаз внес в столовую. Мы улыбались, смеялись, поднимали тосты за них и за нас самих, за двадцать пять лет, которые остались у меня за спиной, но меня не покидало чувство, что мы только разыгрываем веселье, разыгрываем ради Сикома и молодого Джона, и, стоит нам остаться вдвоем, наступит полная тишина.

Вдруг мне показалось, что выход найден, и я с упрямством одержимости ухватился за него: надо пировать, веселиться, самому пить больше вина и наливать ей, тогда острота чувств притупится и мы оба забудем и о гранитной плите, и о том, что она олицетворяет для каждого из нас. Вчера вечером я, как во сне, пришел к маяку, и светила полная луна, и сердце мое ликовало.

Сегодня вечером, хоть за прошедшие с тех пор часы мне и открылось все богатство мироздания, мне открылся и его мрак.

Осоловелыми глазами я наблюдал за ней через стол; она, смеясь, разговаривала с Сикомом, и мне казалось, что никогда она не была так красива. Если бы я мог вернуть себе состояние духа раннего утра,

покой и мир и слить его с безрассудством дня среди цветов первоцвета под высокими березами, я вновь был бы счастлив. Она тоже была бы счастлива. Мы навсегда сохранили бы это настроение и, как бесценную святыню, пронесли бы его в будущее.

Сиком снова наполнил мой бокал, и мрак рассеялся, сомнения утихли; когда мы останемся вдвоем, подумал я, все будет хорошо, и я сегодня же вечером, сегодня же ночью спрошу ее, скоро ли мы обвенчаемся, именно скоро ли — через несколько недель, через месяц? — ибо я хотел, чтобы все знали — Сиком, молодой Джон, Кендаллы, — все, что Рейчел будет носить мое имя.

Она станет миссис Эшли, женой Филиппа Эшли.

Должно быть, мы засиделись допоздна, потому что, когда на подъездной аллее послышался стук колес, мы еще не встали из-за стола. Зазвонил колокольчик, и Кендаллов ввели в столовую, где мы сидели среди хлебных крошек, остатков десерта, полупустых бокалов и прочего беспорядка, какой всегда бывает после обеда. Припоминаю, как я нетвердо поднялся на ноги и приволок к столу еще два стула, несмотря на протесты крестного, заявившего, что они уже обедали и заехали всего на минутку, чтобы пожелать мне здоровья.

Сиком принес чистые бокалы, и я увидел, что Луиза, одетая в голубое платье, вопросительно смотрит на меня, думая, как подсказала мне интуиция, что я слишком много выпил. Она была права, но такое случалось весьма редко, был мой день рождения, и ей пора раз и навсегда понять, что никогда у нее не будет права осуждать меня иначе, чем в качестве подруги детства. Крестный тоже пусть знает. Это положит конец его планам относительно Луизы и меня, положит конец сплетням и облегчит душу всем, кого так занимал этот предмет.

Мы снова сели. Крестный, Рейчел и Луиза, за время ленча привыкшие к компании друг друга, завели разговор; тем временем я молча сидел на своем конце стола и, почти не слыша их, обдумывал объявление, которое решил сделать.

Наконец крестный с бокалом в руке наклонился в мою сторону и, улыбаясь, сказал:

— За твоё двадцатипятилетие, Филипп. Долгой жизни и счастья.

Все трое смотрели на меня, и то ли от выпитого вина, то ли от полноты сердца, но я вдруг понял, что и крестный и Луиза — мои

самые дорогие и самые надежные друзья, что я очень люблю их, а Рейчел, моя любовь, со слезами на глазах кивает мне и улыбкой старается ободрить меня.

Вот он, самый подходящий момент. Слуги вышли из комнаты, и тайна останется между нами четверьмя.

Я встал, поблагодарил их и, налив себе бокал, сказал:

— У меня тоже есть тост, который я хотел бы предложить сегодня вечером. С этого утра я счастливейший из людей. Крестный, и ты, Луиза, я хочу выпить за Рейчел, которая скоро станет моей женой.

Я осушил бокал и, улыбаясь, посмотрел на них сверху вниз. Никто не ответил, никто не шелохнулся, на лице крестного я увидел выражение растерянности, Рейчел перестала улыбаться и во все глаза смотрела на меня — лицо ее превратилось в застывшую маску.

— Вы окончательно потеряли рассудок, Филипп, — сказала она.

Я опустил бокал. Рука у меня дрожала, и я поставил его слишком близко к краю стола. Он опрокинулся, упал на пол и разбился вдребезги. Сердце бешено стучало у меня в груди. Я был не в силах отвести взгляд от ее спокойного побелевшего лица.

— Извините, если я слишком поспешил с этой новостью, — сказал я. — Не забудьте, Рейчел, сегодня мой день рождения и они — мои старинные друзья.

В ушах у меня зашумело, и, чтобы не упасть, я ухватился за стол.

Казалось, она не поняла моих слов. Она отвернулась от меня и обратилась к крестному и Луизе.

— Я думаю, — сказала она, — день рождения и вино бросились Филиппу в голову. Простите ему эту нелепую мальчишескую выходку и, если можете, забудьте о ней. Он извинится, когда придет в себя. Не перейти ли нам в гостиную?

Она встала и первой вышла из столовой. Я продолжал стоять, тупо уставившись на послеобеденный беспорядок: крошки хлеба, залитые вином скатерть и салфетки, отодвинутые стулья; я ничего не чувствовал, совсем ничего. На месте сердца была пустота. Я немного подождал, затем, пока Сиком и молодой Джон не пришли убрать со стола, спотыкаясь вышел из столовой, добрал до библиотеки и уселся в темноте перед потухшим камином. Свечи не были зажжены, поленья превратились в золу. Через полуоткрытую дверь до меня доносились приглушенные голоса из гостиной. Я прижал руки к

вискам. Голова раскальвалась, на языке чувствовался кисловатый привкус вина. Если я спокойно посижу в темноте, подумал я, то, может быть, восстановлю равновесие и оцепенение пройдет. Вино виновато в том, что я допустил промах. Но почему она так недовольна? Мы могли бы взять с них клятву хранить тайну. Они бы поняли. Я продолжал сидеть в библиотеке, с нетерпением ожидая, когда уедут Кендаллы. И вот — время тянулось бесконечно долго, хотя прошло не более десяти минут, — голоса стали громче, они вышли в холл. Я слышал, как Сиком открыл дверь, пожелал им доброй ночи, слышал, как зашуршали по гравию колеса экипажа и звякнул дверной засов.

В голове у меня прояснилось. Я сидел и слушал. Я услышал шорох ее платья. Он приблизился к полуоткрытой двери библиотеки, на мгновение замер и удалился; с лестницы донеслись ее шаги. Я встал с кресла и пошел за ней. Я нагнал ее у поворота коридора, где она остановилась задуть свечи. В мерцающем свете наши глаза встретились.

— Я думала, вы легли спать, — сказала она. — Вам лучше уйти, пока вы еще чего-нибудь не натворили.

— Теперь, когда они уехали, — сказал я, — вы простите меня, Рейчел?

Поверьте, вы можете доверять Кендаллам. Они не выдадут наш секрет.

— Боже правый, надеюсь, что нет, поскольку они его не знают, — ответила она. — Из-за вас я чувствую себя служанкой, которая прячется с грумом на чердаке. Прежде мне бывало стыдно, но такого стыда я никогда не знала.

И снова это чужое бледное лицо, от которого веяло холодом.

— Вчера в полночь вам не было стыдно, — сказал я, — вы дали мне обещание и не рассердились. Я бы немедленно ушел, если бы вы попросили.

— Я? Обещание? — сказала она. — Какое обещание?

— Выйти за меня замуж, Рейчел, — ответил я.

У нее в руке был подсвечник. Она подняла его, и пламя свечи осветило мое лицо.

— Вы смеете, Филипп, — проговорила она, — заявлять мне, что вчера ночью я пообещала выйти за вас замуж? За обедом я при

Кендаллах сказала, что вы потеряли рассудок, и была права. Вы прекрасно знаете, что я ничего вам не обещала.

Я во все глаза уставился на нее. Рассудок потерял не я, а она. Я чувствовал, что мое лицо пылает.

— Вы спросили меня, чего я хочу, — сказал я, — каково мое желание на свой день рождения. И тогда и сейчас я мог бы просить только об одном — чтобы вы вышли за меня замуж. Что же еще я мог иметь в виду?

Она не ответила. Она продолжала смотреть на меня, недоверчивая, недоумевающая, как человек, услышавший слова на чужом языке, которые он не в состоянии ни перевести, ни постигнуть, и вдруг я с болью и отчаянием осознал, что мы действительно говорим на разных языках: все, что произошло между нами, произошло по ошибке. Как она не поняла, о чем я просил ее в полночь, так и я в своем восторженном ослеплении не понял, что она дала мне; то, что я считал залогом любви, было совсем иное, лишённое смысла, и она истолковала это по-своему.

Если ей было стыдно, то мне было стыдно вдвойне — оттого, что она могла настолько превратно понять меня.

— Позвольте мне выразиться по-простому, — сказал я. — Когда мы обвенчаемся?

— Никогда, Филипп, — ответила она и сделала жест, будто приказывая мне уйти. — Запомните раз и навсегда. Мне жаль, если вы надеялись на это. У меня не было намерения вводить вас в заблуждение. А теперь — доброй ночи.

Она повернулась, чтобы уйти, но я крепко схватил ее за руку.

— Значит, вы не любите меня? — спросил я. — Это было притворство?

Но, Боже мой, почему вчера ночью вы не сказали мне правду и не попросили меня уйти?

И снова в ее глазах недоумение; она не поняла. Мы были совсем чужие, нас ничто не связывало. Она явилась из иной земли, принадлежала иной расе.

— Вы смеете упрекать меня за то, что произошло? — сказала она. — Я хотела отблагодарить вас, вот и все. Вы подарили мне драгоценности.

Думаю, в эту минуту я познал все, что до меня познал Эмброз. Я понял, что он видел в ней, чего страстно желал, но так и не получил. Я познал мучение и боль, и бездна между мной и Рейчел сделалась еще глубже. Ее глаза, такие темные и не похожие на наши, пристально смотрели на нас обоих и не понимали нас. В мерцающем свете свечи рядом со мной — в тени — стоял Эмброз. Мы смотрели на нее, терзаемые мукой безнадежности, а в устремленных на нас глазах горело обвинение. Ее полуосвещенное лицо тоже было чужим — маленькое узкое лицо со старинной монеты. Рука, которую я держал, уже не была теплой. Холодные хрупкие пальцы изо всех сил старались освободиться, кольца царапали мне ладонь. Я выпустил ее руку и тут же захотел вновь прикоснуться к ней.

— Почему вы так смотрите на меня? — прошептала она. — Что я вам сделала? Вы изменились в лице.

Я пытался придумать, что еще я могу отдать ей. Ей принадлежали имение, деньги, драгоценности. Ей принадлежали моя душа, мое тело, мое сердце. Имя?

Но и его она уже носила. Ничего не осталось. Разве что страх... Я взял из ее руки подсвечник и поставил его на выступ над лестницей. Я положил пальцы ей на горло и сцепил их кольцом; теперь она не могла пошевелиться и только смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Казалось, я держу в руках испуганную птицу, которая, если я чуть сожму пальцы, немного побьется и умрет, а если ослаблю — вырвется на волю и улетит.

— Не покидайте меня, — сказал я. — Поклянитесь, что не покинете... никогда... никогда...

Она попыталась пошевелить губами в ответ, но не смогла. Я выпустил ее.

Она отшатнулась от меня, прижимая пальцы к горлу. По обеим сторонам жемчужного колье, там, где только что были мои руки, проступили две красные полосы.

— Теперь вы выйдете за меня? — спросил я.

Вместо ответа она попятилась от меня по коридору; ее глаза не отрывались от моего лица, пальцы по-прежнему закрывали горло. Я увидел на стене свою тень, чудовищную, бесформенную, неузнаваемую. Я видел, как Рейчел скрылась под сводом. Слышал, как захлопнулась дверь и ключ повернулся в замке. Я пошел в свою

комнату и, случайно заметив в зеркале собственное отражение, остановился и внимательно посмотрел на него. С каплями пота на лбу, без кровинки в лице, передо мной стоял... Эмброз? Я пошевелился и снова стал самим собой; я увидел сутулые плечи, слишком длинные, неуклюжие руки и ноги, увидел нерешительного, простодушного Филиппа, позволившего себе мальчишескую выходку, которую Рейчел просила Кендаллов простить и забыть.

Я распахнул окно, но луны в эту ночь не было. Лил дождь. Ветер откинул портьеру, растрепал альманах, лежавший на каминной доске, и сбросил его на пол. Я наклонился, поднял книгу, вырвал из нее лист и, скомкав, бросил в огонь. Конец моему дню рождения. Конец дню всех дураков.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Утром, когда я сидел за завтраком, глядя невидящими глазами на ревущую за окном непогоду, в столовую вошел Сиком с запиской на подносе. Я увидел ее, и сердце мое екнуло. Может быть, она просит меня подняться в ее комнату... Но писала не Рейчел. Почерк был крупнее и более округлый. Записка была от Луизы.

— Ее только что принес грум мистера Кендалла, сэр, — сказал Сиком, — он ждет ответа.

Я прочел записку.

«Дорогой Филипп.

Я очень огорчена тем, что произошло вчера вечером. Думаю, я лучше отца понимаю, что ты пережил. Прошу тебя, помни: я твой друг и всегда им буду.

Сегодня утром мне надо съездить в город. Если ты чувствуешь потребность с кем-нибудь поговорить, я могла бы встретиться с тобой у церкви незадолго до полудня.

Луиза».

Я положил записку в карман и попросил Сикома принести перо и бумагу.

Кто бы ни предлагал мне встретиться, моим первым побуждением всегда, а в то утро особенно, было набросать слова благодарности и отказаться. Однако когда Сиком принес перо и бумагу, я решил поступить иначе. Бессонная ночь, агония одиночества неожиданно пробудили во мне стремление отвести с кем-нибудь душу. Луиза была мне ближе всех. Итак, я написал ей, что приеду утром в город и отыщу ее в церкви.

— Отдайте это груму мистера Кендалла и скажите Веллингтону, чтобы он оседлал Цыганку к одиннадцати часам, — сказал я.

После завтрака я пошел в контору, привел в порядок счета и написал письмо, начатое накануне. Мозг мой работал вяло, как в тумане, и я, скорее в силу привычки, чем по необходимости, отмечал факты, цифры и выписывал их на листок. Покончив с делами, я

прошел в конюшню, торопясь уехать из дома и оказаться подальше от всего, что было с ним связано. Я не поехал по аллее через лес, полный вчерашних воспоминаний, а свернул в сторону и напрямик через парк поскакал к большой дороге. Моя лошадь, резвая и нервная, как молодая лань, испугавшись непонятно чего, насторожила уши, встала на дыбы и бросилась в кустарник. Неистовый ветер на славу потрудился над нами обоими.

Ненастье, обычное для наших краев в феврале и марте, наконец наступило.

Не было больше мягкого тепла последних недель, гладкого моря, солнца.

Огромные хвостатые тучи с черными краями неслись с запада и время от времени с неожиданной яростью обрушивали на землю потоки града. Море в западной бухте кипело и билось о берег. В полях по обеим сторонам дороги кричали чайки, усеявшие свежевспаханную землю в поисках взлелеянных ранней весной зеленых побегов. Нат Брей, которого я так быстро выставил прошлым утром, стоял у своих ворот, укрывшись от града свисающим с плеч мокрым мешком; он поднял руку и прокричал мне приветствие, но ветер отнес звук его голоса в сторону.

Даже на большой дороге я слышал шум моря. На западе, где мелкая вода едва покрывала песок, оно отливало от берега, взбивая пушистую пену, на востоке, перед устьем, катились огромные длинные валы; они обрушивались на скалы у входа в гавань, и рев бурунов сливался с воем колючего ветра, который сносил живые изгороди и гнул долу покрытые почками деревья.

Я спустился с холма и въехал в город. Людей на улицах почти не было, а те, кого я видел, шли, согнувшись под ветром, с покрасневшими от холода носами. Я оставил Цыганку в «Розе и Короне» и по тропинке поднялся к церкви.

Луиза пряталась от ветра на паперти между колоннами. Я открыл тяжелую дверь, и мы вошли в церковь. После ненастья, бушующего за стенами, она казалась особенно тихой; на нас дохнуло знакомой прохладой, гнетущей, тяжелой, и запахом тления, какой бывает только в церквях. Мы сели у лежащей мраморной фигуры моего предка в окружении фигур рыдающих сыновей и дочерей, и я подумал, сколько Эшли рассеяно по нашей округе — одни лежат здесь, другие в моем

собственном приходе, — как они любили, страдали, как обрели последний приют.

В церкви стояла тишина, и мы инстинктивно заговорили шепотом.

— Я давно переживаю из-за тебя, — сказала Луиза, — с Рождества и даже раньше. Но я не могла сказать тебе этого. Ты бы не стал слушать.

— Напрасно, — ответил я, — до вчерашнего вечера все шло очень хорошо. Я сам виноват, что сказал лишнее.

— Ты бы и не сказал, — возразила она, — если бы не верил, что это правда. Она притворялась с самого начала, и сперва, до ее приезда, ты был к этому готов.

— Она не притворялась, — сказал я, — до последних часов. Если я ошибся, то мне некого винить, кроме самого себя.

Внезапный ливень с шумом обрушился на южные окна церкви, и в боковом приделе с высокими колоннами стало еще темнее.

— Зачем она приехала сюда в сентябре? — спросила Луиза. — Зачем проделала весь этот путь? Чтобы разыскать тебя? Она приехала в Англию, в Корнуолл, с определенной целью. И добилась своего.

Я повернулся и взглянул на Луизу. Ее серые глаза смотрели открыто и прямо.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я.

— Теперь у нее есть деньги, — сказала Луиза. — Ради этого она и отправилась в путешествие.

Когда я учился в пятом классе в Харроу, мой классный наставник однажды сказал нам, что истина — это нечто неуловимое, невидимое; иногда, сталкиваясь с ней, мы не узнаем ее, и обрести и постичь ее дано только старикам на пороге смерти либо очень чистым душой и очень молодым.

— Ты ошибаешься, — сказал я. — Ты ничего о ней не знаешь. Она — женщина импульсивная, эмоциональная, ее настроения непредсказуемы и странны, но, видит Бог, не в ее натуре быть иной. Порыв заставил ее покинуть Флоренцию. Чувство привело ее сюда. Она осталась, потому что была счастлива и потому что имела право остаться.

Луиза с состраданием посмотрела на меня и положила руку мне на колено.

— Если бы ты не был так уязвим, — сказала она, — миссис Эшли не осталась бы. Она посетила бы моего отца, заключила бы с ним сделку и уехала.

Ты с самого начала не правильно истолковал ее побуждения.

Я бы скорее смирился, подумал я, вставая, если бы Луиза ударила Рейчел, плюнула ей в лицо, вцепилась в волосы или в платье. В этом было бы что-то примитивное, животное. Борьба шла бы на равных. Но сейчас, в тишине церкви, слова ее звучали почти кощунственно, как клевета.

— Я не могу сидеть здесь и слушать твои слова, — сказал я. — Я хотел найти у тебя утешение и сочувствие. Если в тебе нет ни того ни другого, оставим этот разговор.

Она тоже встала и взяла меня за руку.

— Неужели ты не видишь, что я стараюсь помочь тебе? — взмолилась она.

— Но это бесполезно: ты слеп и глух ко всему. Если строить планы на несколько месяцев вперед не в характере миссис Эшли, почему она всю зиму посылала деньги за границу — из недели в неделю, из месяца в месяц?

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Такие вещи нельзя скрыть, — ответила она. — Отец на правах твоего опекуна обо всем узнал от мистера Куча.

— Ну и что из того? — сказал я. — У нее были долги во Флоренции, я всегда знал о них. Кредиторы требовали уплаты.

— Из страны в страну? — спросила Луиза. — Разве такое возможно? Не думаю. Не вероятнее ли, что миссис Эшли надеялась сколотить определенную сумму к своему возвращению и провела здесь зиму лишь потому, что знала, что ты вступишь во владение деньгами и имением в тот день, когда тебе исполнится двадцать пять лет? Отец уже не будет твоим опекуном, и она сможет выманить у тебя все, что захочет. Но этого не понадобилось. Ты подарил ей все, что имел.

Мне не верилось, что у девушки, которую я знал, которой доверял, такой дьявольский ум и, самое ужасное, что своей логикой и простым здравым смыслом она способна изничтожить такую же женщину, как она сама.

— Ты сама до этого додумалась или говоришь с голоса своего отцазаконника? — спросил я.

— Отец здесь ни при чем, — сказала она, — тебе известна его скрытность. Он почти ничего не рассказывает мне. У меня есть собственное мнение.

— С первой вашей встречи ты настроила себя против нее, — сказал я. — В воскресенье, в церкви, разве не так? За обедом ты не произнесла ни слова и сидела с надутым видом. Ты сразу невзлюбила ее.

— А ты? — спросила Луиза. — Помнишь, что ты сказал о ней перед самым ее приездом? Не могу забыть твоей враждебности по отношению к ней. И не беспричинной.

Рядом с клиросом со скрипом отворилась боковая дверь, и в нее проскользнула маленькая, похожая на мышь, Элис Табб с метлой в руке. Она украдкой взглянула на нас и скрылась за кафедрой, но уединение было нарушено.

— Бесполезно, Луиза, — сказал я, — ты не можешь мне помочь.

Луиза посмотрела на меня и выпустила мою руку.

— Значит, ты так сильно любишь ее? — спросила она.

Я отвернулся. Она была девушка, и младше меня, она не могла понять. И никто не мог бы, кроме Эмброза, который был мертв.

— Что ждет вас обоих в будущем? — спросила Луиза.

Мы шли по проходу между скамьями, и шаги наши глухо отдавались под сводами церкви. Слабый луч солнца на мгновение осветил нимб над головой святого Петра и тут же погас.

— Я попросил ее выйти за меня замуж, — сказал я. — Просил раз, второй. Я буду просить еще и еще. Вот мое будущее, если оно тебя интересует.

Я открыл дверь, и мы вышли на паперть. На дереве у церковной ограды, не обращая внимания на дождь, пел дрозд, и проходивший мимо мальчишка — подручный мясника, с подносом на плече и фартуком на голове — подсвистывал ему за компанию.

— Когда ты просил ее об этом последний раз? — спросила Луиза.

Я вновь почти физически ощутил знакомую теплоту, увидел зажженные свечи, услышал дорогой мне смех. И никого рядом, только

я и Рейчел. Будто в насмешку над полночью церковные часы били полдень.

— Утром в мой день рождения, — сказал я Луизе.

Она дождалась последнего удара колокола, громко прозвучавшего над нашими головами.

— Что она тебе сказала?

— Между нами вышло недоразумение, — ответил я. — Я думал, она имеет в виду «да», тогда как она имела в виду «нет».

— К этому времени она уже прочла документ?

— Нет. Она прочла его позднее. Позднее в то же утро.

Вдалеке за воротами церкви я увидел грума и догкарт Кендаллов. При виде хозяйской дочери грум поднял хлыст и спрыгнул на землю. Луиза надела на голову капюшон и застегнула накидку.

— Значит, она не стала терять времени и, прочтя документ, поехала в Пелин повидаться с моим отцом, — сказала Луиза.

— Она не совсем поняла его, — сказал я.

— Она поняла его, когда уезжала из Пелина, — сказала Луиза. — Я отлично помню, когда ее уже ждал экипаж и мы стояли на ступенях, отец сказал ей: «Клаузула относительно замужества, возможно, не совсем приятна. Вы должны остаться вдовой, если хотите сохранить состояние». Миссис Эшли улыбнулась ему и ответила: «Меня это вполне устраивает».

Грум, неся в руках большой зонт, поднимался по тропе. Луиза застегнула перчатки. Еще одна черная туча стремительно неслась по небу. Деревья гнулись под шквалистым ветром.

— Этот пункт внесли, чтобы гарантировать имение от посягательств постороннего человека и не дать ему промотать состояние, — сказал я. — Если бы она стала моей женой, он потерял бы силу.

— Ошибаешься, — сказала Луиза. — Если бы она вышла за тебя замуж, все снова перешло бы к тебе. Ты не подумал об этом?

— Но даже если и так? Я бы делил с ней каждый пенни. Из-за одного этого пункта она не отказалась бы выйти за меня, если ты это имеешь в виду.

Серые глаза Луизы внимательно смотрели на меня.

— Жена, — сказала Луиза, — не может пересылать деньги своего мужа за границу, не может вернуться туда, откуда она родом. Я ничего

не имею в виду.

Грум коснулся рукой шляпы и поднял зонт над ее головой. Я спустился за ней по тропе и усадил в двуколку.

— Я не помогла тебе, — сказала она, — ты считаешь меня безжалостной и жестокой. Иногда женщина бывает пронизательнее мужчины. Прости, что я причинила тебе боль. Я хочу только одного — чтобы ты снова стал самим собой. — Она наклонилась к груму:

— Ну, Томас, мы возвращаемся в Пелин.

Лошадь тронула, и они стали подниматься по склону холма к большой дороге.

Я пошел в «Розу и Корону» и уселся там в небольшой комнатке. Луиза была права, она не помогла мне. Я пришел за поддержкой и утешением, но не нашел их. Одни сухие, холодные факты, искаженные до неузнаваемости. Все, что она говорила, имело бы смысл для того, в ком сильна жилка законника. Я знал, как скрупулезно взвешивает подобные вещи крестный, не принимая во внимание человеческое сердце. Не вина Луизы, если она унаследовала его рассудительность и трезвость.

Я лучше ее знал, что встало между Рейчел и мною. Гранитная плита в лесу над долиной и все те месяцы, что не я был рядом с Рейчел. «Ваша кухня Рейчел, — сказал Райнальди, — женщина импульсивная». Под влиянием порыва позволила она мне полюбить себя. Под влиянием порыва оттолкнула. Эмброс испытал это, Эмброс понимал. И ни для него, ни для меня не могло быть другой женщины, другой жены.

Долго сидел я в холодной комнате «Розы и Коронь». Хоть я и не был голоден, хозяин принес мне холодную баранину и эль. Наконец я вышел из таверны и остановился у причала, глядя, как поднявшаяся вода плещется на ступенях. Рыбацкие суденышки раскачивались у своих буев, какой-то старик вычерпывал воду со дна лодки; он сидел спиной к ветру и не видел, что брызги, летящие с каждым новым буруном, делают напрасными все его усилия.

Тучи опустились еще ниже, и плащ густого тумана окутал деревья на противоположном берегу. Если я хотел вернуться домой, не промокнув до нитки и не простудив Цыганку, следовало поспешить, пока погода не стала еще хуже.

Вокруг никого не было видно, все попрятались по домам. Я вскочил в седло, поднялся на холм, чтобы сократить путь, свернул к перепутью Четырех Дорог и вскоре выехал на аллею, ведущую к дому. Здесь мы были более или менее укрыты от ветра, но не успели преодолеть и сотни ярдов, как Цыганка вдруг споткнулась и захромала. Из опасения лишних слухов я не заехал в сторожку, чтобы извлечь камешек, застрявший между копытом и подковой, а спешил и осторожно повел лошадь к дому.

Ураган разбросал по тропе обломанные ветви; деревья, еще вчера застывшие в сонном покое, раскачивались из стороны в сторону, отрясая мелкие капли дождя. Из болотистой долины поднималось белое облако тумана; я задрожал и только теперь понял, что весь день, весь этот бесконечный день, меня трясло от холода — и в церкви, пока я сидел там с Луизой, и в комнате с погасшим камином в «Розе и Короне». Со вчерашнего дня мир изменился.

Я вывел Цыганку на тропу, по которой шел вчера с Рейчел. Вокруг берез, там, где мы собирали цветы, еще были видны наши следы. Пучки первоцвета, грустные, поникшие, сиротливо лежали на мокром мху. Казалось, дороге не будет конца. Цыганка заметно хромала, и я вел ее под уздцы. Моросящий дождь попадал за воротник моей куртки и охлаждал спину.

Подходя к дому, я чувствовал такую усталость, что, даже не поздоровавшись с Веллингтоном, молча бросил ему поводья и ушел, оставив его смотреть мне вслед вытаращенными от удивления глазами. Видит Бог, после вчерашнего вечера я не имел ни малейшего желания пить ничего, кроме воды, но я слишком устал и промок и подумал, что поток коньяка, пусть и невыдержанного, может согреть меня. Когда я вошел в столовую, молодой Джон накрывал стол к обеду. Он вышел в буфетную за рюмкой, и, ожидая его, я заметил, что на столе стоят три прибора. Когда он вернулся, я показал на них рукой:

— Почему три?

— Мисс Паско, — ответил он, — она здесь с часу дня. Госпожа поехала навестить их утром, вскоре после того как вы ушли. Она привезла с собой мисс Паско. Она приехала погостить.

Ничего не понимая, я уставился на молодого Джона:

— Мисс Паско приехала погостить?

— Да, сэр, — ответил он. — Мисс Мэри Паско, та самая, которая преподает в воскресной школе. Все утро мы занимались тем, что готовили для нее розовую комнату. Она сейчас с госпожой в будуаре.

Он продолжал накрывать стол, а я, забыв про коньяк, поставил рюмку на буфет и поднялся к себе. На столе в моей комнате лежала записка, написанная Рейчел. Я развернул ее. Обращения не было, только дата:

«Я пригласила Мэри Паско погостить у меня в качестве компаньонки. После вчерашнего вечера я не могу оставаться с вами вдвоем. Вы можете присоединиться к нам в будуаре до или после обеда. Я должна просить вас соблюдать учтивость.

Рейчел».

Не может быть! Это не правда... Как часто мы вместе смеялись над девицами Паско, особенно над не в меру болтливой Мэри, вечно занятой вышиванием и посещением бедняков, которых лучше оставить в покое, Мэри — наиболее дородным и примитивным изданием своей матери! Шутки ради — да, Рейчел могла бы пригласить ее шутки ради, но не больше чем на обед, чтобы с противоположного конца стола наблюдать за угрюмым выражением моего лица; однако записка была отнюдь не шутливой.

Я вышел на площадку лестницы и увидел, что дверь розовой спальни открыта. Никакой ошибки. В камине горел огонь, на стуле лежали туфли и оберточная бумага, по всей комнате были разбросаны совершенно чужие расчески, книги и разные мелочи, а дверь в комнаты Рейчел, обычно закрытая, была широко распахнута. Я даже слышал приглушенные голоса, долетавшие из будуара. Так вот оно, мое наказание! Вот она, моя опала! Мэри Паско приглашена, чтобы служить барьером между Рейчел и мной, чтобы мы больше не могли оставаться наедине, как она и писала в записке.

Сперва меня захлестнул приступ гнева, я не знал, как удержаться от того, чтобы не войти в будуар, не схватить Мэри Паско за плечи, не велеть немедленно собираться и тут же не отправить ее с Веллингтоном к себе домой.

Как Рейчел посмела пригласить ее в мой дом под предлогом, будто она больше не может оставаться со мной вдвоем, предлогом

надуманным, жалким, оскорбительным? Неужели я обречен на общество Мэри Паско в столовой, Мэри Паско в библиотеке и в гостиной, Мэри Паско в парке, в саду, Мэри Паско в будуаре Рейчел, обречен всегда и везде слушать бесконечную женскую болтовню, которую я терпел только на воскресных обедах, и то в силу давней привычки?

Я пошел по коридору; я не переоделся и был во всем мокром. Я открыл дверь будуара. Рейчел сидела в своем кресле, Мэри Паско — на скамеечке, и они вместе разглядывали огромный том с гравюрами итальянских садов.

— Так вы вернулись? — сказала Рейчел. — Ну и день вы выбрали для верховой прогулки! Когда я ехала к дому викария, экипаж чуть не сдуло с дороги. Как видите, мы имеем удовольствие принимать Мэри у себя в гостях.

Она уже почти освоилась. Я очень рада.

Мэри Паско хихикнула.

— Это был такой сюрприз, мистер Эшли, — сказала она, — когда ваша кухня приехала забрать меня! Остальные позеленели от зависти. Мне просто не верится, и все же я здесь. Как приятно и уютно сидеть в будуаре... Даже приятней, чем внизу. Ваша кухня говорит, что вы всегда сидите здесь по вечерам. Вы играете в крибидж? Я без ума от крибиджа. Если вы не умеете играть, я с удовольствием научу вас обоих.

— Филипп не увлекается азартными играми, — сказала Рейчел. — Он предпочитает сидеть и молча курить трубку. Мы будем играть с вами вдвоем, Мэри.

Она посмотрела на меня поверх головы мисс Паско. Нет, это не шутка. По ее серьезному взгляду я понял, что она все как следует обдумала.

— Могу я поговорить с вами наедине? — резко спросил я.

— Не вижу в этом необходимости, — ответила она. — При Мэри вы можете спокойно говорить все что угодно.

Дочь викария поспешно поднялась на ноги.

— Ах, прошу вас, — сказала она, — я совсем не хочу вам мешать. Мне нетрудно уйти в свою комнату.

— Оставьте двери открытыми, Мэри, чтобы услышать, если я позову вас, — сказала Рейчел, не сводя с меня пристального

враждебного взгляда.

— Да, конечно, миссис Эшли, — сказала Мэри Паско. И прошмыгнула мимо меня, оставив все двери открытыми.

— Зачем вы это сделали? — спросил я Рейчел.

— Вы отлично знаете, зачем, — ответила она. — В записке я вам все объяснила.

— Сколько времени она здесь пробудет?

— Столько, сколько я сочту нужным.

— Больше одного дня вы не выдержите ее компании. Вы доведете себя до безумия. И меня тоже.

— Ошибаетесь. Мэри Паско — хорошая, безобидная девушка. Если я не буду расположена к беседе, то не стану с ней разговаривать. Во всяком случае, ее присутствие в доме позволит мне чувствовать себя в известной безопасности. Кроме того, пришло время поступить так. По-старому продолжаться не могло бы, особенно после вашей выходки за столом. Об этом сказал мне и ваш крестный перед отъездом.

— Что он сказал?

— Сказал, что мой затянувшийся визит породил немало сплетен, которые едва ли утихнут после ваших хвастливых заявлений о нашем браке. Не знаю, с кем вы еще говорили о нем. Мэри Паско заставит замолчать досужих болтунов. Я позабочусь об этом.

Неужели причиной такой перемены, такой жестокой враждебности было заявление, которое я позволил себе накануне вечером?

— Рейчел, — сказал я. — Подобные дела не обсуждаются наспех при открытых дверях. Молю вас, выслушайте меня, позвольте мне поговорить с вами наедине после обеда, когда Мэри Паско уйдет спать.

— Вчера вечером вы угрожали мне, — сказала она. — Одного раза достаточно. Нам нечего обсуждать. А теперь можете уйти, если хотите. Или оставайтесь играть в крибидж с Мэри Паско.

И она снова склонилась над книгой о садах. Я вышел из будуара. Ничего другого мне не оставалось. Вот оно, наказание за краткий миг, когда прошлым вечером я сжал пальцами ее горло. Поступок, о котором я тут же пожалел, в котором раскаялся, был непростителен. И вот она — расплата. Мой гнев угас так же быстро, как вспыхнул, и на

смену ему пришли тяжелое оупение и отчаяние. О Боже, что я наделал?!

Еще совсем недавно, всего несколько часов назад, мы были счастливы.

Ликование, с каким я встретил свой день рождения, прошло; я сам спугнул волшебный сон, приоткрывший мне двери. Когда я сидел в холодной комнате «Розы и Короны», мне казалось, что через несколько недель я, возможно, и сумею добиться согласия Рейчел стать моей женой. Если не сейчас, то впоследствии; если не впоследствии, то какое это имеет значение, пока мы вместе, пока мы любим друг друга, как в утро моего дня рождения. Ей решать, ей выбирать, но ведь она не откажет? Когда я вернулся домой, надежда еще жила во мне. И вот посторонний, третье лицо, и все то же непонимание. Стоя в своей комнате, я вскоре услышал приближение их голосов в коридоре, затем шорох платьев по ступеням лестницы. Чуть позже я подумал, что они, наверное, переоделись к обеду. Я знал, что сидеть с ними за столом свыше моих сил.

Пусть обедают одни. К тому же я не был голоден; я очень замерз, ноги и руки одеревенели. Видимо, я простудился, и мне лучше остаться в своей комнате. Я позвонил и велел молодому Джону передать мои извинения за то, что я не спущусь к обеду, а сразу лягу в постель. Как я и опасался, внизу забеспокоились, и ко мне поднялся Сиком. Лицо его было встревожено.

— Вам нездоровится, мистер Филипп, сэръ? — спросил он. — Могу я предложить горчичную ванну и горячий грог? Вот что значит выезжать верхом в такую погоду!

— Ничего, Сиком, благодарю вас, — ответил я. — Просто я немного устал.

— И обедать не будете, мистер Филипп? Сегодня у нас дичь и яблочный пирог. Все уже готово. Обе дамы сейчас в гостиной.

— Нет, Сиком. Я плохо спал эту ночь. Утром мне станет лучше.

— Я передам госпоже, — сказал он. — Она очень огорчится.

По крайней мере, оставаясь в своей комнате, я, возможно, увижусь с Рейчел наедине. Может быть, после обеда она зайдет справиться о моем самочувствии...

Я разделся и лег в постель. Должно быть, я действительно простудился.

Простыни казались мне ледяными, я откинул их и забрался под одеяло. Я весь окоченел, в голове стучало — никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Я лежал и ждал, когда они кончат обедать. Я слышал, как они прошли через холл в столовую, не переставая разговаривать — хотя бы от этого я был избавлен, — затем, после долгого перерыва, вернулись в гостиную.

Где-то после восьми часов я услышал, как они поднимаются по лестнице. Я сел в кровати и накинул на плечи куртку. Быть может, она выберет именно этот момент, чтобы зайти ко мне. Несмотря на грубое шерстяное одеяло, мне все еще было холодно, ноги и шея ныли, голова горела как в огне.

Я ждал, но она не пришла. Очевидно, они сидели в будуаре. Я слышал, как часы пробили девять, затем десять, одиннадцать. После одиннадцати я понял, что она не намерена заходить ко мне. Значит, пренебрежение — не что иное, как часть наказания, которому меня подвергли.

Я встал с кровати и вышел в коридор. Они уже разошлись по своим комнатам: я слышал, как Мэри Паско ходит по розовой спальне, время от времени противно покашливая, чтобы прочистить горло, — еще одна привычка, которую она переняла у матери.

Я прошел по коридору к комнате Рейчел. Я положил пальцы на ручку двери и повернул ее. Но дверь не открылась. Она была заперта. Я осторожно постучал. Рейчел не ответила. Я медленно вернулся в свою комнату, лег в постель и долго лежал без сна. Согреться мне так и не удалось.

Помню, что утром я оделся, но совершенно не помню, как молодой Джон разбудил меня, как я завтракал; запомнилась лишь страшная головная боль и прострелы в шее. Я пошел в контору и сел за стол. Я не писал писем. Ни с кем не встречался. Вскоре после двенадцати ко мне вошел Сиком сказать, что дамы ждут меня к ленчу. Я ответил, что не хочу никакого ленча. Он подошел ближе и заглянул мне в лицо.

— Мистер Филипп, вы больны, — сказал он. — Что с вами?

— Не знаю, — ответил я.

Он взял мою руку и ощупал ее. Затем вышел из конторы, и я услышал в окно его торопливые шаги через двор.

Вскоре дверь снова открылась. На пороге стояла Рейчел, а за ее спиной — Мэри Паско и Сиком. Рейчел подошла ко мне.

— Сиком сказал, что вы больны. В чем дело?

Почти ничего не видя, я поднял на нее глаза. Происходящее утратило для меня всякую реальность. Я уже не сознавал, что сижу за столом в конторе, мне казалось, будто я, окоченев от холода, как минувшей ночью, лежу в постели в своей комнате наверху.

— Когда вы отправите ее домой? — спросил я. — Я не причиню вам вреда. Даю вам честное слово.

Она положила руку мне на лоб. Заглянула в глаза. Быстро повернулась к Сикому.

— Позовите Джона, — сказала она, — и вдвоем помогите мистеру Филиппу добраться до кровати. Скажите Веллингтону, чтобы он немедленно послал грума за врачом.

Я видел одно только побелевшее ее лицо и глаза. Как нечто нелепое, глупое, неуместное почувствовал на себе испуганный, потрясенный взгляд Мэри Паско. И больше ничего. Лишь оцепенение и боль.

Снова лежа в постели, я отдавал себе отчет в том, что Сиком закрывает ставни, задергивает портьеры и погружает комнату во тьму, которой я так жаждал. Возможно, темнота облегчит слепящую боль. Я не мог пошевелить головой на подушке, мышцы шеи казались натянутыми, застывшими. Я ощущал ее руку в своей. Я снова сказал:

— Я обещаю не причинять вам вреда. Отправьте Мэри Паско домой.

Она ответила:

— Молчите. Лежите спокойно.

Комната наполнилась шепотом. Дверь открывалась, закрывалась, снова открывалась. Тихие шаги крадучись скользили по полу. Узкие лучи света просачивались с площадки лестницы, и снова — приглушенный шепот, шепот... и вот мне уже кажется — должно быть, у меня начался бред, — что дом полон людей, в каждой комнате гость, и сам дом недостаточно велик, чтобы вместить всех; они стоят плечом к плечу в гостиной, в библиотеке, а Рейчел плавно движется между ними, улыбается, разговаривает, протягивает руки. «Прогоните их, — снова и снова повторял я. — Прогоните их».

Потом я увидел над собой круглое лицо доктора Гилберта с очками на носу; значит, и он из той же компании. В детстве он лечил меня от ветрянки, с тех пор я редко с ним встречался.

— Так вы купались в море в полночь? — сказал он мне. — Какой безрассудный поступок!

Он покачал головой, словно я был напроказившим ребенком, и погладил бороду. Я закрыл глаза от света, слыша, как Рейчел говорит ему:

— Я слишком хорошо знаю этот вид лихорадки, чтобы ошибиться. Я видела, как во Флоренции от нее умирали дети. Сделайте что-нибудь, ради Бога...

Они вышли. И снова поднялся шепот. Затем послышался шум экипажа, отъехавшего от дома. Потом я услышал чье-то дыхание у полога кровати. Я понял, что произошло. Рейчел уехала. Она отправилась в Бодмин, чтобы там пересесть в лондонский дилижанс. В доме она оставила Мэри Паско следить за мной. Слуги, Сиком, молодой Джон — все покинули меня; осталась только Мэри Паско.

— Пожалуйста, уйдите, — сказал я. — Мне никто не нужен.

Чья-то рука коснулась моего лба. Рука Мэри Паско. Я сбросил ее. Но она снова вернулась — крадущаяся, холодная. Я громко закричал: «Уйдите!» — но рука крепко прижалась ко мне, сковала ледяным холодом и вдруг обратилась в лед на моем лбу, на шее, превратив меня в пленника. Затем я услышал, как Рейчел шепчет мне на ухо:

— Дорогой, лежите спокойно. Это поможет вашей голове. И постепенно она перестанет болеть.

Я попробовал повернуться, но не смог. Значит, она все-таки не уехала в Лондон?

Я сказал:

— Не покидайте меня. Обещайте не покидать меня.

Она сказала:

— Обещаю. Я все время буду с вами.

Я открыл глаза, но не увидел ее, в комнате было темно. Ее форма изменилась. Это была уже не моя спальня, а длинная и узкая монашеская келья.

Кровать жесткая, как железо. Где-то горела свеча, скрытая экраном. В нише на противоположной стене — коленапреклоненная мадонна. Я громко позвал:

— Рейчел... Рейчел...

Я услышал торопливые шаги, и вот она, ее рука в моей руке, говорит:

— Я с вами.

Я снова закрыл глаза.

Я стоял на мосту через Арно и давал клятву уничтожить женщину, которую никогда не видел. Вздувшаяся вода, вскипая бурными пузырями, текла под мостом. Рейчел, девушка-нищенка, подошла ко мне, протягивая пустые ладони.

Она была обнажена, и только на шее у нее мерцало жемчужное кольцо. Вдруг она показала на воду: там со сложенными на груди руками покачивался Эмброз. Он проплыл мимо нас вниз по реке и скрылся, а за ним медленно, величественно, с поднятыми вверх прямыми окоченелыми лапами плыло тело мертвой собаки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Дерево за моим окном было покрыто густой листвой — первое, на что я обратил внимание. Я смотрел на него в замешательстве. Когда я лег в постель, почки едва набухали. Листва показалась мне очень странной. Правда, портьеры были задернуты, но я хорошо помню, что, когда утром в мой день рождения я выпянул из окна и посмотрел на лужайку, почки были совсем тугими. Голова больше не болела, скованность прошла. Должно быть, я проспал много часов подряд, возможно, день или даже больше. Если в доме кто-нибудь болен, времени просто не замечаешь.

Конечно же, я много раз видел бородатого доктора Гилберта и того, другого, тоже чужого. Комната постоянно во тьме. Теперь было светло. Я чувствовал, что лицо у меня заросло щетиной — надо обязательно побриться. Я поднял руку к подбородку. Неужели я сошел с ума? Ведь у меня тоже борода! Я уставился на свою руку. Она была белая и тонкая, с длинными ногтями; я слишком часто ломал их во время поездок верхом. Я повернул голову и рядом с кроватью увидел Рейчел, которая сидела в кресле — в ее собственном кресле из будуара. Она не знала, что я вижу ее. Она вышивала. Ее платье я не узнал: темное, как и все ее платья, но с короткими, выше локтя, рукавами, из легкой ткани. Разве в комнате так тепло? Окна были открыты. Камин не затоплен.

Я снова поднял руку и потрогал бороду. Она была приятной на ощупь. Я неожиданно рассмеялся, Рейчел подняла голову и посмотрела на меня.

— Филипп... — сказала она и улыбнулась; и вот она уже стоит рядом со мной на коленях и обнимает меня.

— Я отрастил бороду! — сказал я.

При мысли о такой нелепости я не мог сдержать смеха, но смех вскоре перешел в кашель; она немедленно поднесла к моим губам стакан и, заставив меня выпить какую-то невкусную жидкость, осторожно уложила на подушки.

Ее жест пробудил во мне слабое воспоминание. Несомненно, все это время в мои сны навязчиво вторгалась рука, держащая стакан; она

заставляла меня пить его содержимое и исчезала. Я принимал ее за руку Мэри Паско и всякий раз отталкивал. Пристально глядя на Рейчел, я протянул к ней руку. Она взяла ее и крепко сжала. Я водил большим пальцем по бледно-голубым жилкам, которые всегда проступали на тыльной стороне ее ладони, поворачивал кольца.

Некоторое время я молчал, затем спросил:

— Вы отослали ее?

— Кого?

— Как же, Мэри Паско, — ответил я.

Я слышал, как она затаила дыхание, и, подняв глаза, увидел, что улыбка сошла с ее губ, а на лицо набежала тень.

— Она уехала пять недель назад. Не думайте об этом. Хотите пить? Я приготовила вам прохладительный напиток из свежего лайма. Его прислали из Лондона.

После горького, невкусного лекарства питье показалось особенно приятным.

— Наверное, я был болен, — сказал я.

— Вы едва не отправились на тот свет, — ответила она.

Рейчел сделала движение, будто собиралась уйти, но я удержал ее.

— Расскажите, — попросил я. — Меня гложет любопытство: что происходило в мире без меня? Как Рип ван Винкля^{[note 10](#)}, который проспал много лет.

— Только если вы захотите, чтобы я вновь пережила волнения и страхи всех этих недель, — ответила она. — Вы были очень больны. Этого вполне достаточно.

— Что со мной было?

— Я не слишком высокого мнения о ваших английских врачах, — ответила она. — На континенте мы называем эту болезнь менингитом, здесь о ней никто не знает. Просто чудо, что вы остались живы.

— Что меня спасло?

Она улыбнулась и крепче сжала мне руку.

— Думаю, ваша лошадиная выносливость, — ответила она, — и некоторые вещи, которые я уговорила их сделать. Прежде всего — пункция позвоночника, чтобы выпустить лишнюю спинномозговую жидкость. А позже — введение в кровь экстракта из сока трав. Они называют это ядом. Но вы выжили!

Я вспомнил, как она готовила лекарства для наших арендаторов, которые болели зимой, и как я подшучивал над ней, называя повитухой и аптекарем.

— Откуда вы знаете такие вещи? — спросил я.

— О них я узнала от матери, — ответила она. — Мы, римляне, очень древние и очень мудрые.

При этих словах вновь что-то шевельнулось в моей памяти, но я не мог вспомнить, что именно. Думать мне было еще трудно, оставалось лежать в постели, держа ее за руку.

— Почему дерево за моим окном покрыто листвой? — спросил я.

— Так и положено во вторую неделю мая, — сказала она.

Неужели я провалялся в беспомощности несколько недель? Я не мог вспомнить, из-за чего я слег. Рейчел на меня рассердилась, но причина ее недовольства стерлась из моей памяти; она пригласила в дом Мэри Паско, но почему? То, что мы обвенчались перед моим днем рождения, не вызывало сомнений, но я не помнил ни церкви, ни церемонии, хотя и знал твердо, что крестный с Луизой и маленькая Элис Табб были моими свидетелями. Я помнил, что был очень счастлив. И вдруг — беспричинное отчаяние... Затем я заболел.

Но теперь это уже не важно, теперь все снова хорошо. Я не умер, и на дворе май.

— Думаю, я уже достаточно окреп, чтобы встать, — сказал я.

— Ни в коем случае, — возразила она. — Возможно, через неделю вы немножко посидите у окна. А еще через некоторое время пройдетесь до моего будуара. Может быть, к концу месяца мы спустимся вниз и посидим на воздухе.

Но это мы еще посмотрим.

И верно, мои силы восстанавливались не быстрее, чем она говорила.

Никогда в жизни не чувствовал я себя таким увальнем, как в тот день, когда впервые после болезни сел на кровати и спустил ноги на пол. Комната поплыла у меня перед глазами. По одну сторону от меня стоял Сиком, по другую — молодой Джон, и я сидел между ними — слабый, как новорожденный младенец.

— Боже мой, мадам, он снова вырос! — произнес Сиком с выражением такого ужаса на лице, что мне пришлось снова откинуться на подушки — теперь уже от смеха.

— В конце концов, можете показывать меня на бодминской ярмарке, — сказал я и вдруг увидел себя в зеркале, исхудалого, бледного, с каштановой бородой, — ни дать ни взять апостол.

— Отправлюсь-ка я проповедовать по округе, — сказал я. — За мной пойдут тысячи. Как вы думаете?

— Я предпочитаю, чтобы вы побрились, — серьезно сказала Рейчел.

— Принесите, пожалуйста, бритву, Джон, — сказал я; но когда с бритьем было покончено и мое лицо вновь стало голым, я почувствовал, что в чем-то утратил былое достоинство и снова низведен до положения школьника.

Как упоительны были эти дни выздоровления! Рейчел всегда со мной...

Разговаривали мы мало — беседа быстро утомляла меня и вызывала легкую головную боль. Больше всего я любил сидеть у открытого окна своей комнаты; чтобы развлечь меня, Веллингтон приводил лошадей и пускал их кругами по широкой подъездной аллее перед домом, как на манеже. Когда ноги у меня немного окрепли, я стал приходить в будуар; туда приносили еду, и Рейчел ухаживала за мной, как заботливая нянька за ребенком. Однажды я даже сказал, что если ей до конца жизни суждено ходить за больным мужем, то ей некого винить, кроме себя самой. Услышав мои слова, она как-то странно взглянула на меня, хотела что-то сказать, но помедлила и заговорила совсем о другом.

Я помнил, что наше венчание держалось в тайне от слуг; наверное, думал я, с тем, чтобы объявить о нем, когда истечет год со дня смерти Эмброза; возможно, она боялась, что я могу проявить неосторожность в присутствии Сикома, и потому держал язык за зубами. Через два месяца мы всем объявим о нашем браке, а до тех пор я запасусь терпением. Думаю, с каждым днем я любил ее все сильнее; да и она была гораздо более нежна и ласкова, чем когда-либо раньше.

Когда я в первый раз спустился вниз и вышел из дома, меня поразило, как много она успела сделать за время моей болезни. Дорожка с террасами была закончена, будущий водоем нижнего сада рядом с дорожкой выкопан на всю его огромную глубину — оставалось лишь выложить камнями дно и берега. Я стоял на

возвышающейся над водоемом террасе и с непонятным самому себе чувством смотрел в разверзшуюся подо мной бездну, темную, зловещую. Работавшие внизу люди подняли головы и, улыбаясь, смотрели на меня.

Тамлин, светясь от гордости (Рейчел отправилась навестить его жену), проводил меня в цветник, и, хотя камелии уже осыпались, еще цвели рододендроны, оранжевый барбарис и склоненные в сторону поля ветви раkitника роняли лепестки с поникших гроздей нежно-золотистых соцветий.

— На будущий год нам придется пересадить их, — сказал Тамлин. — При той скорости, с какой они растут, ветки протянутся слишком близко к полю и семена погубят скот.

Он протянул руку к ветке, и я заметил, что на месте облетевших соцветий уже образуются стручки с мелкими семенами внутри.

— По ту сторону от Сент-Остелла один парень умер, поев их, — сказал Тамлин и бросил стручок через плечо.

Я забыл, сколько времени цветет раkitник, да и другие растения тоже, забыл, как выглядят их цветы, но вдруг вспомнил поникшее дерево в небольшом дворике итальянской виллы и женщину из сторожки, которая выметала такие же стручки.

— Во Флоренции, где у миссис Эшли была вилла, — сказал я, — росло дерево, похожее на это.

— Да, сэр? Как я понимаю, в тамошнем климате чего только не растет.

Прекрасное, должно быть, место. Немудрено, что госпожа хочет вернуться туда.

— Не думаю, что у нее есть намерение вернуться, — возразил я.

— Очень рад, сэр, — сказал он, — но мы слышали другое. Будто она только и ждет, чтобы вы поправились, а потом уедет.

Уму непостижимо, как распространяются обрывки сплетен и слухов, и я подумал, что единственный способ остановить их — это всем объявить о нашем браке. Но я не решался заговорить с ней на эту тему. Мне казалось, что раньше, до моей болезни, у нас уже был такой разговор и она очень рассердилась.

Однажды вечером, когда мы сидели в будуаре и я пил tisana, как всегда теперь перед сном, я сказал Рейчел:

— По округе ходят новые слухи.

— Что на сей раз?

Рейчел подняла голову и взглянула на меня.

— Да то, что вы собираетесь вернуться во Флоренцию.

Она не сразу ответила, только вновь склонила голову над вышиванием.

— У нас еще будет время решить этот вопрос, — сказала она. — Сперва вы должны поправиться и окрепнуть.

Я в недоумении посмотрел на нее. Значит, Тамлин не так уж ошибался. В глубине души она не рассталась с мыслью поехать во Флоренцию.

— Вы еще не продали виллу? — спросил я.

— Еще не продала, — ответила она. — Подумав, я решила вовсе не продавать ее и даже не сдавать. Теперь мои обстоятельства изменились, и я могу позволить себе сохранить ее.

Я молчал. Я не хотел обижать ее, но мысль содержать два дома была мне не по вкусу. Я ненавидел самый образ этой виллы, который по-прежнему жил в моей памяти и который, как мне казалось, она теперь тоже должна ненавидеть.

— Вы хотите сказать, что намерены провести там зиму? — спросил я.

— Вероятно, — сказала она, — или конец лета. Но сейчас рано говорить об этом.

— Я слишком долго бездельничал, — сказал я. — Мне не следовало бы уезжать из имения, не подготовившись к зиме, да и вообще не дело надолго покидать его.

— Возможно, и нет, — сказала она. — Откровенно говоря, я не решилась бы уехать, если бы имение не оставалось под вашим присмотром. Может быть, вы навестите меня весной, и я покажу вам Флоренцию.

После перенесенной болезни я с трудом соображал, и смысл ее слов не дошел до меня.

— Навестить вас? — спросил я. — Вы так представляете себе нашу жизнь? Целые месяцы вдали друг от друга?

Она отложила вышивание и посмотрела на меня. В ее глазах промелькнуло беспокойство, на лицо набежала тень.

— Филипп, дорогой, я ведь сказала, что не хочу говорить сейчас о будущем. Вы только что оправились после опасной болезни, еще не

время строить планы. Даю вам слово, что не покину вас, пока вы окончательно не поправитесь.

— Но зачем вообще надо уезжать? — настаивал я. — Вы здесь своя. Это ваш дом.

— У меня есть еще и вилла, — сказала она, — много друзей и жизнь... там, далеко. Да, я знаю, она не похожа на здешнюю, но я к ней привыкла. Я провела в Англии восемь месяцев и чувствую, что мне снова пора сменить обстановку. Будьте благоразумны, постарайтесь понять.

— Наверное, я ужасный эгоист, — медленно проговорил я. — Я не подумал об этом.

Значит, придется смириться с тем, что она пожелает делить время между Англией и Италией, и, поскольку я буду вынужден поступать также, надо заняться поисками управляющего, чьим заботам можно верить имение.

— Может быть, крестный кого-нибудь знает, — вслух подумал я.

— Кого-нибудь? Для чего? — спросила она.

— Как для чего? Чтобы принять управление имением на время нашего отсутствия, — ответил я.

— Едва ли это необходимо, — сказала она. — Вы пробудете во Флоренции не больше нескольких недель, если приедете. Хотя, возможно, она вам так понравится, что вы решите задержаться. Весной Флоренция прекрасна.

— К черту весну, — сказал я. — Когда бы вы ни решили отправиться, я поеду с вами.

И опять на ее лице тень, в глазах — смутное опасение.

— Мы вернемся к этому, — сказала она, — посмотрите, уже начало десятого, вы еще не засиживались так поздно. Позвать Джона или вы сами справитесь?

— Не надо никого звать.

Я медленно поднялся с кресла — у меня почему-то ослабели ноги, — опустился рядом с ней на колени и обнял ее.

— Это просто невыносимо, — сказал я, — моя комната... одиночество... а вы так близко, в нескольких шагах по коридору... Может быть, сказать им?

— Сказать? О чем? — спросила она.

— О том, что мы обвенчались, — ответил я.

Она сидела, замерев в моих руках, не вздрогнула, не шелохнулась.

Казалось, она окоченела, словно жизнь и душа отлетели от нее.

— О Боже... — прошептала она; затем положила руки мне на плечи и посмотрела в глаза:

— Что вы имеете в виду, Филипп?

В голове у меня застучало, будто проснулось запоздалое эхо боли, мучившей меня последние недели. Удары раздавались все глубже, глубже, и с ними пришел страх.

— Скажите слугам, пожалуйста, — попросил я. — Тогда я могу оставаться с вами, и в этом не будет ничего неестественного, ничего предосудительного — ведь мы обвенчались...

Я увидел выражение ее глаз, и голос мой замер.

— Но, Филипп, дорогой, мы не обвенчались! — сказала она.

Что-то лопнуло у меня в голове.

— Обвенчались, — сказал я, — разумеется, обвенчались. Неужели вы забыли?

Но когда это произошло? Где находится церковь? Кто был священником? Моя голова снова раскалывалась от боли, комната плыла перед глазами.

— Скажите, что это правда, — проговорил я.

И вдруг я понял, что это иллюзия и счастье последних недель не более чем плод моего собственного воображения. Мечта была разбита.

Я уронил голову ей на колени и зарыдал; даже ребенком не плакал я так горько. Она крепко прижала меня к себе и, не говоря ни слова, гладила мои волосы. Вскоре я взял себя в руки и в полном изнеможении откинулся на спинку кресла. Она принесла мне что-то выпить и села рядом на скамеечку. Тени летнего вечера играли в комнате. Летучие мыши выползли из своих убежищ под крышей и кружили в сгущающихся за окнами сумерках.

— Лучше бы вы дали мне умереть, — сказал я.

Она вздохнула и коснулась рукой моей щеки.

— Если вы будете говорить так, — промолвила она, — вы убьете и меня тоже. Сейчас вам плохо, потому что вы еще слишком слабы. Но скоро вы окрепнете и увидите все другими глазами. Вы снова займетесь делами по имению, вам придется наверстать многое, что

было упущено за время вашей болезни. Впереди целое лето. Вы снова будете купаться, ходить под парусом...

По ее голосу я понимал, что все это она говорит с тем, чтобы убедить себя, а не меня.

— Что еще? — спросил я.

— Вы хорошо знаете, что счастливы здесь, — сказала она. — Это ваша жизнь, и так будет всегда. Вы отдали мне имение, но я всегда буду смотреть на него как на ваше достояние. В каком-то смысле наши отношения могут быть отношениями доверенного лица и доверителя.

— Вы имеете в виду, что мы станем обмениваться письмами из Италии в Англию, месяц за месяцем, и так — круглый год? Я буду писать вам: «Дорогая Рейчел, расцвели камелии», а вы ответите мне: «Дорогой Филипп, рада это слышать. Мой розовый сад в полном порядке». Именно такое будущее ждет нас?

Я представил себе, как по утрам после завтрака в ожидании почты слоняюсь по подъездной аллее перед домом, отлично зная, что не получу ничего, кроме какого-нибудь счета из Бодмина.

— Вполне вероятно, — сказала она, — что я буду приезжать сюда каждое лето — проверить, все ли в порядке.

— Как ласточки, — заметил я, — которые прилетают по весне, а в первую неделю сентября покидают наши края.

— Я уже предложила вам навестить меня весной, — сказала она. — В Италии вам многое понравится. Вы никогда не путешествовали... точнее, всего один раз. Вы совсем не знаете мир.

Она говорила, как учитель, который успокаивает капризного ребенка.

Впрочем, возможно, именно так она и смотрела на меня.

— То, что я видел, — ответил я, — отбило у меня охоту знакомиться с остальным. Что вы мне предложите? С путеводителем в руках околачиваться по соборам и музеям? Общаться с незнакомыми людьми, дабы расширить мой кругозор? Уж лучше предаваться размышлениям дома и глядеть на дождь.

В моем голосе звучала горечь, я не мог сдержать ее. Она снова вздохнула, словно подыскивая новый довод, который убедил бы меня, что все хорошо.

— Еще раз говорю вам: когда вы поправитесь, будущее покажется вам совсем другим. Ведь, право же, ничего не изменилось. Что касается денег...

Она сделала паузу и взглянула на меня.

— Денег? — переспросил я.

— Денег на имение, — продолжала она. — Все будет поставлено на надлежащую основу, и вы получите вполне достаточно, чтобы содержать имение без потерь, я же возьму с собой столько, сколько мне необходимо. Этот вопрос сейчас улаживается.

Что касается меня, то хоть бы она забрала все до последнего фартинга.

Какое отношение имели подобные мелочи к моим чувствам к ней? Но она снова заговорила:

— Вы должны продолжить работы по имению, те, которые сочтете оправданными. Вы же знаете, что я не стану задавать лишних вопросов, можете даже не присылать мне счета, я полагаюсь на ваше суждение. Да и ваш крестный всегда поможет советом. Пройдет совсем немного времени, и все покажется вам таким же, как до моего приезда.

В комнате сгустились сумерки. В окутавшем нас мраке я не видел ее лица.

— Вы действительно верите тому, что говорите? — спросил я ее.

Она ответила не сразу. К уже приведенным доводам в пользу моего присутствия в имении она искала еще один, самый убедительный. Но такового не существовало. И она отлично это знала. Она повернулась ко мне и подала руку.

— Должна верить, — сказала она, — иначе мне не будет покоя.

За те месяцы, что я знал ее, она часто отвечала на вопросы, серьезные или не очень, которые я ей задавал. Некоторые ответы бывали шутивными, некоторые — обтекаемыми, но в каждом из них чувствовались женская уклончивость и недосказанность. И вот наконец прямой ответ, идущий от сердца. Ей необходимо верить, будто я счастлив, иначе ей не будет покоя. Я покинул мир иллюзий лишь затем, чтобы теперь в него вошла Рейчел. Не могут два человека жить одной мечтой. Разве что во тьме, как бы понарошку. Но тогда каждый из них нереален.

— Что ж, уезжайте, если хотите, — сказал я, — но не теперь. Подарите мне еще несколько недель, чтобы я сохранил их в памяти. Я не путешественник.

Мой мир — это вы.

Я пытался избежать будущего и спастись. Но, обнимая ее, я чувствовал, что все переменилось: ушла вера, ушло самозабвение первого порыва.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Мы больше не говорили про ее отъезд. Мы оба старались не вспоминать о том, что он неизбежен. Ради нее я старался выглядеть веселым и беззаботным.

То же самое она делала ради меня. С наступлением лета я быстро окреп, по крайней мере внешне; правда, иногда неожиданно и без видимой причины возвращались головные боли, хоть и не такие сильные, как раньше.

Рейчел я про них не говорил — к чему? Их вызывали не утомление, не слишком долгое пребывание на воздухе, а самые обыкновенные мысли. Толчком могли послужить даже вопросы, с которыми арендаторы приходили ко мне в контору; я становился рассеянным и был не в состоянии дать им точный ответ.

Однако чаще это случалось из-за нее. Когда после обеда мы сидели перед домом у окна гостиной — теплая июньская погода позволяла нам оставаться на воздухе часов до десяти вечера, — я смотрел на нее и вдруг замечал, что стараюсь отгадать, какие мысли занимают ее, пока она, откинувшись на спинку стула и глядя, как сумерки подкрадываются к деревьям на краю лужайки, пьет свою tisana. Может быть, в глубине души она размышляет над тем, как долго ей еще томиться в этом уединении? Может быть, втайне от меня думает: «Он уже поправился, и на следующей неделе я могу спокойно уехать»?

Вилла Сангаллетти, там, в далекой Флоренции, обрела для меня иные краски, иную атмосферу. Вместо тьмы за закрытыми ставнями, как во время моего единственного визита туда, я видел ее ярко освещенной, с распахнутыми окнами. Незнакомые люди, которых она называла своими друзьями, бродят из комнаты в комнату; везде веселье, смех, громкие разговоры. И дом и сад сияют огнями, бьют все фонтаны. Она подходит к одному гостю, к другому — улыбающаяся, непринужденная, хозяйка своих владений. Да, то была жизнь, к которой она привыкла, которую любила и понимала. Месяцы, проведенные со мной, — всего лишь интерлюдия. И, поблагодарив за них судьбу, она с радостью вернется домой, где ей все близко и дорого.

Я рисовал себе картину ее приезда: Джузеппе и его жена широко распахивают чугунные ворота, чтобы впустить карету, и вот она в радостном возбуждении идет по комнатам, которые так давно не видела, задает слугам вопросы, выслушивает их ответы, вскрывает во множестве накопившиеся письма, спокойные, безмятежные, мириадами нитей вновь связывающие ее с тем существованием, которое мне не дано ни познать, ни разделить. Сколько дней и ночей, но уже без меня... не моих...

Вскоре она начинала чувствовать на себе мой взгляд и спрашивала:

— Что случилось, Филипп?

— Так, ничего, — отвечал я.

И, видя, как на ее лицо набегает тень сомнения и тревоги, я ощущал себя обузой, которую она вынуждена терпеть. Уж лучше избавиться ее от моей персоны!

Я старался целиком, как бывало прежде, отдаваться делам по имению и самым обыденным занятиям, но и то и другое перестало интересовать меня. Что, если бы Бартонские акры высохли от недостатка дождей? Едва ли это взволновало бы меня. А если бы наши племенные быки получили призы на выставке и стали чемпионами графства, то-то было бы славно? Да, возможно, но — в прошлом году. А теперь — какое пустое торжество...

Я видел, что падаю в глазах арендаторов, которые раньше смотрели на меня как на своего хозяина.

— Вы еще не оправались после болезни, мистер Филипп, — сказал мне Билли Роу, фермер из Бартона, и в голосе его звучало нескрываемое разочарование тем, что я обманул ожидания старика и не проявил энтузиазма по поводу его успехов.

Так было и с остальными. Даже Сиком озадачил меня.

— Похоже, вы еще не совсем выздоровели, мистер Филипп, — сказал он как-то. — Вчера вечером мы говорили об этом в комнате дворецкого. «Что с хозяином? — спросил меня Тамлин. — Молчит, как привидение в канун Дня всех святых, ни на что не смотрит». Я бы посоветовал марсалу по утрам. Для восстановления крови нет ничего лучше стаканчика марсалы.

— Передайте Тамлину, — сказал я, — чтобы он занимался своими делами.

Я совершенно здоров.

К счастью воскресные обеды в обществе Паско и Кендаллов еще не возобновились. Наверное, бедная Мэри Паско, которая, как только я заболел, вернулась в отцовский дом, сообщила близким, что я сошел с ума. Когда я впервые после болезни приехал в церковь, она смотрела на меня с явным подозрением, а все семейство разглядывало меня с неуместной жалостью и осведомлялось о моем самочувствии приглушенными голосами и отводя взгляды.

Приехал меня навестить и крестный с Луизой. Они тоже держались не совсем обычно — непривычная смесь бодрости и сочувствия, подходящая для общения с больным ребенком; и я понимал, что их попросили не затрагивать тем, которые могли бы причинить мне беспокойство. Мы вчетвером сидели в гостиной, как абсолютно посторонние люди. Крестному, думал я, очень уж не по себе, он жалеет, что приехал, но почитает своим долгом навестить меня, тогда как Луиза каким-то непостижимым женским чутьем догадывается, что здесь произошло, и ежится при одной мысли об этом. Рейчел, как всегда, владела ситуацией и поддерживала течение беседы на должном уровне. Выставка в графстве, обручение средней мисс Паско, теплая погода, возможные перемены в правительстве — общие слова, безобидные темы... Но если бы мы высказывали то, что у нас на уме...

«Скорее уезжайте из Англии, пока вы не погубили себя, а заодно и этого мальчика», — крестный.

«Ты любишь ее сильнее прежнего. Я вижу это по твоим глазам», — Луиза.

«Мне во что бы то ни стало надо не позволить им волновать Филиппа», — Рейчел.

И я: «Оставьте меня с ней, уйдите...»

Вместо этого мы соблюдали учтивость и лгали. Когда визит подошел к концу, каждый из нас вздохнул с облегчением, и я, провожая взглядом экипаж, в котором Кендаллы, без сомнения довольные тем, что наконец покинули наш дом, катили по подъездной аллее, пожалел, что не могу, как в старых волшебных сказках, обнести имение высокой оградой и не подпускать к нему посетителей, а заодно и беду.

Хотя Рейчел ничего не говорила, мне казалось, что она предпринимает первые шаги к отъезду. Однажды вечером я застал ее за разборкой книг; она перебирала их, как человек, раздумывающий над тем, какой том взять с собой, а какой оставить. В другой раз, сидя за бюро, она приводила в порядок бумаги, бросала в корзину ненужные письма, разорванные листки, а остальное перевязывала лентой. Стоило мне войти в будуар, как она сразу бросала свои занятия, брала в руки вышивание или просто садилась у окна, но обмануть меня ей не удавалось никогда. Чем объяснить неожиданное желание навести в будуаре порядок, кроме как не намерением вскоре оставить его пустым?

В сравнении с тем, что было совсем недавно, комната казалась мне оголенной. В ней недоставало мелочей. Рабочей корзинки, которая всю зиму и весну стояла в углу, шали, которая прежде висела на подлокотнике кресла, карандашного рисунка дома, зимой подаренного Рейчел одним из ее посетителей и с тех пор всегда стоявшего на камине, — всего этого больше не было.

Представшая передо мной картина перенесла меня в детство, в те дни, когда я в первый раз собирался в школу. Незадолго до отъезда Сиком провел уборку в детской, связал в пачки книги, которым предстояло отправиться со мной, а остальные, те, что я не особенно любил, сложил в отдельную коробку, чтобы раздать детям из имения. Там же были сложены изрядно потрепанные курточки, из которых я давно вырос; помню, он уговаривал меня отдать их мальчикам помладше, кому не так повезло, как мне, а я возмутился. Мне казалось, будто он отнимает у меня мое счастливое прошлое. Подобная атмосфера царила теперь в будуаре Рейчел. Шаль... Она отдала ее, потому что в теплом климате она ей не понадобится? Рабочая корзинка... Наверное, разобрана и теперь покоится на дне какого-нибудь чемодана? Но самих чемоданов пока не видно. Они будут последним предупреждением. Тяжелые шаги на чердаке — и по лестнице спускаются молодые слуги, неся перед собой коробки, от которых пахнет паутиной и камфарой. Тогда я узнаю худшее и, как собака, чье безошибочное чутье угадывает близкие перемены, стану ждать конца. И еще одно: по утрам она стала уезжать в экипаже, чего прежде никогда не делала. Она объяснила мне, что хочет кое-что купить и заехать в банк. Ни в том ни в другом не было ничего

необычного. Я полагал, что на это ей хватит одной поездки. Но на одной неделе она уезжала трижды, с промежутком всего лишь в день, и дважды — на следующей. В первый раз утром. Во второй — днем.

— На вас вдруг свалилось чертовски много покупок, — сказал я ей, — да и дел тоже...

— Я все сделала бы раньше, — ответила она, — но не смогла из-за вашей болезни.

— Вы встречаете кого-нибудь, пока ходите по городу?

— О нет, никого, заслуживающего внимания. Ах да, вспомнила: я видела Белинду Паско и помощника викария, с которым она обручена. Они передавали вам поклон.

— Но вас не было целый день, — настаивал я. — Уж не скупчили ли вы все содержимое мануфактурных лавок?

— Нет, — сказала она. — Вы и впрямь слишком любопытны и назойливы.

Неужели я не могу распорядиться подать мне экипаж? Или вы боитесь утомить лошадей?

— Если хотите, поезжайте в Бодмин или в Труро, — сказал я. — Там магазины лучше и есть на что посмотреть.

Она не проявила к моему предложению никакого интереса. Наверное, подумал я, ее дела сугубо личного свойства, раз она так сдержанна.

Когда она приказала подать экипаж в следующий раз, Веллингтон повез ее один, без грума. У Джимми болело ухо. Выйдя из конторы, я увидел, что мальчик сидит в конюшне, прижимая руки к больному месту.

— Обязательно попроси у госпожи немного масла, — сказал я ему. — Мне говорили, что это самое подходящее лекарство.

— Да, сэр, — жалобно ответил он, — она обещала что-нибудь подыскать, как только вернется. Похоже, я вчера застудил его. На причале сильно дуло.

— А что ты делал на причале? — спросил я.

— Мы долго ждали госпожу, — ответил грум, — так долго, что мистер Веллингтон решил покормить лошадей в «Розе и Короне», а меня отпустил посмотреть на лодки в гавани.

— Значит, госпожа целый день ходила по магазинам? — спросил я.

— Нет, сэ́р, — возразил он, — она вовсе не ходила по магазинам. Она, как всегда, сидела в кабинете в «Розе и Короне».

Я недоверчиво уставился на мальчика. Рейчел в кабинете «Розы и Короны»?

Неужели она пила чай с хозяином гостиницы и его женой? Я чуть было не задал еще несколько вопросов, но передумал. Возможно, он проговорился, и Веллингтон выберит его за болтливость. Казалось, теперь от меня все скрывают. Домашние объединились против меня в заговоре молчания.

— Ну ладно, Джим, — сказал я, — надеюсь, твое ухо скоро пройдет.

И вышел из конюшни.

Здесь явно крылась какая-то тайна. Неужели Рейчел так истосковалась по обществу, что ищет его в городской гостинице? Может быть, зная мою нелюбовь к посетителям, она снимала на утро или на день кабинет и приглашала своих знакомых навестить ее там? Когда она вернулась, я не стал говорить об этом, а только спросил, приятно ли она провела день, и она ответила, что да, приятно.

На следующий день Рейчел не распорядилась заложить экипаж. За ленчем она сказала мне, что ей надо написать несколько писем, и поднялась в будуар.

Я сказал, что пройду́сь в Кумбе повидаться с арендатором фермы. Я так и поступил. Но, пробыв там совсем недолго, я сам отправился в город. По случаю субботы и хорошей погоды на улицах было много людей, съехавшихся из соседних городков; никто из них не знал меня в лицо, и я шел в толпе, не привлекая к себе внимания. Я не встретил ни одного знакомого. «Знать», по определению Сикома, никогда не приезжает в город днем и никогда — в субботу.

Придя в гавань, я облокотился на невысокий парапет рядом с причалом и увидел, что мальчишки, удившие с лодки рыбу, запутались в лесках. Вскоре они подгребли к ступеням причала и выкарабкались из лодки. Одного из них я узнал. Это был парень, который прислуживал в «Розе и Короне». На бечевке он нес трех или четырех окуней.

— Хороший улов, — сказал я. — Пойдут на ужин?

— Не на мой, сэ́р. — Парень улыбнулся. — Но ручаюсь, в гостинице им будут рады.

— Вы теперь подаете окуней к сидру? — спросил я.

— Нет, — ответил он. — Это рыба для джентльмена из кабинета. Вчера ему подавали лосося прямо из реки.

Джентльмен из кабинета... Я вынул из кармана несколько серебряных монет.

— Так-так, — сказал я. — Надеюсь, он хорошо тебе платит. На, возьми на счастье. И кто он, этот ваш постоялец?

Парень криво улыбнулся.

— Не знаю его имени, сэр, — ответил он. — Говорят, итальянец. Из заморских краев.

И он побежал по причалу; рыбины подпрыгивали на бечевке, перекинутой через его плечо. Я взглянул на часы. Было начало четвертого. Джентльмен из заморских краев, несомненно, обедает в пять. Я прошел через городок и по узкому коридору гребного вала дошел до сарая, где Эмброз держал паруса и такелаж парусной лодки, которой он обычно пользовался. К причальному кольцу была привязана небольшая плоскодонка. Я столкнул ее на воду, прыгнул в нее и стал грести в сторону гавани. На некотором расстоянии от причала я остановился.

От судов, стоявших на якоре в гавани, к причалу и обратно двигалось несколько лодок; сидевшие на веслах люди не обращали на меня никакого внимания, а если и обращали, то принимали за обыкновенного рыболова. Я опустил в воду груз, сложил весла и стал наблюдать за «Розой и Короной».

Дверь бара выходила на боковую улочку. Ею он, разумеется, не воспользуется.

Если он вообще придет, то войдет через главный вход. Прошел час. Часы на церкви пробили четыре. Я все ждал. Без четверти пять я увидел, что из парадной двери гостиницы вышла жена хозяина; она огляделась, словно ища кого-то. Постоялец опаздывал к обеду. Рыбу уже приготовили. Она что-то крикнула малому, который стоял у лодок, привязанных к ступеням причала, но слов я не разобрал. Он крикнул в ответ, отвернулся и показал рукой на гавань. Женщина кивнула и ушла в гостиницу. В десять минут шестого я увидел приближающуюся к ступеням причала лодку. На веслах сидел крепкий парень, а сама лодка, заново покрытая лаком, по виду была

одной из тех, что нанимают приезжие, которые не прочь доставить себе удовольствие прокатиться по гавани.

На корме сидел мужчина в широкополой шляпе. Лодка причалила к лестнице.

Мужчина вышел из лодки, после непродолжительных препирательств расплатился с лодочником и направился к гостинице. Прежде чем войти в «Розу и Корону», он немного помедлил на ступенях, снял шляпу и огляделся, будто оценивал все, что видит перед собой. Я не мог ошибиться. Я находился так близко от него, что мог бы швырнуть в него печеньем. Затем он вошел в гостиницу. Это был Райнальди.

Я поднял груз, догреб до сарая, крепко привязал лодку, прошел через городок и по узкой тропинке зашагал к скалам. Думаю, что четыре мили до дома я преодолел минут за сорок. Рейчел ждала меня в библиотеке. Обед отложили до моего возвращения. Она в волнении подошла ко мне.

— Наконец-то вы вернулись, — сказала она. — Я очень беспокоилась.

Где вы были?

— Развлекался греблей в гавани, — ответил я. — Прекрасная погода для прогулок. На воде куда лучше, чем в «Розе и Короне».

Испуг, блеснувший в ее глазах, окончательно подтвердил правильность моей догадки.

— Так вот, я знаю вашу тайну, — продолжал я. — Не надо придумывать лживых объяснений.

Вошел Сиком справиться, подавать ли обед.

— Подавайте, — сказал я, — и немедленно, я не буду переодеваться.

Я молча взглянул на нее, и мы пошли в столовую. Чужая неладное, Сиком был на редкость внимателен и услужлив. Как заботливый врач, он то и дело подходил ко мне, соблазняя попробовать блюда, которые ставил на стол.

— Вы слишком переутомляетесь, сэр, — сказал он, — добром это не кончится. Вы у нас опять заболаете.

Словно прося поддержки, старик взглянул на Рейчел. Она промолчала. Как только обед, во время которого мы почти не притронулись к еде, закончился, Рейчел встала со стула и пошла

наверх. Я последовал за ней. Войдя в будуар, она хотела закрыть передо мной дверь, но не успела — я быстро шагнул в комнату и прислонился спиной к двери. В ее взгляде снова промелькнула тревога. Она отошла от меня и встала у камина.

— Как давно Райнальди остановился в «Розе и Короне»? — спросил я.

— Это мое дело, — сказала она.

— И мое тоже. Отвечайте.

Видимо, она поняла: нечего и надеяться успокоить меня или обмануть очередными баснями.

— Что ж, я отвечу. Две недели назад.

— Зачем он здесь?

— Затем, что я попросила его приехать. Затем, что он мой друг. Затем, что мне нужен его совет, а зная вашу неприязнь к нему, я не могла пригласить его в этот дом.

— Зачем вам нужен его совет?

— Это опять-таки мое дело. Не ваше. Перестаньте вести себя как ребенок, Филипп, и постарайтесь хоть немного понять меня.

Я был рад, что она встревожена. Значит, она оказалась в затруднительном положении.

— Вы просите меня понять вас, — сказал я. — Неужели вы думаете, что я пойму обман и смирюсь с ним? Вы не можете отрицать, что эти две недели каждый день лгали мне.

— Если я и обманывала вас, то не по злему умыслу, — сказала она. — Я делала это только ради вас самого. Вы ненавидите Райнальди. Если бы вы узнали, что я встречаюсь с ним, эта сцена произошла бы раньше, и в результате вы снова заболели бы. О Господи! Неужели я вновь должна пройти через все это! Сперва с Эмброзом, а теперь с вами!

Ее лицо побелело, каждый мускул в нем напрягся, но трудно сказать — от страха или от гнева. Я стоял у двери и смотрел на нее.

— Да, — сказал я. — Я ненавижу Райнальди, как ненавидел его Эмброз.

На то есть причина.

— Боже мой, какая причина?

— Он влюблен в вас. Давно влюблен.

— Что за немыслимый вздор...

Сжав перед собой руки, она стала ходить взад и вперед по маленькой комнате — от камина к окну, от окна к камину.

— Он тот человек, который был рядом со мной во всех испытаниях и бедах. Который никогда не переоценивал меня и не старался видеть во мне то, чего нет. Он знает мои недостатки, мои слабости и не осуждает за них, а принимает меня такой, какая я есть. Без его помощи на протяжении всех тех лет, что я с ним знакома и о которых вам ничего не известно, я бы просто погибла. Райнальди — мой друг. Мой единственный друг.

Она замолкла и посмотрела на меня. Без сомнения, то, о чем она говорила, было правдой или настолько исказилось в ее сознании, что стало правдой — для нее. Слова Рейчел не изменили моего отношения к Райнальди.

Часть награды он уже получил. Годы, о которых, как она только что сказала, я ничего не знал. Остальное получит со временем. В следующем месяце, возможно, в следующем году — но получит, и уже сполна. Терпения ему было не занимать.

Не то что мне и Эмброзу.

— Отправьте его туда, откуда он явился, — сказал я.

— Он уедет, когда закончит дела, — ответила она, — но если он будет мне нужен, то останется. Предупреждаю: если вы снова приметесь мучить меня и угрожать мне, я приглашу его в этот дом как своего защитника.

— Вы не посмеете, — сказал я.

— Не посмею? Отчего же? Этот дом — мой.

Вот мы и дошли до открытой схватки. Ее слова были вызовом, который я не мог принять. Ее женский ум работал не так, как мой. Посылки были справедливы, но удары — не по правилам. Только физическая сила может обезоружить женщину. Я сделал шаг в ее сторону, но она уже стояла у камина, держась рукой за сонетку.

— Остановитесь, — крикнула она, — или я позвоню Сикому! Неужели вы хотите краснеть перед ним, когда я скажу ему, что вы пытались ударить меня?

— Я не собирался вас ударить, — возразил я и, обернувшись, распахнул дверь. — Что ж, зовите Сикома, если желаете. Расскажите ему обо всем, что произошло здесь между нами. Если вам так необходимы насилие и позор, давайте вкусим их в полной мере.

Она стояла рядом с сонеткой, я — рядом с открытой дверью. Она отпустила сонетку. Я не шевельнулся. Затем она посмотрела на меня — в ее глазах стояли слезы — и сказала:

— Женщина не может страдать дважды. Все это я уже испытала. — И, поднеся пальцы к горлу, добавила:

— Даже руки у себя на шее. Это тоже.

Теперь вы понимаете?

Я смотрел поверх ее головы, прямо на портрет над камином, и молодое лицо Эмброза, впривычку в меня пристальный взгляд, было моим лицом. Она одержала победу над нами обоими.

— Да, — сказал я, — понимаю. Если вы хотите видеться с Райнальди, пригласите его сюда. Мне легче будет видеть его здесь, чем знать, что вы тайком встречаетесь в «Розе и Короне».

И, оставив ее в будуаре, я пошел в свою комнату. На следующий день он приехал к обеду. За завтраком я получил от нее записку, в которой она просила разрешения пригласить его; вызов, брошенный мне накануне вечером, без сомнения, был забыт или из соображений целесообразности отложен, чтобы успокоить меня. В ответной записке я сообщил, что дам распоряжение Веллингтону привезти Райнальди в экипаже. Он прибыл в половине пятого.

Вышло так, что, когда он приехал, я был в библиотеке и Сиком по оплошности привел его ко мне, а не в гостиную. Я встал со стула и поздоровался. Он непринужденно протянул мне руку.

— Надеюсь, вы оправились от болезни, — сказал он вместо приветствия.

— Откровенно говоря, вы выглядите лучше, чем я ожидал. Я получал о вас весьма неутешительные сведения. Рейчел очень беспокоилась.

— Я действительно совершенно здоров.

— Преимущество юности. — сказал он. — Что значит иметь хорошие легкие и хорошее пищеварение! Всего несколько недель — и от болезни не остается и следа. Вы, разумеется, уже разъезжаете верхом и, разумеется, галопом. Тогда как мы, люди более солидного возраста — вроде вашей кузины Рейчел и меня, — ходим не спеша, дабы не утомиться. Я считаю, что короткий сон днем необходим людям среднего возраста.

Я предложил ему сесть, что он и сделал, с легкой улыбкой оглядываясь по сторонам.

— Пока в этой комнате ничего не изменилось, — сказал он. — Наверное, Рейчел намерена оставить ее как есть, чтобы сохранить атмосферу. Что ж, это неплохо. Деньгам можно найти лучшее применение. Она говорит, что со времени моего последнего визита в парке уже немало сделано. Зная Рейчел, я вполне допускаю это. Но прежде чем высказать свое отношение, мне надо все увидеть собственными глазами. Я считаю себя доверенным лицом, призванным сохранить баланс.

Он вынул из портсигара тонкую сигару и, не переставая улыбаться, закурил.

— Из Лондона я написал вам письмо. После передачи вами имени, — сказал он, — я отослал бы его, если бы не известие о вашей болезни. В письме почти не было ничего такого, чего я не мог бы сказать вам лично.

Просто я хотел поблагодарить вас за Рейчел и уверить в том, что приму все меры, дабы вы не слишком пострадали от этого. Я буду следить за всеми расходами.

Он выпустил облако дыма и устремил взгляд в потолок.

— Эти канделябры, — сказал он, — не слишком высокого вкуса. В Италии мы могли бы подыскать вам кое-что получше. Надо не забыть сказать Рейчел, чтобы она занялась этим. Хорошие картины, хорошая мебель, фарфор и бронза — разумное вложение денег. В конце концов вы обнаружите, что мы вернем вам имущество, вдвое возросшее в цене против прежнего. Однако это дело отдаленного будущего. К тому времени вы, несомненно, успеете вырастить собственных сыновей. Рейчел и я — старики в креслах на колесах... — Он рассмеялся. — А как поживает очаровательная мисс Луиза?

Я ответил, что, по-моему, она поживает неплохо. Я смотрел, как он курит сигару, и вдруг подумал, что руки у него слишком холеные для мужчины. В них было что-то слишком женственное, не соответствующее его облику, а большой перстень на мизинце правой руки казался совершенно неуместным.

— Когда вы возвращаетесь во Флоренцию? — спросил я.

Он смахнул в камин пепел, упавший на сюртук.

— Это зависит от Рейчел, — ответил он. — Я вернусь в Лондон закончить дела, а затем либо поеду домой подготовить виллу к ее приезду и предупредить слуг, либо дождусь ее и мы отправимся вместе. Вам, конечно, известно, что она намерена уехать?

— Да, — ответил я.

— Мне было приятно узнать, что вы не прибегли к давлению, с тем чтобы убедить ее остаться, — сказал он. — Я прекрасно понимаю, что за время болезни вы совершенно отвыкли обходиться без нее, да и она сама говорила мне об этом. Она всячески старалась щадить ваши чувства. Но, объяснил я ей, ваш кузен уже не ребенок, а мужчина. Если он не может стоять на ногах, то должен научиться. Разве я не прав?

— Абсолютно правы, — ответил я.

— Женщины, особенно Рейчел, в своих поступках руководствуются эмоциями. Мы, мужчины, как правило, хотя и не всегда, — рассудком. Я рад, что вы проявляете благоразумие. Когда весной вы навестите нас во Флоренции, то, возможно, позволите мне показать вам некоторые сокровища нашего города.

Вы не будете разочарованы.

Он выпустил в потолок еще одно облако дыма.

— Когда вы говорите «мы», то употребляете это слово в королевском смысле, как если бы город принадлежал лично вам, или оно взято из юридического лексикона? — поинтересовался я.

— Простите, — сказал он, — но я так привык действовать и даже думать за Рейчел, что не могу провести четкую грань между нею и собой и невольно употребляю именно это личное местоимение.

Он искоса взглянул на меня.

— У меня есть все основания полагать, что со временем я стану употреблять его в более интимном смысле. Но это, — он сделал жест рукой, в которой держал сигару, — в руке Божией. А вот и сама Рейчел.

Когда Рейчел вошла в комнату, он встал, я тоже; она подала ему руку, которую он взял в свои и поцеловал, и обратилась к нему по-итальянски.

Возможно, оттого, что я наблюдал за ними за обедом — его глаза, которые он не сводил с ее лица, ее улыбка, ее манеры, изменившиеся при его появлении, — не знаю, но я чувствовал, что меня начинает

тошнить. Все, что я ел, отдавало пылью. Даже tisana, приготовленная ею для нас троих, имела непривычный горький привкус. Я оставил их в саду и поднялся в свою комнату.

Уходя, я слышал, что они сразу перешли на итальянский. Я сидел у окна в кресле, в котором провел первые дни и недели выздоровления, она — рядом со мной; и мне казалось, что весь мир погрузился в пучину зла и внезапно пропитался желчью. Я не мог заставить себя спуститься вниз и попрощаться с Райнальди. Я слышал, как подали экипаж, слышал, как экипаж отъезжает от дома. Я продолжал сидеть в кресле. Вскоре Рейчел подошла к моей двери и постучала. Я не ответил. Она открыла дверь, вошла в комнату и, приблизившись, положила руку мне на плечо.

— В чем дело на сей раз? — спросила она. Она говорила таким тоном, словно ее терпению пришел конец. — Сегодня он был на редкость учтив и доброжелателен. Чем вы опять недовольны?

— Ничем, — ответил я.

— Он так хорошо говорит о вас! — сказала она. — Если бы вы его слышали, то поняли бы, что он очень высокого мнения о вас. Уверена, что сегодня вы не придрались бы ни к одному его слову. Если бы вы не были так упрямы и ревнивы...

Она задернула портьеры — в комнате уже стемнело. Даже в ее жесте, в том, как она коснулась портьеры, чувствовалось раздражение.

— Вы намерены до самой полуночи сгорбившись сидеть здесь? — спросила она. — Если — да, то чем-нибудь укройте, а то простудитесь. Что касается меня, я устала и пойду спать.

Она дотронулась до моей руки и вышла. Не ласка. Торопливый жест взрослого, который слишком утомлен, чтобы и дальше журить непослушного ребенка, и потому, махнув на все рукой, раздраженно треплет его по плечу.

«Ну-ну... ради Бога, хватит».

Той ночью ко мне вернулась лихорадка. Не с прежней силой, но близко к тому. Была ли то простуда, которую я подхватил, сидя в лодке в гавани двадцать четыре часа назад, — не знаю, только утром, едва поднявшись, я почувствовал головокружение, тошноту и озноб и был вынужден снова лечь в постель. Послали за врачом, и в моей раскалывающейся от боли голове настойчиво всплывала одна мысль: неужели я снова заболеваю и начинается вся эта жалкая история,

которую однажды я уже пережил? Врач объявил, что у меня не в порядке печень, и оставил лекарства. Но днем, когда Рейчел пришла посидеть со мной, мне показалось, что на ее лице то же выражение усталости и скуки, как и накануне вечером. По нему я мог представить себе, о чем она думает. «Неужели все начинается сначала? Неужели мне суждено до скончания века быть здесь сиделкой?» Когда она подавала мне лекарство, то обращалась со мной непривычно резко; чуть позже я почувствовал жажду и захотел пить, но не обратился к ней, боясь лишней раз побеспокоить.

В руках она держала книгу, которую не читала, и ее присутствие возле моей постели было исполнено молчаливого упрека.

— Если у вас есть другие дела, — наконец сказал я, — не сидите со мной.

— Что же еще должна я, по-вашему, делать? — спросила она.

— Может быть, вы хотите повидаться с Райнальди?

— Он уехал, — сказала она.

При этом известии у меня отлегло от сердца. Я почти забыл о недомогании.

— Он вернулся в Лондон? — осведомился я.

— Нет, — ответила она. — Вчера он отплыл из Плимута.

Я почувствовал невероятное облегчение, и мне пришлось отвернуться, чтобы она не догадалась об этом по моему лицу и не пришла в еще большее раздражение.

— Я думал, у него еще есть дела в Англии.

— Так и было, но мы решили, что их можно закончить по переписке. Дела более срочные требуют его присутствия дома. Он узнал, что судно отплывает в полночь, и уехал. Вы удовлетворены?

Райнальди покинул Англию. Этим я был удовлетворен. Но я не был удовлетворен ни местоимением «мы», ни тем, что она говорила о доме. Я знал, почему он уехал — предупредить слуг на вилле о прибытии госпожи. В этом и состояло срочное дело, требующее его присутствия. Мое время подходило к концу.

— Когда вы последуете за ним?

— Это зависит от вас, — ответила она.

Я подумал, что если захочу, то могу продолжать болеть. Жаловаться на боли, на тошноту. Притворяться. И протянуть еще несколько недель. А потом?

Ящики упакованы, будуар пуст, кровать в голубой спальне покрыта чехлом, как годы до ее приезда. И тишина.

— Если бы, — вздохнула она, — вы были менее обозлены, менее жестоки, эти последние дни могли бы быть такими счастливыми...

Разве я был обозлен? Разве я был жесток? Я так не думал. Мне казалось, что все дело в ней. И не существовало средства сломить ее суровость. Я потянулся к ее руке, она дала мне ее. Но и целуя руку Рейчел, я все равно думал о Райнальди.

Ночью мне снилось, что я поднялся к гранитной плите и вновь прочел погребенное под нею письмо. Сон был таким живым, что не стерся из памяти после моего пробуждения и преследовал меня все утро. Я встал с постели и, поскольку чувствовал себя достаточно хорошо, в полдень, как обычно, спустился вниз. Несмотря на все усилия, я не мог отделаться от желания перечитать спрятанное под гранитом письмо. Я не мог вспомнить, что говорилось в нем о Райнальди. Мне было необходимо знать, что написал о нем Эмброс. Днем Рейчел всегда поднималась к себе отдохнуть, и, как только она ушла, я незаметно вышел из дома, углубился в лес, прошел по аллее и, испытывая жгучее отвращение к тому, что собирался сделать, поднялся по тропинке над домом лесничего. Я подошел к гранитной плите. Опустился на колени и, раскопав руками землю, нащупал сырую кожу своей записной книжки. На зиму в ней поселился слизняк. На передней стороне обложки виднелся липкий след — черный, клейкий; слизняк прилип к коже. Я смахнул его пальцем, открыл записную книжку и вынул измятое письмо. Бумага промокла и размякла, слова почти выцвели, но их еще можно было разобрать. Я прочел письмо от начала до конца. Первую часть — более поспешно, хотя мне и показалось странным, что болезнь, вызванная совсем другой причиной, симптомами так напоминала мою. Но — к Райнальди...

«Шел месяц за месяцем (писал Эмброс), и я все чаще замечал, что за советом она предпочитает обращаться не ко мне, а к человеку, о котором я уже писал в своих письмах, к синьору Райнальди, другу и, как я полагаю, поверенному Сангаллетти. По моему, этот человек оказывает на нее пагубное влияние. Я подозреваю, что он влюблен в нее еще с той поры, когда Сангаллетти

был жив, и, хоть я до самого последнего, недавнего времени ни на миг не допускал, что он ей интересен, сейчас я не так в этом уверен. При упоминании его имени на ее глаза набегают тени, в голосе появляется особая интонация, что пробуждает во мне самые ужасные подозрения.

Я часто замечал, что воспитание, данное ей ее незадачливыми родителями, образ жизни, который она вела до и во время своего первого замужества и который мы оба обходили молчанием, привили ей манеру поведения, весьма отличную от той, что принята у нас дома. Узы брака не обязательно святы.

Кажется, у меня даже есть доказательство того, что он дает ей деньги.

Деньги, да простит мне Господь такие слова, в настоящее время — единственный путь к ее сердцу».

Вот она, фраза, которую я забыл и которая постоянно преследовала меня.

На сгибе слова были неразборчивы, но наконец я снова увидел слово «Райнальди».

«Я спускаюсь на террасу, — писал Эмброс, — и застаю там Райнальди.

При виде меня они замолкают, и мне остается лишь догадываться, о чем они беседовали. Однажды, когда она ушла в дом и я остался наедине с Райнальди, он неожиданно резко спросил меня про завещание. Как-то раз он случайно видел его перед нашей свадьбой. Он сказал мне, что при теперешнем положении вещей если я умру, то оставляю жену без наследства. Я знал об этом и даже сам составил завещание, исправляя ошибку; я поставил бы под ним свою подпись и засвидетельствовал бы ее, если бы мог быть уверен в том, что ее расточительность — явление временное и не пустило глубоких корней.

Между прочим, по новому завещанию она получила бы дом и имение в пожизненное пользование с условием, что управление ими полностью поручается тебе, а после ее смерти они переходят в твое владение. Оно еще не подписано по причине, о которой я уже сказал тебе.

Заметь, именно Райнальди спросил меня про завещание. Райнальди обратил мое внимание на упущение в том варианте, который сейчас имеет законную силу.

Она не заговаривает со мной на эту тему. Может быть, они обсуждали ее вдвоем? О чем они разговаривают, когда меня нет поблизости?

Вопрос о завещании встал в марте. Признаться, я был тогда нездоров, почти ослеп от головной боли, и, быть может, Райнальди, со свойственной ему холодной расчетливостью, заговорил о нем, полагая, что я могу умереть.

Возможно, так оно и есть. Возможно, они не обсуждали его между собой. Я не могу это проверить. Я часто ловлю на себе ее взгляд, настороженный, странный. А когда я обнимаю ее, у меня возникает чувство, будто она чего-то боится. Но чего... кого?..

Два дня назад, что, собственно, и побудило меня непременно написать тебе об этом, со мной случился приступ той же лихорадки, что свалила меня в марте. Совершенно неожиданный приступ. Начинаются резкие боли, тошнота, которые вскоре сменяются таким возбуждением, что я впадаю в неистовство и едва держусь на ногах от слабости и головокружения. Это, в свою очередь, проходит, на меня нападает неодолимая сонливость, и я падаю на пол или на кровать, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Не припомню, чтобы такое бывало с моим отцом. Головные боли — да, некоторая неуравновешенность — да, но не остальные симптомы.

Филипп, мальчик мой, единственное существо в мире, которому я могу довериться, скажи мне, что это значит, и, если можешь, приезжай ко мне.

Ничего не говори Нику Кендаллу. Ни слова не говори ни одной живой душе. Но главное — ничего не пиши в ответ, просто приезжай. Одна мысль преследует меня и не дает мне покоя. Неужели они пытаются отравить меня?

Эмброз».

На этот раз я не положил письмо обратно в записную книжку. Я порвал его на мелкие клочки и каблуком вдавил их в землю. Одним рывком я разодрал влажную от пребывания в земле записную книжку и бросил обе половинки через плечо; они упали в заросли

папоротника. Затем я отправился домой. Когда я вошел в холл, то, словно постскриптум к прочитанному мною письму, появился Сиком с почтовой сумкой, которую грум только что привез из города. Сиком дождался, пока я раскрыл ее. В сумке было несколько писем, адресованных мне, и одно для Рейчел; на нем стоял плимутский штемпель. С одного взгляда на тонкий паучий почерк я понял: письмо от Райнальди. Если бы Сиком не стоял рядом, я, наверное, забрал бы его себе. Теперь же мне не оставалось ничего другого, как отдать письмо старику, чтобы тот отнес его Рейчел.

Не лишенным иронии мне показалось и то, что, когда немного позднее я поднялся к ней, ничего не говоря о своей прогулке, о том, где я был, ее обращение со мной заметно изменилось. На смену недавней резкости пришла почти забытая нежность. Она протянула ко мне руки, улыбнулась и спросила, как я себя чувствую, отдохнул ли. И ни слова про письмо. Неужели это оно, спрашивал я себя во время обеда, привело ее в такое радостное возбуждение?

Сидя за столом, я пытался представить себе в общих чертах содержание письма: о чем он писал, как обращался к ней... короче говоря, было ли это любовное письмо? Разумеется, оно написано по-итальянски. Однако некоторые слова я бы, наверное, понял. Она научила меня нескольким фразам. Во всяком случае, по первым словам я догадался бы об их отношениях.

— Вы очень молчаливы, Филипп, — сказала она. — Вы здоровы?

— Да, — ответил я, — вполне здоров.

И покраснел, словно она прочла мои мысли и догадалась, что я собираюсь сделать.

После обеда мы поднялись в будуар. Она, как обычно, приготовила tisana и разлила ее по чашкам. На бюро, наполовину прикрытое ее носовым платком, лежало письмо Райнальди. Я, как зачарованный, почти не отрывал от него глаз.

Соблюдал ли итальянец формальности в письме к женщине, которую любит? Или отплыл из Плимута, сожалея о предстоящих нескольких неделях разлуки, но, хорошо пообедав, выпив коньяку и выкурив сигару, он отбросил учтивость и благоразумие и, улыбаясь от удовольствия, позволил себе излить свою любовь на бумаге?

— Филипп, — сказала она, — вы не отрываете глаз от угла комнаты, словно увидели привидение. Что случилось?

— Уверяю вас, ничего, — ответил я.

И, опустившись перед ней на колени, впервые солгал, разыграв внезапный порыв любви и нежности, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы и заставить ее забыть про лежащее на бюро письмо.

Поздно ночью, далеко за полночь, войдя в ее спальню и немного постояв над ней с зажженной свечой в руке, чтобы проверить, спит ли она, я прошел в будуар. Платок по-прежнему лежал на бюро, но письмо исчезло. Я заглянул в камин. Пепла в нем не было. Я выдвинул ящик бюро и увидел аккуратно сложенные бумаги; письма среди них не оказалось. Его не было ни в углублениях для писем, ни в ящичке рядом с ними. Оставался только один ящик, но он был заперт. Я вынул из кармана нож и вставил его в замочную скважину.

Из ящика показалось что-то белое. Я вернулся в спальню, со столика у кровати взял связку ключей и попробовал самый маленький. Он подошел. Ящик открылся.

Я засунул в него руку и вытащил конверт, но мое напряженное волнение сменилось разочарованием: то, что я держал в руках, не было письмом Райнальди. Это был обыкновенный конверт, а в нем — стручки с семенами.

Семена высыпались из стручков мне в руку и упали на пол. Они были очень маленькие и зеленые. Я во все глаза уставился на них и вдруг вспомнил, что раньше уже видел стручки и семена, очень похожие на эти. Точно такие Тамлин бросил через плечо в сад, точно такие же выметала служанка со двора виллы Сангаллетти.

Семена ракичника, ядовитые для скота и для людей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Я положил конверт обратно в ящик. Повернул ключ. Возвратил связку ключей на столик. Я не взглянул на спящую. Я пошел в свою комнату.

Думаю, много недель я не был так спокоен. Я подошел к умывальнику, где рядом с кувшином и тазом стояли две бутылочки с лекарством, которое прописал мне врач. Я вылил их содержимое в окно. Затем с зажженной свечой спустился вниз и прошел в буфетную. Слуги давно разошлись по своим комнатам. На столе у раковины для мытья посуды стоял поднос с двумя чашками, из которых мы пили tisana. Я знал, что молодой Джон иногда ленится по вечерам и оставляет чашки невымытыми до утра. Так было и на этот раз. На дне обеих чашек остался осадок.

При свете свечи я внимательно осмотрел их. Они казались одинаковыми. Я сунул мизинец и попробовал осадок на вкус — сперва из ее чашки, затем из моей.

Была ли какая-нибудь разница? Я затруднялся определить. Возможно, в моей чашке осадок был немного гуще. Но я бы не поклялся в этом. Я вышел из буфетной и снова поднялся к себе.

Я разделся и лег в постель. Лежа в темноте, я не ощущал ни гнева, ни страха. Только сострадание. Я видел в ней ту, кто, соприкоснувшись со злом и неся на себе его печать, не отвечает за свои поступки. Принуждаемая и руководимая человеком, имеющим над нею власть, по вине рождения и обстоятельств лишенная нравственного чувства, она под влиянием инстинкта и порыва способна на роковой поступок. Я хотел спасти ее от нее самой, но не знал как. Мне казалось, что Эмброз где-то рядом и я вновь живу в нем. Или он во мне. Письмо, которое он написал мне и которое я разорвал на клочки, не достигло цели.

Я почти верил, что по-своему, любовью странной, какой любить могла лишь она, Рейчел любила нас обоих, но со временем мы перестали быть необходимыми для нее. В конечном счете ее действиями руководило нечто иное, нежели слепое чувство. Возможно, в ней жило два существа и верх одерживало то одно, то

другое. Не знаю. Луиза сказала бы, что Рейчел всегда была тем, вторым. Что с самого начала каждая мысль, каждый поступок диктовались определенным умыслом. Началось ли это в ту пору, когда после смерти отца она жила с матерью во Флоренции или еще раньше? Это отношение к жизни, этот способ жить? Сангаллетти, который и для Эмброза, и для меня всегда был не более чем бесплотная, лишенная субстанции тень... Умирая на дуэли, может быть, он тоже страдал? Луиза, несомненно, сказала бы, что страдал. Луиза настаивала на том, что с первой же встречи с Эмброзом два года назад Рейчел строила планы выйти за него замуж из-за денег. А когда он не дал ей того, чего она хотела, замыслила его смерть. Так устроен ум Луизы. А ведь она не читала письма, которое я разорвал на клочки. Каков был бы ее приговор, если бы она его прочла? Свершенное однажды и оставшееся нераскрытым женщина может совершить и во второй раз. И избавиться от очередной обузы.

Что ж, письмо порвано; ни Луиза и никто другой никогда не прочтут его.

Содержание письма теперь утратило реальный смысл. Я придавал ему значение не больше, чем конечной фразе в последней записке Эмброза, от которой Райнальди и Ник Кендалл отмахнулись как от бреда душевнобольного: «Все-таки она доконала меня, Рейчел, мука моя».

Мне одному дано было знать, что он говорил правду.

И вновь я вернулся туда. Вернулся на мост через Арно, где давал клятву.

Возможно, клятва и отличается от всего остального тем, что ею нельзя пренебрегать, но в положенное время необходимо выполнить. И это время пришло...

Следующий день был воскресенье. Как и в каждое воскресенье со времени ее приезда, к дому подкатил экипаж, чтобы отвезти нас в церковь. День стоял ясный, теплый. Лето было в полном разгаре. Она спустилась вниз в темном платье из легкой материи, в соломенной шляпке и с зонтиком от солнца в руках. Она с улыбкой пожелала Веллингтону и Джиму доброго утра, и я помог ей подняться в экипаж. Когда я сел рядом с ней и мы въехали в парк, она вложила свою руку в мою.

Сколько раз держал я эту руку в своей, замирая от любви! Ощущал ее хрупкость и изящество, поворачивал кольца на пальцах, разглядывал голубые жилки на тыльной стороне ладони, прикасался к маленьким, коротко остриженным ногтям... Теперь, когда ее рука покоилась в моей, я впервые понял, что она может служить и для другого. Я видел, как эта самая рука проворно берет стручки, высыпает из них семена, затем разминает и втирает в ладонь. Я вспомнил, как однажды сказал Рейчел, что у нее красивые руки, и она, смеясь, ответила, что я первый говорю ей об этом. «Они созданы для работы, — сказала она. — Когда я занималась в саду, Эмброс не раз говорил мне, что у меня руки крестьянки».

Мы подъехали к крутому спуску, и на заднее колесо экипажа нацепили тормозной башмак. Ее плечо коснулось моего, и, раскрыв зонтик, она сказала:

— Этой ночью я так крепко спала, что не слышала, как вы ушли.

Она посмотрела на меня и улыбнулась. Она обманывала меня столько времени, но я почувствовал себя еще большим лжецом. Я не нашелся с ответом и, чтобы утвердиться в своем намерении, крепче сжал ее руку и отвернулся.

В западной бухте золотился обнаженный отливом песок, вода сверкала на солнце. Мы свернули на дорогу к деревне и к церкви. Воздух наполнился колокольным звоном, люди стояли у ограды, ожидая, когда мы выйдем из экипажа, чтобы пропустить нас вперед. Рейчел улыбнулась и поклонилась всем.

Мы заметили Кендаллов, Паско, многих арендаторов имения и под звуки органа прошли через придел к своим местам.

На несколько мгновений мы в короткой молитве преклонили колени, закрыв лицо руками. С какими словами обращается она к своему Богу, если он вообще у нее есть? — подумал я; сам я не молился. — Возносит благодарность за все, чего достигла? Или молит о прощении?

Она поднялась с колен, села и открыла молитвенник. Лицо ее было безмятежно и счастливо. Как бы я хотел ненавидеть ее — как ненавидел те долгие месяцы до нашей встречи. Но я ничего не чувствовал, ничего, кроме все того же странного, жгучего сострадания.

Вошел викарий; мы встали, и служба началась. Помню псалом, который мы пели в то утро. «Да не ступит в дом Мой нога творящего зло; да не предстанет он пред взором Моим». Она пела, и губы ее слегка шевелились, голос звучал мягко, тихо. Когда викарий поднялся на кафедру, чтобы обратиться к своей пастве с проповедью, она сложила руки на коленях и, пока он оглашал тему:

«Бойтесь попасть в руки Бога живого», не сводила с его лица серьезного, внимательного взгляда.

Солнце, заглянувшее сквозь витражи, залило церковь ярким сиянием. Со своего места я видел розовые лица деревенских ребятишек, которые позевывали в ожидании конца проповеди, слышал, как они шаркают ногами в воскресной обуви, мечтая скорее скинуть ее и босиком поиграть на траве. На какой-то миг меня пронзило страстное желание сделаться юным, невинным и чтобы рядом со мной в церкви сидел Эмброз, а не Рейчел.

«За городской стеной, вдали отсюда, стоит зеленый холм». Не знаю, почему в тот день мы пели именно этот гимн — возможно, по случаю какого-нибудь праздника, связанного с деревенскими детьми. Громкие чистые голоса летели под своды приходской церкви, но я думал не об Иерусалиме, что, несомненно, предполагалось, а о простой могиле в углу протестантского кладбища во Флоренции.

Когда хор удалился и прихожане поднялись со своих мест, Рейчел тихо проговорила:

— По-моему, надо пригласить Кендаллов и Паско к обеду, как мы обычно делали. В последний раз это было так давно, что они могут обидеться.

Я немного подумал и коротко кивнул. Пожалуй, оно и лучше. Их общество поможет навести между нами мосты, и у Рейчел, занятой беседой с привыкшими к моему молчанию гостями, не будет времени смотреть на меня и размышлять над моим поведением. Семейство Паско не пришлось долго уговаривать. С Кендаллами было сложнее.

— Мне придется покинуть вас сразу после обеда, — сказал крестный. — Но экипаж может вернуться за Луизой.

— Мистер Паско должен читать проповедь во время вечерней службы, — вмешалась супруга викария, — и мы можем подвезти вас.

Они принялись обсуждать детали поездки, и, пока спорили, как все лучше устроить, я заметил, что десятник рабочих, занятых на

строительстве террас и будущего нижнего сада, с шапкой в руке остановился на обочине, чтобы поговорить со мной.

— Что случилось? — спросил я его.

— Прошу прощения, мистер Эшли, — сказал он. — Я искал вас вчера после работы, но не нашел. Хотел предупредить, что если вы вдруг пойдете на дорожку с террасами, не входите на мост, который мы строим над садом. Пока это только остов, в понедельник мы продолжим работы. Настил кажется прочным на вид, но он не выдержит и самого небольшого веса. Любой, кто ступит на него, чтобы перебраться на другую сторону, упадет и сломает себе шею.

— Благодарю вас, — сказал я. — Я запомню.

Я повернулся и обнаружил, что моя компания пришла к соглашению; как в то первое воскресенье, которое теперь казалось таким далеким, мы разбились на три группы: Рейчел и крестный устроились в его экипаже, Луиза и я — в моем, Паско следовали за нами. Хотя с тех пор, проделывая этот путь, я много раз перед крутым подъемом выходил из экипажа и шел пешком, теперь, шагая рядом с ним, я думал о том первом сентябрьском воскресенье десять месяцев назад. Я был раздражен тем, что Луиза тогда сидела надувшись, и с тех пор пренебрегал ею. Но она не дрогнула и осталась мне другом. Когда мы поднялись на холм, я снова сел в экипаж и сказал ей:

— Ты знаешь, что семена раakitника ядовиты?

Она с удивлением посмотрела на меня.

— Да, — сказала она. — Я знаю, что если корова или лошадь поест их, то умрет. И дети тоже умирают. Но почему ты спрашиваешь об этом? У тебя в Бартоне пал скот?

— Нет, пока нет, — ответил я, — но Тамлин на днях говорил мне, что надо срубить в цветнике деревья, которые наклоняются в сторону поля, потому что их семена падают на землю.

— Скорее всего, он прав, — заметила она. — В прошлом году отец потерял лошадь, которая поела ягод тиса. Это может случиться в любую минуту, и ничем не поможешь.

Мы ехали по дороге к воротам парка. Интересно, думал я, что она скажет, когда я поделюсь с ней открытием, которое сделал прошлой ночью? В ужасе уставится на меня и объявит, что я сошел с ума? Едва ли. Я думал, она мне поверит. Однако ни время, ни место не

располагали к откровенности — на козлах сидели Веллингтон и Джим.

Я оглянулся: два других экипажа не отставали от нашего.

— Мне надо поговорить с тобой, Луиза, — сказал я. — После обеда, когда твой отец соберется уезжать, придумай какой-нибудь предлог, чтобы остаться.

Она внимательно посмотрела на меня, но я больше ничего не сказал.

Веллингтон остановил экипаж перед домом. Я вышел из него и подал Луизе руку. Стоя в дверях, мы ждали, когда придут остальные. Совсем как в то сентябрьское воскресенье. Да, все было как тогда. Рейчел улыбалась, как улыбалась и в тот день. Она разговаривала с моим крестным, глядя на него снизу вверх, и я не сомневался, что они опять рассуждают о политике. Но в то воскресенье, хоть меня и влекло к ней, она была мне чужой. А теперь? Теперь она не была для меня загадкой. Я знал в ней все лучшее, знал все худшее.

Даже побуждения, возможно до конца не осознанные, которыми она руководствовалась во всех своих поступках... даже о них я догадывался.

Теперь она не таила для меня ничего странного, ничего загадочного, Рейчел, мука моя...

— И вновь все как прежде, — улыбаясь, сказала она, когда мы собрались в холле. — Я так рада, что вы приехали!

Она бросила на гостей ласковый взгляд и повела их в гостиную. Комната, как и всегда летом, выглядела особенно уютной. Окна были распахнуты, и было прохладно. В вазах стояли высокие, стройные японские гортензии, и их пышные голубые головки отражались в висевших на стенах зеркалах. За стенами дома нещадно палило солнце. Стояла жара. Ленивый шмель жужжал на одном из окон.

Истомленные гости сели, довольные, что могут передохнуть. Сиком принес вино и печенье.

— Чуть пригрело солнце, — рассмеялась Рейчел, — и вы уже изнемогаете от жары. А я его и не почувствовала. У нас в Италии оно греет девять месяцев в году. Я расцветаю под его лучами. Так и быть, я поухоживаю за вами. Не вставайте, Филипп. Вы все еще мой пациент.

Она разлила вино по бокалам и поднесла нам. Крестный и викарий протестующе встали, но она отмахнулась от них. Я был

последним, к кому она подошла, и единственным, кто не стал пить.

— Разве вы не испытываете жажды? — спросила она.

Я покачал головой. Я ничего не принял бы из ее рук. Она поставила мой бокал на поднос и, держа в руках свой, села на диван рядом с миссис Паско и Луизой.

— Наверное, во Флоренции сейчас такая жара, что даже вам было бы трудно ее вынести, — сказал викарий.

— Я ее просто не замечаю, — возразила Рейчел. — Рано утром закрывают ставни, и на вилле весь день сохраняется прохлада. Мы приспособливаемся к климату. Тот, кто днем выходит из дома, сам накликает на себя беду, поэтому мы остаемся в четырех стенах и спим. Мне повезло, что на вилле Сангаллетти есть небольшой дворик — он выходит на север и туда никогда не заглядывает солнце. В нем есть бассейн с фонтаном; звук капающей воды очень успокаивает.

Весной и летом я всегда сижу только там.

И то правда, весной она могла смотреть, как набухают и раскрываются почки ракитника и как сами цветы с поникшими золотистыми головками раскидывают шатер над обнаженным мальчиком, который стоит над бассейном, держа в руках раковину. Цветы со временем увядали и осыпались, и, когда лето на вилле полностью вступало в свои права, как вступило и здесь, хоть и не такое знойное, стручки на ветвях лопались и осыпали землю зелеными семенами.

На все это она и смотрела, сидя в маленьком дворике рядом с Эмброзом.

— Ах как бы я хотела побывать во Флоренции! — сказала Мэри Паско. Ее глаза совсем округлились от явившейся им картины Бог знает какого невиданного великолепия.

— В таком случае, — повернувшись к ней, сказала Рейчел, — в будущем году вы должны приехать навестить меня. Вам всем по очереди надо погостить у меня.

Тут же раздались громкие восклицания, вопросы, огорченные возгласы. Она скоро должна уехать? Когда она вернется? Каковы ее планы? Она покачала головой в ответ.

— Вскоре уеду, — сказала она, — вскоре вернусь. Я поддаюсь порыву и никогда не связываю себя определенными сроками.

Большого от нее не удалось добиться.

Я видел, как крестный украдкой бросил на меня взгляд и, пощипывая усы, уставился себе под ноги. Я догадался, какая мысль мелькнула у него в голове.

«Стоит ей уехать, и он вновь станет самим собой».

День тянулся медленно. В четыре часа мы перешли в столовую. Снова я сидел во главе стола; Рейчел — на противоположном конце, с викарием по левую и крестным по правую руку. Снова разговоры, смех, даже чтение стихов.

Я сидел так же молчаливо, как в первый раз, и следил за ее лицом. Но тогда я находился во власти очарования перед чем-то новым, дотоле неведомым.

Продолжение беседы, перемена темы, вовлечение в разговор всех сидящих за столом... никогда прежде я не видел, чтобы женщина так ловко и непринужденно справлялась с этим. Теперь я знал все ее приемы. Зачин беседы, умело выбранная тема, несколько слов шепотом, обращенных к викарию, смех, к которому тут же присоединяется крестный: «Что? Что вы сказали, миссис Эшли?»

— и ее незамедлительный ответ, краткий, слегка насмешливый: «Викарий расскажет вам», и последний, раскрасневшись от гордости — ведь он и впрямь считает себя заправским остряком, — принимается рассказывать историю, которую его семейство еще ни разу не слышало. Эта маленькая игра доставляла ей удовольствие, а нас, туповатых корнуоллцев, было так легко провести и одурачить.

Интересно, думал я, намного ли сложнее ее задача в Италии? Вряд ли.

Разве что тамошнее общество более соответствует ее темпераменту. На языке, который она знала лучше английского, рядом с Райнальди, всегда готовым прийти ей на помощь, направляемая ею беседа сверкала несравненно более ослепительным блеском, чем за моим унылым столом. Иногда она жестикулировала, словно желая пояснить свою поспешную речь. Я заметил, что, разговаривая с Райнальди по-итальянски, она еще чаще прибегала к жестам.

Сегодня, прервав крестного, она тоже всплеснула руками: быстро, проворно, точно отгоняла от себя воздух. Затем, в ожидании его ответа, слегка облокотилась о стол, и руки ее замерли, как крылья птицы. Она слушала крестного, повернув к нему голову, и я со своего конца стола смотрел на ее профиль. В такой позе она всегда казалась

мне чужестранкой. Эти мелкие чеканные черты с древней монеты... Таинственная, отстраненная — женщина, стоящая в дверях дома, на голове шаль, рука простерта в пустоту. Но в фас... когда она улыbnулась... о нет, не чужестранка... Рейчел. Рейчел, которую я знал, которую когда-то любил.

Крестный закончил свой рассказ. Пауза, все молчат. Наперечет зная каждое движение Рейчел, я следил за ее глазами. Она взглянула на миссис Паско, потом на меня.

— Не пойти ли нам в сад? — предложила она.

Мы встали из-за стола. Викарий вынул часы и, вздохнув, заметил:

— Как ни жаль, но я должен откланяться.

— Я тоже, — сказал крестный. — У меня заболел брат в Лакзилиане, и я обещал навестить его. Луиза может остаться.

Но оказалось, что было позднее, чем они предполагали, и после некоторой суматохи Ник Кендалл и Паско наконец отбыли. Осталась только Луиза.

— Раз мы теперь втроем, — сказала Рейчел, — отбросим условности.

Пойдемте в будуар.

И, улыбаясь Луизе, она повела нас наверх.

— Луиза выпьет *tisana*, — через плечо проговорила она. — Я открою ей свой рецепт. Если ее отец будет страдать бессонницей, чего я ему не желаю, то это лучшее средство.

Мы вошли в будуар и сели: я — у окна, Луиза — на скамеечку. Рейчел занялась своими приготовлениями.

— По английскому рецепту, — сказала она, — если таковой вообще существует, в чем я сомневаюсь, надо брать обрушенный ячмень. Я привезла из Флоренции сушеные травы. Если вам понравится, я вам немного оставлю, когда буду уезжать.

Луиза встала и подошла к ней.

— Я слышала от Мэри Паско, что вы знаете название каждой травы, — сказала она, — и лечили арендаторов имения от разных болезней. В старину о таких вещах знали гораздо больше, чем теперь. Правда, кое-кто из стариков еще умеет заговаривать бородавки и сыпь.

— Я умею заговаривать не только бородавки. Загляните к арендаторам и спросите у них. Наука о травах — очень древняя наука.

Я научилась ей от своей матери. Благодарю вас, Джон. — Молодой Джон принес чайник с кипятком.

— Во Флоренции, — продолжала Рейчел, — я обычно варила tisana у себя в комнате и давала ей отстояться. Так лучше. Затем мы выходили из дома и садились во дворике; я включала фонтан, и, пока мы потягивали tisana, вода капала в бассейн. Эмброз мог часами сидеть там и смотреть на воду.

Она налила принесенную молодым Джоном воду в заварной чайник.

— Когда я в следующий раз приеду в Корнуолл, то привезу из Флоренции небольшую статую, как та, что стоит над моим бассейном. Ее, конечно, придется поискать, но в конце концов я добьюсь своего. Мы сможем поставить ее в центре нового заливного сада и построить там фонтан. Как вы думаете?

Улыбаясь и помешивая tisana ложечкой, которую держала в левой руке, она повернулась ко мне.

— Если вам так хочется, — ответил я.

— Филипп смотрит на это без энтузиазма, — сказала она, обращаясь к Луизе. — Он либо соглашается с каждым моим словом, либо ему все равно.

Порой мне кажется, что мои труды пошли прахом... дорожка с террасами, кусты, деревья... Его бы вполне устроила некошенная трава и заросшая тропинка. Прошу вас.

Она подала чашку Луизе, которая снова села на скамеечку. Затем подошла к подоконнику и подала мне мою чашку. Я покачал головой.

— Вы не хотите tisana, Филипп? — спросила она. — Но вам это полезно, она благотворно влияет на сон. Раньше вы никогда не отказывались. Это специальная заварка. Я приготовила ее двойной крепости.

— Выпейте за меня, — ответил я.

Она пожала плечами:

— Себе я уже налила. Я люблю, чтобы она подольше настаивалась. Вашу придется вылить. Жаль.

Она наклонилась надо мной и вылила tisana в окно. Выпрямляясь, она положила руку мне на плечо, и на меня повеяло знакомым ароматом. Не духами, но эфирной сущностью ее существа, ее кожи.

— Вам нездоровится? — шепотом, чтобы не услышала Луиза, спросила она.

Если бы было возможно, я с радостью согласился бы вычеркнуть из памяти все, что узнал, что пережил, только бы она осталась со мной, держа руку на моем плече. Ни разорванного письма, ни таинственного пакетика, запертого в ящике бюро, ни зла, ни двуличности... Ее рука соскользнула с моего плеча на подбородок и чуть задержалась на нем в мимолетной ласке, которая осталась незамеченной: Рейчел стояла между мной и Луизой.

— Мой упрямец, — сказала она.

Я взглянул поверх ее головы и увидел портрет Эмброза, висевший над камином. Его по-юношески светлые, чистые глаза в упор смотрели на меня. Я не ответил, и, отойдя от меня, она поставила пустую чашку на поднос.

— Ну как? — спросила она Луизу.

— Боюсь, мне понадобится некоторое время, чтобы она мне понравилась, — извиняющимся тоном ответила Луиза.

— Возможно, — сказала Рейчел, — кисловатый запах не всем по вкусу.

Но ничего. Это прекрасное успокоительное средство для беспокойных душ.

Сегодня ночью мы все будем хорошо спать.

Она улыбнулась и медленно отпила из своей чашки. Мы еще немного поговорили, может быть полчаса или час — точнее, разговаривали она и Луиза, — после чего Рейчел встала и, поставив чашку на поднос, сказала:

— Ну а теперь, когда стало прохладнее, кто пойдет со мной прогуляться по саду?

Я посмотрел на Луизу, и та, заметив мой взгляд, промолчала.

— Я обещал Луизе показать старый план Пелина, на который случайно наткнулся третьего дня. На плане четко отмечены все границы, и по нему видно, что старая крепость стоит на землях имения.

— Хорошо, — сказала Рейчел, — проводите Луизу в гостиную и сидите там сколько угодно. Я прогуляюсь одна.

Напевая вполголоса, она прошла в голубую спальню.

— Останься здесь, — тихо сказал я Луизе.

Я спустился вниз и пошел в контору — старый план действительно существовал и лежал где-то среди моих бумаг. Я отыскал его и через двор вернулся обратно. Когда я подошел к боковой двери, которая находилась недалеко от гостиной и вела в сад, Рейчел отправлялась на прогулку. Она была без шляпы и держала в руке раскрытый зонтик.

— Я ненадолго, — сказала она. — Поднимусь к террасе — я хочу посмотреть, хорошо ли будет выглядет в нижнем саду небольшая скульптура.

— Будьте осторожны, — сказал я ей.

— Осторожна? — спросила она.

Она стояла рядом со мной, приложив ручку зонтика к плечу. На ней было надето темное платье из тонкого муслина с кружевным воротником по самому горлу. Она выглядела почти так же, как в день, когда я впервые увидел ее. Но теперь было лето. В воздухе пахло скошенной травой. Мимо весело пролетела бабочка. В высоких деревьях за лужайкой ворковали голуби.

— Будьте осторожны, — медленно проговорил я, — гуляя под солнцем.

Она засмеялась и отошла от меня. Я смотрел, как она пересекает лужайку и поднимается по ступеням по направлению к террасе.

Я вернулся в дом, быстро взлетел по лестнице и пошел в будуар. Луиза ждала меня там.

— Мне нужна твоя помощь, — коротко сказал я. — У меня слишком мало времени.

Луиза встала и вопросительно посмотрела на меня:

— В чем дело?

— Ты помнишь наш разговор в церкви несколько недель назад? — спросил я.

Она кивнула.

— Так вот, ты была права, а я не прав. Но теперь это не важно. У меня есть гораздо более серьезные подозрения, но я должен их проверить, должен получить последнее доказательство. Я думаю, она пыталась отравить меня и то же самое сделала с Эмброзом.

Луиза ничего не сказала. Ее глаза расширились от ужаса.

— Не имеет значения, как я это обнаружил, — продолжал я, — но ключ может находиться в письме Райнальди. Я собираюсь

обыскать ее бюро и обязательно найти его. Ты учила французский и, наверное, немного разбираешься в итальянском. Вдвоем мы сумеем кое-что понять.

Тем временем я уже осматривал бюро — более тщательно, чем ночью при свете свечи.

— Почему ты не предупредил моего отца? — спросила Луиза. — Если она виновна, он предъявил бы ей более аргументированные обвинения, чем ты.

— Мне необходимо доказательство, — ответил я.

Бумаги, конверты, аккуратно сложенные в стопки. Расписки, счета, которые наверняка встревожили бы крестного, доведись ему их увидеть, но не меня, охваченного лихорадкой поиска. На меня они не произвели никакого впечатления. Я решил снова осмотреть ящичек, в котором лежал конверт с семенами. На сей раз он не был заперт. Я потянул за ручку — пусто. Конверт исчез. Моя tisana могла бы послужить дополнительным доказательством, но она была вылита. Я продолжал открывать ящики. Луиза, нахмутив брови от беспокойства, стояла рядом со мной.

— Тебе следовало подождать, — сказала она, — подождать отца, он бы принял меры, предусмотренные законом. То, чем ты занимаешься, напоминает обыкновенное воровство.

— Когда речь идет о жизни и смерти, — сказал я, — не до мер, предусмотренных законом. Взгляни, что это?

Я протянул ей длинный лист бумаги, исписанный какими-то названиями.

Некоторые из них были на английском, некоторые — на итальянском и латинском.

— Я не уверена, — ответила Луиза, — но думаю, что это список растений и трав. Почерк неразборчив.

Пока я обшаривал ящики, она задумчиво рассматривала бумагу.

— Да, — сказала она, — должно быть, это ее травы и снадобья. Но второй лист на английском; похоже на заметки по разведению растений; здесь названы десятки пород.

— Найди ракитник, — сказал я.

Она вдруг все поняла, наши взгляды встретились. Через мгновение она вновь опустила глаза на бумагу, которую держала в руках.

— Да, есть. Но это ничего не даст тебе.

Я выхватил лист из ее рук и прочел место, на которое она показала пальцем.

Внизу указывался источник ведения: «Новый ботанический сад». Отпечатано для Джона Стокдейла и Компании Т. Бауслеем; Болт-Корт, Флит-стрит, 1812.

— Здесь нет ни слова про яд, — сказала Луиза.

Я продолжал обыскивать бюро. Я нашел письмо из банка и, узнав почерк мистера Куча, небрежно развернул его.

«Милостивая государыня, мы чрезвычайно признательны за то, что Вы вернули коллекцию драгоценностей семейства Эшли, каковая, согласно Вашим указаниям и поскольку Вы вскоре покидаете Англию, будет храниться у нас до тех пор, пока Ваш наследник, мистер Филипп Эшли, не вступит во владение ею.

Искренне Ваш Герберт Куча».

Я вложил письмо в конверт, чувствуя, что внезапная боль сжимает мне сердце. Как ни велико влияние Райнальди, но этот последний поступок — ее чувства, ее порыв.

Кроме письма от мистера Куча, в бюро не было ничего существенного. Я внимательно обыскал каждый ящик, обшарил все отделения для писем. Либо она уничтожила письмо, либо носила его при себе. Озадаченный и расстроенный, я снова повернулся к Луизе.

— Его здесь нет, — сказал я.

— Ты смотрел в бюваре? — с некоторым сомнением спросила она.

Я, как дурак, положил бювар на стул, полагая, что тайное письмо не может быть спрятано на самом видном месте. Я взял бювар в руки, раскрыл, и из листов чистой бумаги выпал конверт из Плимута. Письмо все еще лежало внутри. Я вынул его и передал Луизе.

— Вот оно, — сказал я, — посмотри, можешь ли ты расшифровать его.

Она взглянула на бумагу и вернула ее мне.

— Оно не на итальянском, — сказала она. — Читай сам.

Я прочел письмо. В нем было всего несколько строчек. Как я и ожидал, Райнальди обошелся без формальностей, но не так, как мне это представлялось.

Он писал в одиннадцать вечера, письмо было без начала.

«Поскольку Вы теперь более англичанка, чем итальянка, то я пишу Вам на языке, который Вы приняли в качестве родного. Сейчас чуть больше одиннадцати, а мы поднимем якорь в полночь. Во Флоренции я сделаю все, о чем Вы просили, а возможно, и больше, хотя и не уверен, что Вы этого заслуживаете. Во всяком случае, когда Вы наконец решитесь оторваться от любезных Вашему сердцу мест; вилла и слуги будут готовы к Вашему прибытию.

Не тяните слишком долго. Я никогда особенно не доверял ни порывам Вашего сердца, ни Вашим чувствам. В конце концов, если Вам так трудно расстаться с этим мальчиком, привезите его с собой. Однако советую Вам послушаться моего предупреждения. Берегите себя и верьте вашему другу.

Райнальди».

Я дважды прочел письмо. Затем отдал Луизе.

— Ты нашел доказательство, которое искал? — спросила она.

— Нет, — ответил я.

Чего-то явно не доставало. Какого-нибудь постскриптума на клочке бумаги, который она положила между другими листами. Я поискал еще раз, но не нашел ничего, кроме тонкого бумажного пакета. Я схватил его и сорвал обертку. На сей раз это было не письмо, не список трав или растений. Это был карандашный портрет Эмброза. Подпись в углу была неразборчива, но я предположил, что рисовал кто-то из его итальянских друзей, поскольку под инициалами автора было выведено: «Флоренция», а еще ниже — дата: июнь года смерти Эмброза. Я во все глаза смотрел на рисунок, отдавая себе отчет в том, что передо мной последнее изображение Эмброза. За то время, что его не было дома, он очень постарел. Вокруг рта и в уголках глаз лежали морщины. Сами глаза смотрели затравленно, словно у его плеча стояла чья-то тень и он боялся опянуться.

На лице было выражение потерянности и одиночества. Казалось, он знает про уготованное ему несчастье. Глаза просили любви, но в то

же время молили о жалости. Под рисунком рукой самого Эмброза была выведена какая-то фраза по-итальянски. «Рейчел. Non rammentare che le ore felici. Эмброз». Я протянул рисунок Луизе.

— И больше ничего, — сказал я. — Что это значит?

Она прочла надпись вслух и ненадолго задумалась.

— «Запомни лишь счастливые часы», — медленно проговорила она и вернула мне рисунок вместе с письмом Райнальди. — Она не показывала его тебе раньше? — спросила она.

— Нет, — ответил я.

Мы молча смотрели друг на друга. Вскоре Луиза заговорила:

— Как по-твоему, могли мы составить о ней не правильное мнение? Я говорю про ад. Ты же сам видишь, что доказательства нет.

Я положил рисунок и письмо в бюро.

— Если нет доказательств, — сказала Луиза, — ты не имеешь права выносить ей приговор. Возможно, она невиновна. Возможно, виновна. Ты не в силах что-либо предпринять. Если она невиновна, а ты обвинишь ее, то никогда себе этого не простишь. Тогда ты сам окажешься виновным, а вовсе не она.

Уйдем из этой комнаты и спустимся в гостиную. Я жалею, что мы трогали ее вещи.

Я стоял у открытого окна будуара, вглядываясь в дальний конец лужайки.

— Ты увидел ее? — спросила Луиза.

— Нет, — сказал я, — она ушла почти полчаса назад и до сих пор не вернулась.

Луиза пересекла комнату и встала рядом со мной. Она заглянула мне в лицо.

— Почему у тебя такой странный голос? — спросила она. — Почему ты не сводишь глаз с лестницы, которая ведет к дорожке с террасами? Что-нибудь случилось?

Я слегка оттолкнул ее и пошел к двери.

— Ты знаешь колокольную веревку на площадке под башней? — спросил я.

— Ту, которой пользуются в полдень, чтобы созвать слуг на обед? А теперь ступай и дерни ее изо всех сил.

Луиза в замешательстве взглянула на меня.

— Зачем? — спросила она.

— Потому что сегодня воскресенье, — сказал я, — и в доме либо спят, либо вообще никого нет, а мне может понадобится помощь.

— Помощь? — повторила Луиза.

— Да, — сказал я. — Возможно, случилось несчастье... с Рейчел...

Луиза пристально посмотрела на меня. Ее глаза, серые, искренние, изучали мое лицо.

— Что ты наделал? — спросила она, и ее предчувствия превратились в уверенность.

Я повернулся и вышел из комнаты.

Я бросился вниз по лестнице, пробежал через лужайку и взлетел на тропу, ведущую к дорожке с террасами. Рейчел нигде не было.

Над нижним садом, рядом с грудой камней, извести и штабелем бревен, стояли две собаки. Одна, та, что помоложе, пошла мне навстречу. Вторая осталась на месте, около кучи извести. На песке, на строительном растворе я увидел ее следы, увидел раскрытый зонтик, опрокинутый на одну сторону. Вдруг со стороны дома донесся удар колокола. Удар следовал за ударом. День был тих и безветрен, колокольный звон летел через поля, спускался к морю, и люди, удившие в бухте рыбу, наверное, слышали его.

Я подошел к краю стены над нижним садом и увидел то место, где рабочие начали строить мост. Часть моста еще висела над обрывом, напоминая жуткую, фантастическую винтовую лестницу. Остальное обрушилось в бездну.

Я спустился туда, где среди камней и досок лежала она. Я взял в руки ее ладони. Они были холодными.

— Рейчел, — позвал я, и еще раз:

— Рейчел...

Наверху залаяли собаки, еще громче ударил колокол. Она открыла глаза и посмотрела на меня. С болью. Потом с замешательством, и наконец, как мне показалось, она узнала меня. Но и тогда я ошибся. Она назвала меня Эмброзом.

Я не выпускал ее ладони, пока она не умерла.

В старину преступников вешали на перепутье Четырех Дорог. Но это было давно.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

Note1

Харроу (-скул) — одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ; находится в пригороде Лондона.

Note2

Tisana — отвар, настой из трав (итал).

Note3

Догкарт — высокий двухколесный экипаж с местом для собак под сиденьем (англ.). От dog (собака) и cart (повозка).

Note4

Faux pas — оплошность (фр).

Note5

Лели Питер (1618-1680) — английский живописец.

Note6

Неллер Годфри (1646 или 1649-1723) — известный английский портретист.

Note7

Фурини Франческо (1600-1649) — итальянский художник, представитель флорентийской школы.

Note8

Дель Сарто Андреа (1486-1550) — итальянский живописец, представитель флорентийской школы Высокого Возрождения.

Note9

Sotto voce — вполголоса (итал.).

Note10

Рип ван Винкль — герой одноименного рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783-1859), отведавший чудодейственного напитка и проспавший двадцать лет.